

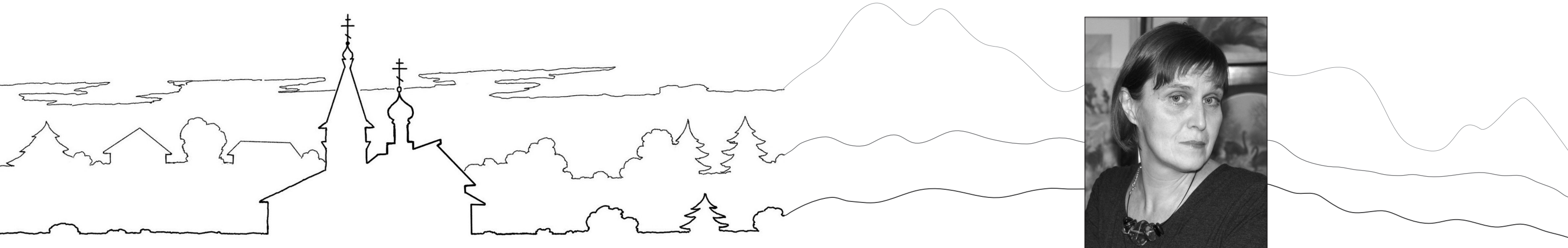
литературный журнал

Человек На Земле

2

МОСКВА
2012

Человек на Земле	с о д е р ж а н и е
Главный редактор – Татьяна Сурганова	СТРАНИЦЫ РЕДАКТОРА Татьяна Сурганова — ЯЗЫКОВОЙ БАРЬЕР 5
Редакционный совет: Владимир Бурлаков Сергей Гонцов Елена Русакова	ПРЯМАЯ РЕЧЬ Александр Цуканов — ЗАВОЛЖЬЕ 7 ПОИСКИ ЖАНРА Ганна Шевченко — УТЮГ. Пьеса в 9 бездействиях 9 ПОЭЗИЯ Надежда Мальцева — ИЗ НОВОЙ КНИГИ 15 Ната Сучкова — ЛОМАНЫЙ ЦВЕТOK 41 Валерий Прокошин — СТИХИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ 58 Алексей Ивантер — LA VITA FUGGE 86 Алёна Бабанская — ПУТЕШЕСТВИЯ ИЗ ПРОШЛОГО 89
Художник – Вивиан дель Рио	ПРОЗА Юрий Милославский — СВЕДЕНИЯ, ИСХОДЯЩИЕ ОТ ПОЛКОВНИКА П. Ю. ЛУТОХИНА (ФРАГМЕНТЫ НОВОЙ ПОВЕСТИ) 20 Михаил Шелехов — ОРИЕНТАЛЬНЫЕ НОВЕЛЛЫ 45 Раиса Беляева (Гурина) — «МИЛЫЕ ИДИОТЫ» БОЛЬШОГО ГОРОДА 53 Марина Анашкевич — МЕНЯЮ ГРОБ НА НЕБО 64 Ольга Дружинина — ЗАБЕРИ МЕНЯ В НЕБО 80
Фотопортрет Татьяны Сургановой – Юлия Кравцова Фотопортрет Ганны Шевченко – Александр Барбук Фотопортрет Фёдора А. Чернина – Мария Темир-Булат	РАДОСТЬ ЗЕМЛИ Марк Котлярский — ЦФАТ (ЗАТЕРЯННЫЙ МИР) 92
Фотографии авторов из личных архивов	ЭПИСТОЛЯРИЙ Никита Быстров — О КАМНЯХ И НАДПИСЯХ СТРАНЫ ИЗРАИЛЯ 98
Рисунки Александра Кулемина из серии «Малые города России»	ОБРАЗЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА Алан Кубатиев — ОСКАР И САЛОМЕЯ. От переводчика 101
© Идея номера и состав Т. В. Сурганова, 2012	ПАМЯТЬ Илья Дюков — ГОРОДА ДРЕВНЕЙ РУСИ 105 Александр Сёмочкин — ДОМ. Предисловие Валентина Курбатова 110
© Авторы журнала «Человек на Земле», 2012	ПЕРЕВОДЫ ИЗ ДЖОРДЖА УИЛЬЯМА РАССЕЛА («АЕ»). Перевёл с английского Станислав Минаков 117
© Дизайн журнала «Человек на Земле», 2012	ПЕРЕСМЕШНИКИ Фёдор А. Чернин — РАССКАЗЫ 123
ISBN 5-89136-010-1	



Татьяна Сурганова

Языковой барьер

Памяти Василия Ивановича Белова
(1932—2012)

Истаял земной срок Василия Ивановича Белова.

Едва отзвучали по его адресу приветственные юбилейные речи. Едва был явлен миру его семитомник — преславный итог трудов и дней.

Осиротело в очередной раз русское слово, набрякло стылой, заledenелой слезой. «Я умру в крещенские морозы» — угадал его равновеликий друг и земляк Рубцов. «Я уйду, когда встанет, застынет вода» — прозорливо вторил ему Белов. И описал в главной повести своей жизни, как всё будет: сгустятся, пророча тоску, сизые тени, взметётся колючками снег и одинокая, зябкая взойдёт над полем звезда. Ещё одна бессмертная душа покинет усталое тело. Дело привычное — и такое горькое, непостижное.

Он так и ушёл — вечером хмурым, декабрым. Но ведь на исходе великого дня — Введения во Храм Богородицы, двенадцатого праздника. В одно из сочленений годового кольца православных торжеств, которые чтит как часть русского лада. Уж куда знаменательнее. Ведь это он, пахарь и плотник, вводил нас в прошлое родины — чтобы, помолясь и покаявшись, вывести к свету. Чтобы взошло оно наконец, наше по-северному робкое, трудно восходимое и потому особенно нежное «солнышко-припеколнышко». Кто ещё и когда отыщет такое словцо нам в утешение?

Белые, белые звёзды над бескрайним заснеженным Беловодьем. Вечный вологодский трикирий: Батюшков, Брянчанинов, Белов.

Юрий Архипов

Берново, пушкинские места России. «Берновская осень», в 2005 году впервые собравшая поэтов Тверской области, — известный в стране и за её пределами поэтический фестиваль: отбою нет от желающих выступить, попасть в престижный альманах... В этом году фестиваль привлекал детей — детдомовцев и инвалидов, ставших победителями в творческом конкурсе в память о «грозе двенадцатого года». Ещё загодя, весной, взяв неделю отпуска (который редко бывает задействованным), «мамка» фестиваля Валентина Александровна Громова — она же глава администрации Берновского сельского поселения, школьный учитель с двадцатипятилетним стажем, поэт, член Союза российских писателей — лично объехала детские дома и школы-интернаты в Твери, Торжке, Вышнем Волочке, Старице, Кувшинове, Калязине, Кашине, собирая на конкурс детские рисунки.

А осенью ребят порадовали и сами порадовались: провели экскурсии в усадьбе Вульфов в Бернове, в старицком Успенском монастыре XII века трапезничали; в честь победы русского оружия, возрождая прежнюю традицию, закатали бал в «доме Филиппова» в Старице, где Александр Пушкин когда-то танцевал с Катенькой Вельяшевой; праздничным концертом и подарками почтили победителей и их педагогов. Гости, окружённые улыбками и приветливой заботой, изумлялись и блаженствовали: из таких дней не хочется возвращаться в будни.

«Но уланы перевелись, а барышни разъехались». Кажется, только неиссякаемое чувство юмора и умение убедить людей, что в них не

умерли человеческая порядочность и желание друг друга выручить, помогает в будни хозяйке Бернова. Растянуть на год более чем скромный бюджет (2 600 000 рублей на 26 деревень), отчитаться день в день до копейки за фестиваль, грант, на сходе обсудить злобу дня — ноябрьский указ властей, регламентирующий условия содержания скота в личном подсобном хозяйстве: обязательный — а в доме как придётся — водопровод в хлеву (слово-то какое!), дезперчатки и спецодежда, строго отведённое место для выпаса, а хочешь забить животину — вези на спецплощадку, только вот в районе таковую никто не построил. Стерильные ножницы ВТО, кромсающие российскую деревню...

Но мы ведь обещали о высоком?

Получилось странно — с интервалом в неделю легли на мой стол две книги. Обе — о недавней-сегодняшней нашей жизни; обе, хотя и выросли из крепких корней русской реалистической прозы, написаны с оглядкой на притчу — жанр, который во все лихие времена позволял писателям говорить, что хотели. Но как будто о разных странах книги, о двух Россиях, которые, похоже, пересекаются лишь виртуально, в голове у читателя.

Роман Валерия Казакова (Тень гоблина. — М.: Вагриус Плюс, 2008. — 352 с.) аннотирован уклончиво: «...сложный и порой жестокий мир современных мужчин... мир переживаний и предательства, мир одиночества и молитвы, мир чиновничьих интриг и простых человеческих слабостей...» Ох, лука-

вит аннотация: «слабости» (ну там, в баньку с начальством, в постель с секретаршей) многократно и тщательно просчитываются, становясь препятствием либо трамплином для подъёма по заветной лестнице в чиновничий рай. При желании (которое, честно сказать, почти не возникает) можно легко «прочитать» реальные фамилии политических прототипов, а можно, покоровшись авторской воле, очутиться в тридевятом царстве, власть над коим то ли прибрал, то ли вот-вот приобретёт заморский гоблин, крошка Цахес.

— Малюта Максимович, давно сидите? — спрашивает один современный мужчина другого у входа во всеильный кабинет. «В нехитром, казалось бы, вопросе для опытного уха чиновника угадывался целый рой отголосков старых интрижек, ревности, естественного страха быть обойдённым, оболганным и, конечно же, непрекращающейся борьбы за доступ к телу начальника... Львиная доля напряжённых усилий маленьких клеток серого вещества госчиновников (четыре родительных падежа, блестяще спародированный канцеляризм? — *Т.С.*) уходила на придумывание и разгадывание сложнейших многоходовок и головоломок годами длящихся интриг и борьбы различных группировок (снова четыре! — *Т.С.*) за место под номенклатурным солнцем. Чем меньше конкретных и необходимых для страны дел выдавали на-гора управление, институт, группа, команда, тем сильнее и долговечнее они были, потому что не тратили драгоценное время на пустяки, а жили чистой интригой, целью которой было одно — самосохранение и круговая порука».

Да уж, «и долго буду тем любезен я народу...»

На мой взгляд, гротеск ближе Казакову, нежели элегический жанр: страницы об «одиночестве и молитве» будущего правителя во второй части настолько не вяжутся с общим строем повествования, что вызывают чувство неловкости. А вот первая часть, «Межлизень», написана захватывающе, местами блестяще. Словечком щеголяет понаторевший в таких делах старичок — божий одуванчик, пересидевший с полдюжины режимов; учит младшего коллегу, который пока в толк не возьмёт, что за слово такое мудрёное: а это «...промежуток времени, когда одна, извините, жопа ушла, а другая ещё не пришла, и лизать бедному госслужащему нечего, а язык-то без этого уже не может!». Шишков, прости...

«Межу» Юрия Фанкина (В кн.: Юрий Фанкин. Богатырский крест: сказы и повести. Владимир, 2012. — С.67 — 115) хочется не столько анализировать, сколько цитировать: так приметливо точен, песенно волен, ладен безукоризненным чувством языка текст повести. Может быть, оттого льётся сказ грустной песней, что занят автор житьём-бытьём «маленького человека», которого крестьянином нынешний расклад жизни не числит — преподаватель педколледжа копается в выходные на даче. «Ему не терпелось узнать, поспела ли для копки земля. Осторожно, как будто у него в горсти оказалось что-то хрупкое, живое, Фатей сжимал тёплую землю, с удовольствием ощущая, как, щекоча пальцы, вместе с рассыпающимися комочками сеется по ветру пыль...»

В его усилиях нет особенного проку: урожаи на «впавшей в немилость» земле год от года мельчают, на зиму можно всегда запастись парой мешков рыночной картошки. «Решись он на такой поворот, не пришлось бы тогда доводить до ума всю эту земляную несуразицу, сажать, окучивать, пропалывать, безнадёжно биться с полосатым, как американский флаг, колорадским жуком...»

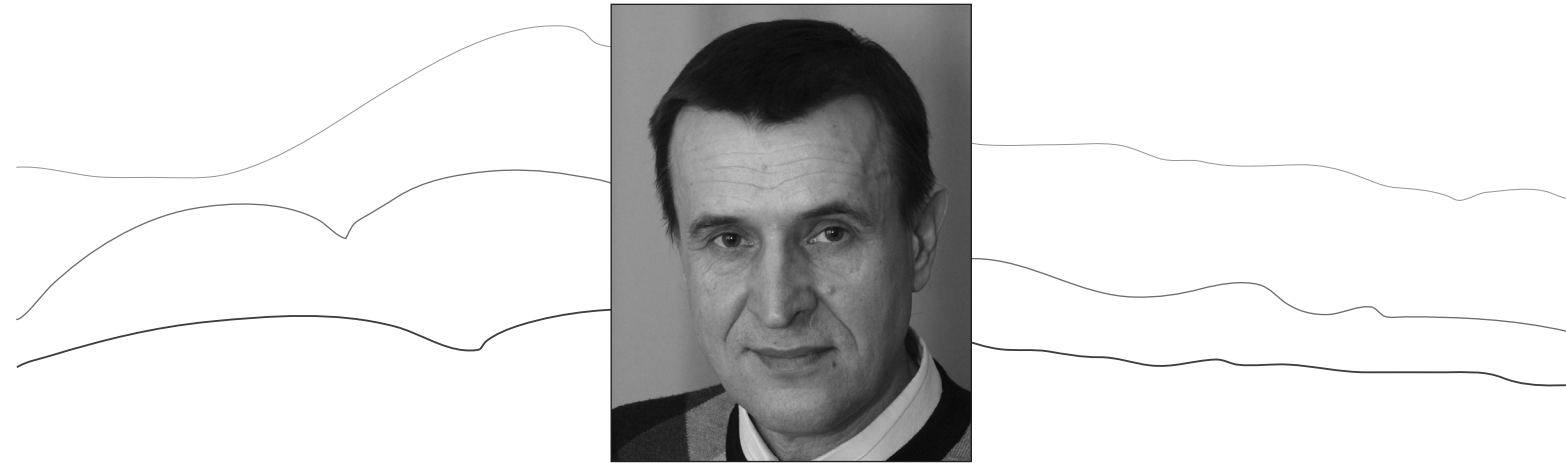
Повесть тенденциозна: главному герою противостоят «отбившиеся от земли» персонажи, которые хотя и работают на соседнем участке, заражены, как плесенью или жуком колорадским, цинизмом, матерщиной, злобной агрессией. Но язык спасает, уводя от схематизма и нудной наставительности; за вековую осмысленность и правду коренного крестьянского труда заступается слово; сон, сказку, небыль — слово делает явью.

«...Тёплой лунной ночью дед Василий, опавшая деревню со стороны огородов, в белом исподнем белье шёл за тяжело продирающейся сквозь дёрн и бурьяны сохой. Бабушка Варвара, тоже во всём белом, вела под уздцы светлую с переливающейся гривой лошадь, держа в правой руке домашнюю икону в серебряном окладе...

— Зачем вы пашете? — ломко, по-детски, выкрикнул Фатей.

И бабушка, не оборачиваясь, всё так же продолжая держать перед собой древнюю икону, сказала тихо, но её слова отозвались в Фатее гулко и торжественно, словно в большом полупустом зале:

— За пахотную землю беда не ходит!»



Александр Цуканов

Заволжье

Страной правят энергетики и банкиры. Плевать они хотели на увещевания президента, премьера и российских подданных, создающих прибавочную стоимость.

Александр Засовин — глава крестьянского хозяйства, пятидесятилетний крепкий по виду и духу мужик. Где силы берёт — не знаю. Сидит он привычно за ужином 14 октября, а в программе «Время» президент журит свиту: надо упростить процедуру подключения к электросетям. Все кивают, как кивали год, и пять, и десять лет назад. А Засовин-то знает, что 31 января прошлого года подал в Волгоградэнерго заявление, заключил договор, всё оплатил, а подключения как не было, так и нет. А у него договора по закупке племенного молодняка. У него скважина пробурена, у него кредиты... И не просто кредиты, кредиты на развитие производства под 17 процентов. Он заложил землю и всю свою недвижимость. Он поверил в очередной раз. Он построил цех по переработке томатов, чтобы организовать здесь, в Верхнем Балыклее, где нет никакого производства, около сотни рабочих мест. Он здоровый мужик, готов работать по двадцать часов в сутки... Но страну тянут в болото голландско-китайского импорта. Долларовой зависимости. Повсеместного пофигизма.

Все хлопают по плечу: «Молодец, Засовин!», все готовы ему помогать. Но электричество по шесть рублей, а солярка по тридцать. А у него только одна установка для пастеризации томатного сока тянет 50 кВт в час.

Смотреть на то, как ярко-красный томатный сок стекает в канализацию, даже мне тяжело. Пять тысяч литров в сутки!.. А Засовин машет рукой и отворачивается. Специально закупил семена двенадцати сортов томатов волгоградской селекции, потому что это настоящий помидор, а не декоративный голландский. Безусловно, не такой лёжкий, но по-настоящему вкусный, сахаристость — аж искрится на разломе. Весну промучился с рассадой — была затяжная холодная зима. А в мае, когда высадили это богатство на сотнях гектаров, навалилась необычайная тридцатиградусная жара. Окучивание, прополка, борьба с болезнями, где «столбор» как приговор суда... Тяжкий труд на солнцепёке, на ветру. А для получения кредита требуют всё новые и новые справки, документы, поручительства, обязательства. А томатный сок течёт и течёт в канализацию. Вода испарилась, и теперь в котловане томатная паста стоит в рост человека.

Заволжье. Степь на сотни верст, перемещаемая редкими посадками. Здесь всегда кусок хлеба доставался непросто. Но была Волга с обильным рыбным промыслом, была богара, знаменитая арбузами, дынями, овощами на поливных плантациях... Теперь везде и всюду звучит слово — «было».

Здесь тоска развевается, словно флаг на ветру.

В шикарном, твердого переплёта автомобильном атласе значится асфальт от Верхнего Балыклея на Солдатско-Степное. Постоял на разбитой грунтовке. Повернул обратно. Спра-

шиваю местных мужиков, показываю атлас. Они смеются. «Да не было никогда здесь асфальта. Ехай через Катричев, иначе убьёшь машину».

Все волжские сёла сегодня на одно лицо. На въезде полуразрушенные остовы ферм, корпусов МТС. Хорошо, если уцелел сельский Дом культуры, о чём глава администрации говорит, как о большом достижении. Водопровод — величайшая редкость. А в селе Дубовском на сходе решили его отключить, как поясняет глава поселения. «Энергетики выставили такой счёт, что мама не горюй...» Мы стоим возле центральной площади когда-то знатного совхоза, с памятником погибшим воинам, с рукотворными аллеями по периметру. «Какое, к чертям, производство!» Он смотрит на меня, как на придурка. Затем наклоняется и поднимает из-под ног тополёвую рядовку — одну, следом другую. Радует. Ищет следующую. А я еду по селу.

В луже посреди улицы купаются утки и гуси. Мычит одинокий телёнок. Покосившиеся заборы, брошенные через два на третий подворья. Соломенные крыши в редкость — да. Но ещё встречаются и они. В редкость только развитое производство.

Более всего поразил Дёминский — когда-то колхоз-миллионер, известный на всю страну. Измождённый фасад огромного ДК, в спортзале дыры оконных проёмов заколочены досками. Рядом, полускрытый разросшимися деревьями, стоит памятник... Есть улица с разбитым асфальтом в честь председателя, дважды Героя Соцтруда, знатного хлебобоба. А вместо площади, где школьники по утрам поднимали в небо флаг, — грязный пустырь и остатки могучего постамента.

Вдоль по улице бодро вышагивают девушки-подростки. Окликнул, спросил: «Подскажите, кому здесь был памятник?»

— Да кажись, Сталину.

— Чё буровите! — встречается в разговор мужчина, вышедший из дома, что напротив. — Ленину памятник здесь стоял.

Что, может быть, и неважно теперь. Важно, что к бывшему колхозу-миллионеру скоро нельзя будет подъехать. Асфальт разбит в хлам. Двадцать километров бесконечных колдобин.

Прошёл к недалекому полю. Поднял ком земли — чёрной, как антрацит. Про такую говорят: земля, что масло.

Александр Цуканов родился в 1954 г. на Колыме. В 1987 г. окончил Литинститут. Выпустил несколько книг прозы: «Тризна по неудачнику» (1988), «Расстрел в Новочеркасске» (1991), «Раб» (1998), «Бесконечное путешествие» (2004), «Жив, всё отлично» (2010). Печатался в журналах «Волга», «Дальний Восток», «Отчий край». Работает директором издательства в Волгограде.

Если в Дёминском есть производство, есть КФХ «Единство» с жалкими остатками миллионного достояния колхоза, есть какая ни то молодёжь, то на родине полного георгиевского кавалера Недорубова пустынно, убого.

В магазине на хуторе Ловягин продавщица поясняет грубовато: «Жесть! Работы никакой. А уехал хозяин на заработки, считай, пропал... Через одну живут вдова не вдова, а так, незнамо что». Наболело.

Александр Засовин — он ещё и депутат районной Думы — собрал летом руководителей крестьянско-фермерских хозяйств. Предложил построить сообща цех по глубокой заморозке овощей. Проект на шесть миллионов. Выгода очевидная. Скинуться надо было по триста тысяч рублей. Деньги такие у людей есть, но разошлись после собрания дагестанцы, чеченцы, русские с привычным: «Мы подумаем...» Не поверили. Нет, не Засовину. Его здесь уважают, потому что он из той редкой категории людей, которые от трудностей руки не опускают. Как в присказке: нас бьют, а мы крепчаем... Не поверили в государство, которое в лице энергетиков вдруг возьмёт и повысит оплату до восьми-десяти рублей за киловатт. Или налог новый введёт.

В итоге к октябрю только пятеро из двадцати с прибылью. Но выходцам из Закавказья проще. Станет неважно — соберутся и уедут. А Засовиным, Сидоровым и иже с ними, которые в этом году на зерне не окупили даже солёнку, уехать можно только к детям. В город.

Энергетики, банкиры, юристы, экономисты, — вот вы дерёте шкуру с производителей, ничего не давая взамен, а в итоге лет через десять, когда добьют последние дороги, — конец этим сёлам. Только ветер и перекасти-поле. Написал, а сам думаю — пустое. Нет у этих людей, похоже, ни сердца, ни совести.

Еду полями, а вокруг ни души. За очередной грунтовой пастух на добром коне скалит в улыбке рот: «Что, заблудился?.. Давай за мной». Пускает коня рысью, въезжая на взгорок, откуда видна шоссе-ная дорога. Показывает и снова неизвестно чему улыбается. То ли погожему дню, то ли оттого, что помог человеку, пусть в такой малости, но помог. Как привык крестьянин помогать всем и вся.

Октябрь 2012



Ганна Шевченко

Утюг

Пьеса в 9 бездействиях

Лица

Новая соседка (молодая женщина с открытым лицом).

Манекен в шапке и шарфе.

Мать.

Дочь.

Дядя Игорь (в домашних тапочках пятьдесят восьмого размера).

Евгения Петровна (женщина с прямой спиной и пышной грудью).

Капитонов (интеллигентный мужчина в очках с роговой оправой и толстыми стёклами, увеличивающими глаза в два раза).

Первое бездействие

На сцене слева дочь перед большой бесформенной кучей постиранного белья. Она берёт каждую отдельную вещь, аккуратно складывает в ровную стопку. Мать правее перед гладильной доской с утюгом в руке. Гладит бельё.

Мать. Вот, пятно не отстиралось. Нужно было добавить «Vanish».

Дочь. Мне непонятна жизнь. Постоянно что-то происходит.

Мать. Зачем я купила кондиционер с запахом банана? От него бельё неприятно пахнет.

Дочь. Вчера снова то же самое.

Мать. Зря я пожалела денег на хороший утюг.

Дочь. Он подвёз меня домой и попросился на кофе.

Мать. Нельзя кого попало приглашать на кофе.

Дочь. Интуиция мне подсказывала, что всё будет хорошо.

Мать (*облизывает указательный палец и дотрагивается до поверхности утюга*). Купила самый дешёвый, теперь мучаюсь.

Дочь. Он зашёл на кухню и поставил на стол бутылку красного вина.

Мать. Он почти не гладит!

Дочь. Я выпила один бокал. Он стал проявлять ко мне интерес. Я рассмеялась. А потом что-то произошло.

Мать (*крутит регулятор*). Китайское дерьмо!

Дочь. Когда я смеялась, бутылка затряслась, а потом у неё отвалилось дно! Ни с того ни с сего! Вино полилось на стол, потом на пол. Вся кухня была в вине. Оно текло красными струйками по линолеуму.

Мать. Где-то я уже слышала похожую историю.

Дочь. Он испугался и ушёл от меня.

Мать (*нажимает кнопку отпаривателя*). Не работает! Что за дрянь!

Дочь. Я целый час мыла пол на кухне. Среди ночи.

Мать (*нажимает кнопку распылителя*). И эта не работает!

Дочь. Вода в ведре была красная. Мне казалось, что я кого-то убила.

Мать (*жмёт на все кнопки, крутит регулятор температуры*). Потекла вода! С ним нужно что-то делать!

Дочь. Давай сходим к соседям!

Мать. Наша новая соседка, как всегда, сидит на подоконнике. Я видела её, когда ходила за хлебом.

Дочь. Пойдём к дяде Игорю.

Второе бездействие

Пролёт между лестничными площадками. Окно, выходящее в глубь двора. Под окном — ржавая батарея центрального отопления. На подоконнике слева сидит незнакомка. К подоконнику справа прислонился голый манекен в шарфе и шапке, сдвинутой набекрень.

Новая соседка (*манекену; говорит спокойно, в голосе нет трагических нот, её словам вторит едва уловимое эхо*). Это было лет десять назад. Я была совсем юная, ходила на дискотеки. Пошли мы как-то с подругами в ДК, стали танцевать, собравшись в кружок. Видим, ходит кругами какой-то тип, всё на нас поглядывает. А мы внимания не обращаем. Ходит, ну пусть себе ходит, нам-то что? Минут через десять вышли на улицу, кто подышать, кто покурить. А этот козёл подходит ко мне и хватается за руку. Я пытаюсь вырваться — не получается. Он схватил крепче, зажал голову и давай меня бить. Все испугались, рассыпались, как овечки. Я кричу, но никто не приходит на помощь. А к этому типу ещё двое подбежали, взяли меня все втроём и потащили в машину. Затолкали на заднее сиденье, завели машину и поехали. Смотрю — за нами ещё две машины едут. Подъехали к большому загородному дому, остановились. Вытащили меня из машины. А из тех двух, которые ехали за нами, — тоже вытолкнули по девчонке. Трое нас оказалось. И всех охранники держат. Ты хочешь узнать, что было дальше? (*Трогает манекен за плечо, смотрит в его пустые глазницы*.) Тогда подожди немного, я хочу помолчать...

Незнакомка несколько минут молчит и смотрит в окно. В это время слышны звуки: гудение лифта, лай возвращающейся с прогулки собаки, захлопывание двери, щелчок замка.

Новая соседка (*манекену; говорит спокойно, в голосе нет трагических нот, её словам вторит едва уловимое эхо*). Нас завели в гостиную, посадили на диван. Вскоре вышел хо-

зяин — маленький и худой, как полчеловека. С неопределённым, сморщенным лицом, голым, бледным торсом, в трусах по колено и с пистолетом в руке. Он подошёл к музыкальному центру, включил запись Любы Успенской и сказал нам: раздевайтесь и танцуйте. Мы сидели, парализованные, а он подошёл к той, что с краю, взвёл курок, приставил пистолет к голове и повторил: раздевайтесь и танцуйте. Девушка разделась и стала танцевать. Как-то скованно и нелепо. Вторая тоже. И вот он с пистолетом подошёл ко мне. А я так обрадовалась! Мне к тому времени окончательно надоело жить, и я сказала ему: стреляйте! Да, я много раз думала о самоубийстве, перебирала способы и варианты, но всё как-то боялась что-либо предпринять. А тут такое везение! И я снова ему радостно: стреляйте! А он встревожился, испугался и приказал меня бросить в вольер к кавказской овчарке. Шестёрки отволокли меня во двор и оставили на ночь с собакой. А псина эта оказалась на удивление дружелюбной. Мы с ней так всю ночь и проспали обнявшись. Утром домработница пришла кормить собаку, отпустила меня и сказала: о-хо-хонюшки...

Можно, я ещё немного помолчу? Только ты не уходи. Если ты дослушаешь меня до конца, узнаешь причину экономического кризиса в Украине.

Незнакомка отворачивается от манекена и смотрит в окно.

Третье бездействие

Лестничная площадка. Мать и дочь выходят из своей квартиры. В руках у матери утюг. Провод преувеличенно велик и толст. Вилка тоже велика, размером с утюг. Мать несёт утюг в руках, а провод и вилка тащатся за ней. Дочь звонит в соседнюю квартиру. Выходит дядя Игорь.

Дочь. Мы пришли.

Дядя Игорь (*дверь широко не открывает*). Скоро начнётся матч.

Мать. У нас поломался утюг.

Дядя Игорь. Вы не смотрели вчера кубок кубков?

Дочь. Помогите нам, пожалуйста, белья осталось совсем немного.

Дядя Игорь (*мечтательно*). Сейчас начнётся игра. Я лягу на диван, буду смотреть футбол, пить пиво и есть варёные креветки.

Дочь. Может быть, вы нам ненадолго одолжите свой?

Дядя Игорь. Завтра ещё один важный матч. (*Мечтательно.*) Вечером приду с работы, лягу на диван, открою бутылочку пива... Секундочку! (*Он скрывается внутри квартиры, и вскоре снова его голова появляется в дверном проёме.*) Уже реклама пошла!

Дочь (*смотрит по сторонам*). Где?

Мать. Ваши дни похожи один на другой.

Дядя Игорь (*показывая пальцем на мать и на дочь*). Вы тоже очень похожи.

Мать. У нас поломался утюг.

Дядя Игорь. Начинается матч! (*Захлопывает дверь.*)

Дочь. Я позвоню в следующую дверь. (*Звонит.*)

Четвёртое бездействие

Пролёт между лестничными площадками. Окно, выходящее в глубь двора. Под окном — ржавая батарея центрального отопления. На подоконнике слева сидит незнакомка. К подоконнику справа прислонился голый манекен в шарфе и шапке, сдвинутой набекрень.

Новая соседка (*манекену; говорит спокойно, в голосе нет трагических нот, её словам вторит едва уловимое эхо*). Замуж я вышла рано — в девятнадцать лет. Своего будущего мужа до свадьбы почти не знала и решение о замужестве приняла скоропалительно. У меня был вздорный, противоречивый характер, и, как мне казалось, мать устала от меня. Да и мне хотелось самостоятельной жизни. Ты спросишь, не боялась ли я выходить замуж за человека, которого плохо знаю? Не боялась. Потому что он учился в семинарии и был будущим священнослужителем. Я думала, что люди, посвятившие жизнь Богу, не могут быть плохими. Как много я мечтала в то время! Мне представлялся приют для бедных, который мы с мужем построим возле церкви. Я видела себя собирающей пожертвования для малоимущих семей. Мы заказали в швейном ателье для моего мужа длинную чёрную рясу из тонкой шерсти. Я обшивала тканью лаковые пуговицы и несколько дней пришивала их к рясе. Мне казалось, что я пришила тысячу пуговиц. Вскоре мой муж должен был рукополагаться, и мы ждали с нетерпением этого дня. Я была хорошей женой. Варила еду, стирала одежду, мыла посуду и пол. Каждое утро на плечиках висела свежая рубашка, а рядом с ней лежала стопка чистого белья. Я будила мужа, гладила его волосы, варила кофе, делала бутерброд и провожала на работу. И вскоре выяснилось, что я жду ребёнка...

Незнакомка несколько минут молчит и смотрит в окно. В это время слышны звуки: гудение лифта, лай возвращающейся с прогулки собаки, захлопывание двери, щелчок замка.

Новая соседка (*манекену; говорит спокойно, в голосе нет трагических нот, её словам вторит едва уловимое эхо*). Когда я сказала ему об этом, мой муж ответил, что ему больше не нужны ни я, ни мой ребёнок. Оказалось, что его выгнали из семинарии за то, что он распространял марихуану. Рукополагаться он не будет, да и служить священником тоже не собирается. В общем, когда он мне всё это сказал, я так обрадовалась! Я обрадовалась, что рухнул весь мой мир и нужно теперь создавать новый. Нужно с нуля, с маленького, ничтожного ядра выстраивать новую систему. Несколько дней я молчала и думала. Я думала, почему это произошло? Может быть, он плохой человек? Но ведь он считал себя хорошим. И мне сначала он казался хорошим. Тогда, может быть, я плохой человек? Но чем я плоха? Мне всегда казалось, что я хороший человек. Тогда почему с нами всё это произошло? Ведь с хорошими людьми не должны происходить плохие вещи? Я собрала свою одежду и вернулась к маме. Да, да, я понимаю, ты ждёшь, когда я скажу тебе причину экономического кризиса в Украине. Но потерпи немного. Совсем немного, скоро ты всё узнаешь. (*Прислушивается.*) Что? Ты спрашиваешь, куда делся ребёнок? Он исчез...

Пятое бездействие

Дверь открывается. Выглядывает Евгения Петровна.

Дочь. У нас поломался утюг.

Евгения Петровна (*выглядывает из щели двери, закрытой на цепочку*). Вы одни?

Мать. Посторонних нет.

Дочь. У нас поломался утюг.

Мать. Он оставляет следы.

Евгения Петровна (*выглядывает из щели двери, закрытой на цепочку*). Я только что видела по телевизору сюжет о квартирных воровках.

Дочь. Это не про нас. Откройте!

Мать. Утюг поломался. И регулятор температуры не работает.

Евгения Петровна (*злобно*). Бережёного Бог бережёт.

Мать (*протягивая утюг Евгении Петровне*). Это китайский утюг.

Евгения Петровна (*агрессивно*). Не смейте через порог! Это плохая примета!

Дочь. Может, вы на время одолжите свой? Мы вернём вам очень скоро. Белья осталось немного.

Евгения Петровна. Мне некогда! Я готовлюсь к причастию. Каждое воскресенье я хожу в церковь. Причащаюсь, ставлю свечи, пишу записочки. Я наполняюсь светом и благодатью.

Дочь. Какой сегодня день недели?

Мать. Суббота.

Евгения Петровна (раздражённо). Да! Я исчерпала весь запас благодати! Приходите завтра!

Евгения Петровна захлопывает дверь.

Дочь. Я позвоню Капитонову.

Шестое бездействие

Пролёт между лестничными площадками. Окно, выходящее в глубь двора. Под окном — ржавая батарея центрального отопления. На подоконнике слева сидит незнакомка. К подоконнику справа прислонился голый манекен в шарфе и шапке, сдвинутой набекрень.

Новая соседка (манекену; говорит спокойно, её словам вторит едва уловимое эхо). Наверное, ты ждёшь, что сейчас я расскажу тебе об экономическом кризисе в Украине? Я, конечно же, расскажу, но немного позже. Запасись терпением. Сейчас я хочу тебе поведать о моём коридоре. Только не говори, что это незначительная часть квартиры и не стоит никакого внимания. Не говори мне об этом, просто будь человеком, послушай.

Мой коридор невелик. Метр сорок сантиметров в ширину и три метра двадцать сантиметров в длину. Скромненький, но с претензией на европейский стиль. Стены, одетые в гипсокартон, навесные потолки со встроенными лампочками.

На полу палевый линолеум с разводами. Цвет и рисунок подобраны так, чтобы не замечен был мусор. Но мусор бывает редко, я содержу пол в чистоте. Обои разделены на две зоны: нижнюю и верхнюю. Нижняя — коричневая, с выпуклым рисунком, похожим на печатный пряник. Где-то на уровне локтя начинается верхняя — абрикосового цвета, рифлёная, как микроскопический шифер. Если стоять спиной к кухне, справа окажутся две двери: в ванную и в туалет. С противоположной стороны — дверь в зал. Справа от неё — шкаф с нужными вещами. В нижнем отделении обувь разных моделей, в верхнем — плоскость с крючками для верхней одежды. Там, наслоившись одна на другую,

висят несколько курток различного цвета. Серого, бежевого, бордового и розового. На крайнем крючке — спортивная шапочка бубонами вниз. Рядом с плоскостью для верхней одежды — шкаф с зеркальной дверью. Я смотрю в него, когда причёсываюсь. Пожалуйста, пообещай мне, что ты дослушаешь мой рассказ до конца. А сейчас я немного помолчу.

Незнакомка несколько минут молчит и смотрит в окно. В это время слышны звуки: гудение лифта, лай возвращающейся с прогулки собаки, захлопывание двери, щелчок замка.

Новая соседка (манекену; говорит спокойно, её словам вторит едва уловимое эхо). Если открыть шкаф, можно увидеть пространство, разделённое полками на пять частей. На верхней — шапки, шарфы и перчатки. Ниже — кухонные полотенца и инструкция для пользования стиральной машиной. Ещё ниже — фены, расчёски, косметички, маникюрные наборы, кремы и пузырьки с духами. На двух нижних полках всякая нужная чепуха: пакеты для мусора, сушилка для обуви, щётка для одежды, сантиметр для измерения талии, стельки из старых сапог, коробка с гвоздями, гайками и шурупами, запасные лампочки, плафон из ванной, который я всё никак не соберусь повесить, и ещё много разной всячины, которую не стоит даже описывать. Сверху на шкафу в коробке стоит сувенирный самовар, который некуда ставить, лежат стопка старых журналов, кусок неиспользованных обоев, ракетки для игры в бадминтон и несколько тюбиков крема для обуви. Слева к шкафу приник раскладной мангал в плоской коробке, который не распечатывался несколько лет. И в самом углу, за кухонной дверью, — пластиковая этажерка для обуви. На противоположной от кухни стороне — входная дверь. Хотя, если находишься в комнате, правильнее назвать её дверью для выхода. Она двойная.

Если двери открыть настежь, будет видна площадка и лестничное окно. Дом расположен так, что летом, ближе к закату, солнце видно именно в это лестничное окно. Когда выходишь подышать перед сном, в ноги бросается раскалённый огненный шар. Обжигает, обволакивает, и, спускаясь по ступеням, чувствуешь себя завернутым в горячий лучистый кокон, как вольфрамовая лампа или сошедший с иконы святой.

Всё, я закончила свой рассказ. Только не покидай меня. Скоро ты узнаешь причину экономического кризиса в Украине.

Седьмое бездействие

Дверь открывается. Выглядывает Капитонов.

Мать. У нас поломался утюг. Вы не могли бы его отремонтировать?

Капитонов (стоит в позе мыслителя, прислонившись к дверному косяку). Это бессмысленно.

Дочь. Не работает регулятор температуры.

Мать. И вода течёт из распылителя.

Капитонов. Мир рождается, растёт, зреет, а потом умирает. Чтобы это понять, достаточно посмотреть на элементарную частицу этого мира — маленького, отдельно взятого человека. **Мать.** Может быть, вы нам одолжите свой? Мы скоро вернём.

Капитонов. Государство — это огромное величественное сооружение. Каждый человек — кирпичик этого гигантского здания. Каково же будет сооружение, если каждый отдельный кирпичик будет гнилым?

Дочь. У вас есть отвёртка?

Капитонов. История человечества идёт к своему завершению. Вы слышите, как работают жернова? Как просеиваются души через вселенское сито?

Мать. Вы же мужчина! Помогите нам!

Капитонов. Кто говорит о вечном — банален до неприличия и нов до величия. Так дерево в лесу — одно из тысяч, а тем не менее живое и дышащее...

Дочь. Нам осталось совсем немного.

Капитонов. Жить надо в спешке и живее остальных. Не довольствуясь этим днём, этими людьми, быть недовольным всем и голодным до всего — ведь сытость клонит ко сну. Мы родились в спальном комнате, живём в ней и умрём, так и не проснувшись.

Мать. Сделайте доброе дело!

Капитонов (захлопывая дверь). Всё, что я знаю, знаю о жизни. И ничего — о смерти.

Восьмое бездействие

Пролёт между лестничными площадками. Окно, выходящее в глубь двора. Под окном — ржавая батарея центрального отопления. На подоконнике слева сидит незнакомка. К подоконнику справа прислонился голый манекен в шарфе и шапке, сдвинутой набекрень.

Новая соседка (манекену; говорит спокойно, в голосе нет трагических нот, её словам вторит едва уловимое эхо). Однажды меня познакомили с мужчиной преклонных лет. Он был одним из главных экономистов Украины.

Я понравилась этому мужчине, и он стал меня уговаривать стать его женщиной. Сначала он приглашал меня в рестораны. Я говорила ему, что не люблю питаться в общественных местах. Предлагал деньги. Я отвечала, что на поверхности купюр много болезнетворных микробов. Говорил, что купит квартиру. Я объясняла ему, что бетонные стены, как тяжёлая одежда, будут мешать мне ходить по тротуару. Обещал карьерный рост в газовой компании. Я говорила, что метан, этан, пропан, бутан — всё это не по мне. Я привыкла дышать чистым кислородом и задохнусь в офисе. Когда он устал от моих доводов, то начал мне угрожать. Говорил, что не будет мне жизни в этом городе. Что меня не возьмут ни на одну работу, что я останусь без денег, еды и воды. И вот тут-то я обрадовалась! Думаю, вот настоящее жизненное испытание! Проверка душевных сил! Думаю, пусть угрожает, пусть выгоняет меня со всех работ, а я буду стойко ждать развязки этой истории и пойму наконец, торжествует ли справедливость и отвечают ли люди за неправильные поступки. Посмотрю, накажет ли его жизнь за недостойное поведение. Но вдруг он приехал ко мне и сказал мне слова, после которых я стала его женщиной... Ты хочешь знать, что он мне сказал? Тогда подожди немного, я помолчу и посмотрю в окно.

Незнакомка несколько минут молчит и смотрит в окно. В это время слышны звуки: гудение лифта, лай возвращающейся с прогулки собаки, захлопывание двери, щелчок замка.

Новая соседка (манекену; говорит спокойно, в голосе нет трагических нот, её словам вторит едва уловимое эхо.) Вот что я услышала. «Я, — сказал он, — постоянно думаю о тебе. Я не могу работать и ходить на совещания. У меня всё валится из рук. Экономические дела Украины идут на спад, потому что вместо решения государственных вопросов я сижу в своём кабинете и тоскую по тебе. Если ты не станешь моей, в экономике страны начнутся необратимые процессы, разладятся производства, прекратится рост ВВП».

Теперь ты понимаешь, почему я стала его женщиной? Я не могла допустить такой ситуации. Я должна была спасти Украину. Он привёз меня в свой четырёхэтажный дом, повёл в свой роскошный кабинет, положил на белый кожаный диван и сделал своей женщиной. А я лежала на этом диване, смотрела на картину, на которой был нарисован сосновый лес, залитый солнцем, и плакала от осознания своей исторической роли. А кризис в Украине произошёл от-

того, что я сбежала от этого человека. Я бросила его и уехала в другую страну. А он сидит теперь с утра до вечера в своём роскошном кабинете, на белом кожаном диване, под соснами, залитыми солнцем, и тоскует обо мне. Снижается рост ВВП, падает эффективность производства, растут инфляция и безработица, а он сидит печальный и неподвижный и смотрит в одну точку. Ну вот, теперь ты знаешь причину экономического кризиса в Украине. Только, пожалуйста, не уходи. Побудь со мной ещё немного.

Девятое бездействие

Гостиная матери и дочери. В центре накрыт стол. На столе — гора неглаженного белья. Мать и дочь суетятся, подталкивают бельё к центру, вокруг раскладывают приборы и салфетки. Заходят дядя Игорь, Евгения Петровна, Капитонов и новая соседка. Гости, мать и дочь рассаживаются.

Мать. Угощайтесь, дорогие гости! Вот черемша!
Дочь. Она содержит витамины.
Дядя Игорь. У вас работает телевизор?
Евгения Петровна (*недовольно*). Нельзя нож класть на стол, это плохая примета.
Капитонов. К чему всё это?

Мать. В ней содержатся витамины бэ три, бэ шесть, бэ двенадцать.
Дочь. Она богата аскорбиновой кислотой.
Дядя Игорь. У вас есть кровати?
Евгения Петровна (*раздражённо*). Протяните мне черемшу!
Капитонов. Жрём, жрем, жрём, как животные!
Мать. Дорогие гости, давайте поднимем бокалы за светлый праздник! Сегодня наступила эпоха гуманизма! Кто скажет слово?
Новая соседка (*до этого молча сидела на стуле и рассматривала свои ногти*). Можно, я скажу о себе? Только, пожалуйста, дослушайте меня до конца. Мне необходимо выговориться.
Дочь. У нас поломался утюг!
Дядя Игорь. А пиво есть?
Евгения Петровна. Я требую уважения!
Капитонов. Мне противен мир обывателей.
Дочь (*поднимает бокал и делает глоток*). Красное...
Мать (*держит в руке бутылку вина и говорит дочери*). Не пей много. С тобой снова что-нибудь произойдёт.
Дочь смеётся пьяным смехом. У бутылки отваливается дно. Вино течёт на пол.
Мать. Ну вот, я же говорила...

Конец

Ганна Шевченко родилась в 1975 г. в городе Енакиеве Донецкой области, Украина. По образованию финансист. Работала кассиром, бухгалтером, экономистом. Ее стихи, проза, пьесы публиковались в периодических изданиях, а также в сборниках и антологиях поэзии и короткой прозы. Автор книг «Подъемные краны» (2009) и «Домохозяйкин блюз» (2012).



Надежда Мальцева

Из новой книги

Апокрифический псалом

	II
<i>Александру Ревичу</i>	Где, Москва, твои сударики, непрактичный старый сброд? Дней не стало в календарике — листик месяц, листик год.
<i>Фернандо Пессоа</i>	III
Не подавай за ворота, коли свой есть сирота.	Двадцатый век за окнами поёт: «Не уходи, побудь со мной ещё минуту», по крыше лупят серные дожди, а знал бы прикуп, выпил бы цыкуту.
I	IV
В престольном Вавилоне, как в подлом рабьем лоне, полным-полно елая и живчиков не счесть, и при попутном ветре ползёт из чашек Петри чума — чуме в отместь.	Обнявшись с этим небом, не брезгай ширпотребом, на берегу оставил для всех хлеба Господь, простит Он наши бзыки и блудные языки в одну замесит плоть.
Звала да привечала, и от души всучала то каравай, то крух, не свой, не Ванька Каин отныне здесь хозяин, и выдохся особый, неповторимый дух.	А те, кто строил башни на мерзости вчерашней и делал норки в сыре — спаси и сохрани! — как верная борзая библейского Мазая, зайчатины ни-ни.

V	
Бьёт тяжёлый рок по темени, в ком сливаются огни. Ангел рек: не будет времени. Брек. Ламма савахфани.	
Птички замрут в небесах, стрелки замрут на часах, спи, моя радость, усни, усни, усни.	
VI	
Но не смыкает веки царица новой Мекки, и под прожекторами на всех семи холмах в своём гробу стеклянном с духами и туманом сидит одна впотьмах.	
Ей пел всю ночь Случевский, и Фёдор Достоевский её руки просил — ушла, как от ожога, и глохнет у порога дремучая чащоба, сырой болотный ил.	
VII	
Ты заря ль моя, вечерняя заря, о тебе ли шепчет шёлковый ковыл, не коснись меня крылом нетопыря, не замай под новый дом моих могил!	
Пусть имён и дат не помнит атаман, шваркнет шапку оземь, вытащит бутыль, только вслед за шапкой падает костыль... Эх, дороги, пыль да туман.	
VIII	
Торгуя сходной скверной, с ухмылкою купаются в шампанском заезжие купцы, и срезав веки Вию, на торжищах Россию таскают под уздцы.	
IX	
Ан не купишь отца-матери, не набьёшь ума в мешок, не нарвёшь, как в том тиятере, молодильных яблок впрок.	

X	
Бьются псы из-за мосла, у котла смердит моча, крошки с барского стола подъедает саранча, не рогожа — епанча, золотые купола, так и просит кирпича зоб двуглавого орла.	
XI	
Под вздох, да по сусалам! с домашним всё дальше в тёмный лес, и хлеб насущный втуне святится на кануне, пока душа живая идёт на счёт и вес.	самопалом
Протез тихонько скрипнет, в углу ребёнок в фарватер русской речи вползают хрип сорочий трескот рвётся, и ножки из колодца топорщит бледный гриб.	всхлипнет, и шип,
XII	
Божья коровка в небо летала, хлеба пытала. «Нет у нас мучки, — плакались тучки, — дров не хватило, печка остыла, на тебе корки от старой просфорки».	
XIII	
Сколько зим, какво костыляется, друг? Да, в огне не горим и в болоте не тонем, беспардонных подначек любого режима, и заметь, получается замкнутый круг — все дороги ведут в ослепительный Рим, ни одна из дорог не выходит из Рима.	помимо
XIV	
Горой на самобранке ракеты, бронетанки, а брать придут в полон — лишь битое корыто, и вся его защита — по нитке с мира сила, ни званий, ни имён.	
Подать сюда Ивана! Да где же взять Ивана? Ты, матушка, должно быть, обедню проспала, и чадь твоя, и детки Ахметы и Ахмедки, — за бедами победы метёт, метёт метла...	

XV	
Привыкай же к веку энному, тки ещё суровой нить, не бобрами же блаженному за пророчества платить.	
XVI	
Летите, голуби, летите среди ушанов и кукуш, пока Московия в зените стоит на картах наших душ, — скачите в вечность, звери-кони, ловите звёзды в пламенах! Пусть Рим стоит на Вавилоне, а Вавилон на трёх слонах.	2007
Белый билет	
Он так и не вспомнил дорогу домой. <i>Теодор Крамер. «Военнопленный»</i> Идёт домой солдат с войны, гремит его костыль, зияют рваные штаны, в щетину въелась пыль, однако шире волжских вод улыбка у солдата, и птичка в рот влетит вот-вот из фотоаппарата. Идёт и лыбится, а зря, у самых райских врат добьёт калеку втихаря патрульный спецотряд, поддал, уснул, и все дела, не пуля, не саркома — куда раскинул вран крыла, шагай, и будешь дома! И он пошёл, а дома нет, из груды кирпича торчит, горит иванов цвет, зелёная свеча, да соловьи поют всю ночь в кустах обезумелых... Сглотнёт солдат и двинет прочь, качать права в отделах.	

И будет утро, и допрос, как стычка под огнём. Лишь то, что он с войны унёс, останется при нём, и он сменяет вещмешок на спирт и две затыжки, чтоб закусить на посошок в вонючей каталажке. Но может быть, да, может быть, вояку примет мир, чтоб он, тудыть и растудыть, не посрамил мундир, восстанет тыщу лет спустя с носилок катафалка орденоносная культа и всхлипнет: «Птичку жалко». Куда несёт тебя, герой? Ведь ты везде убит. Пусть даже пир идёт горой, тебя на нём знобит. Момент! Снимаю, дорогой! А ты — ты бел, как наст, но чёрный ящик пнуть ногой вовек судьба не даст. Зовёт маяк на берегу и мёртвые суда, я тоже вспомнить не могу, зачем иду туда. Домой, домой! — маня сквозь мглу, гремит во тьме стаккато, и птичка бьётся на полу у фотоаппарата. Прогулка по русскому Лациуму — Иттить так иттить! <i>Елизар Мальцев</i> Наша древность темна, как могила, что Владимир, что Рюрик, что скиф — кто стоял у руля и кормила, тот и правил по-своему миф. Не нагнать тебе бешеной тройки, ни в Сибири, ни в Штатах, Иван, и в грядущее прямо со стройки ты идёшь, как татарин, незван. Русский Лациум — вёрсты да вёрсты, вот и мерь их, не помня родства,	2010
--	------

как не помнит в толпе разношёрстой
ни своих, ни заезжих Москва.

Путь-дорожка тебе, путь-дорожка!
И туманную даль вороша,
исчезают деревня, гармошка,
поле, родина, слёзы, душа.

И ни шороху в круге заклётом,
гробовое молчанье о том,
что взрывается в горле набатом:
— Человек! Человек за бортом!

2010

За углом налево

На утлой лодке через камыши —
сводил с ума туман и снился шорох,
но пела ночь и жарко жгла в притворах
лампады для блуждающей души.

Три дня, короткий избывный миг,
чьи звуки сложились в строки,
и как сумел поседеть старик,
отец мой, за эти сроки?

И сонно берег лодку оттолкнул,
пока, бредя по щиколотку в тине,
я отвечала голосу пустыни
и клянчила у вечности притул.

А следом, явные и втемне,
рвались и бежали к двери
все те, кто от века живут во мне —
химеры, исчадья, звери.

Толпой бродяг ввалились мы в вертеп,
и спали в яслях, и коптили своды,
но грязь и мусор уносили годы,
и теплился в ладонях чёрный хлеб.

Смертям не стоит вести подсчёт
и душу клеймить за морок —
любовь почти что игра в уход,
и жизнью в мгновеньи сорок!

И прах на землю падал, как снежок —
серебряный, невинный, безуханный,
пока не скрыл под пеленою сканой
и белый свет, и смертный бережок.

Лишь кучка грубых, простых камней
у каждого перевала...

Неужто минуло сорок дней
с тех пор, как меня не стало?

По-прежнему с луной танцует стерх
на тёмной крышке древнего колодца,
беззвучно лая, старый пёс несётся
за яблоком, что я кидаю вверх.

И тот, кто хочет ярлык с ценой
повесить на листик древа,
ему никогда не поспеть за мной,
хоть я за углом налево.

2010

Колесо

Не за белое ветрило,
не за терем на мосту —
я за вихрь тебя любила,
за тоску и высоту!

За невыскобленный сполох
в синеве святых очес! —
по золе просторов голых
мы доходим до небес.

Зря ли прадед под развязку,
как прощанье налегке,
заказал при дрогах пляску
в каждом встречном кабаке?

То-то улица кружила!
То-то пел небесный хор!
То-то падал гроб с подстила
вместе с дедом под забор!..

Не беда, что с рожей пьяной,
под гармошку и в лаптях,
ты расселась рваной раной
и пируешь на путях —

со своей раскосой мерой
через северную тишь
ты и утицею серой
по-над финистом взлетишь!

Колесом идёт дорога,
тёмный зов неизъясним.
Ты и с Богом — против Бога,
ты и против Бога — с Ним.

2011

Комната смеха

И пьяный смотрит сквозь меня...
София Парнок

Не я, но оболочка голая,
пытаясь выйти на простор,
летит, о времени глаголая,
из коридора в коридор.

Гремят невидимые молнии,
горят зеркальные полы,
крыла, попутным ветром полные,
всегда воздеты для хвалы.

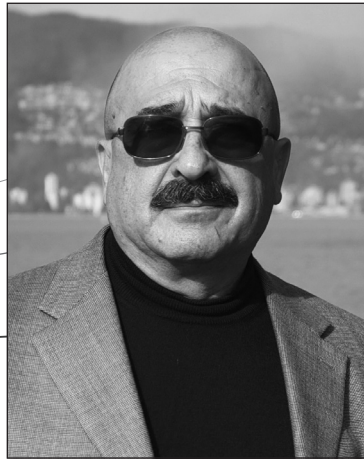
Круши дорогу перекрытую,
сломался бур — берись за винт!
Тмутараканскою уликою
вползает в душу лабиринт.

Она же, все отринув лоции,
отнюдь не выход ищет — вход
и от эмоции к эмоции
бежит, пока не упадёт.

Но смеркнет всё, что свет коверкало,
в осколках битого стекла,
когда в мишень войдёт, как в зеркало,
недолетевшая стрела.

2009

Надежда Мальцева родилась в семье писателя Елизара Мальцева, выходца из забайкальского старообрядческого казачества. Первые публикации — в начале 60-х годов, последующие — с 1990 г.; в советские годы печатались практически только переводы, прежде всего — с литовского и латышского языков. После развала СССР активно печатается за рубежом: «Новый Журнал» (Нью-Йорк), «Встречи» (Филадельфия) и другие, а также в столичных и провинциальных журналах и альманахах. Автор книг стихотворений «Дым отечества» (2006) и «Навязчивый мотив» (2011); за последнюю удостоена премии «Серебряный век» (2011). Более двадцати лет работает над составлением объединённого словаря русских рифм и синонимов. Член Союза писателей СССР с 1977 г. (как поэт-переводчик), член Русского ПЕН-центра с 2009 г. Живёт и работает в Москве.



Юрий Милославский

Сведения, исходящие от полковника П.Ю. Лутохина (Фрагменты новой повести)

Господи, спаси, сохрани воинов и Россию во тьме ночной.
Слова кавалерийской зори

За последние несколько лет отставной Армии Северо-Американских Соединённых Штатов полковник, доктор политических наук, престарелый Павел Юрьевич Лутохин (Paul G. Lought) никаких — насколько он мог об этом судить наяву — снов не видел. Большею частью он почивал в своей спальне, отдельно от супруги, поскольку та все ещё продолжала свою работу в детском отделении госпиталя при Артуро-Эпштейновском Медицинском Центре, Западный Квинс; оттого ей приходилось довольно рано вставать; бывало также, что она возвращалась домой утром и должна была успеть как следует выспаться.

Но в эту сентябрьскую, все ещё приторно-душную, парную нью-йоркскую ночь — с субботы на воскресенье, накануне именин госпожи Лутохиной — её звали Натальей Александровной, — полк. П. Ю. Лутохин своё сновидение запомнил.

Отчего-то ещё с позднего вечера на улицах, близко прилежащих к лутохинскому дому, казалось особенно шумно и беспокойно. То и дело проезжали автомобили со включёнными на полную громкость музыкальными устройствами; и устройства эти, все как один, изрыгали уже довольно старую негритянскую

песню-мелодекламацию; слов её Павел Юрьевич, разумеется, толком не знал, если не считать непрерывно повторяющегося рефрена: motherfucker, motherfucker, motherfucker — и так без конца. Очень возможно было, что весь этот разудалый народ направлялся на какое-то спортивное — вернее всего, бейсбольное — состязание; или возвращался с него; но по телевизии, в одиннадцатичасовом выпуске новостей, ни о чём подобном не сообщалось.

Пора было укладываться; утром Лутохины намерены были отправиться в церковь, и, хотя воскресная Литургия начиналась на их приходе только в десять, надо было всё же успеть отдохнуть, тем более что к четырём пополудни у них был назначен маленький именинный приём-пикник. Салаты, сыр и прочее Наталия Александровна заказала в кухмистерской по соседству, откуда их должны были привезти к самому началу торжества на плоских подносах, затянутых прозрачною плёнкою; белое и красное калифорнийское вино в больших прямоугольных картонных коробках с краниками давно было закуплено и дожидалось своего часа в холодильном шкафу; также и пиво. — Но Павлу Юрьевичу почти тотчас же по возвращении из церкви предстояло позаботиться о газовой жаровне на заднем дворе, загодя вытащить

из морозильника упаковки с круглыми булочками-кайзерками и многочисленные пакеты с рублеными шницелями по-гамбургски, которые вскоре и зашипят на раскалённой решётке — разом с четвертушками лукавиц, ломтиками томатов и зелёных колокольчатых перцев; всё это необходимо было нарезать, так как покупать овощи заранее подготовленными для обжарки Лутохины полагали излишним.

Подшло к полуночи, но сотрясающая стены похабная песня всё не унималась. Зловещий глухой баритон мелодекламатора продолжал бормотать своё под гитарный рёв и барабанный бой, то чуть затихая, то вновь усиливаясь, по мере того как очередной автомобиль предположительно оказывался невдалеке от жилья Лутохиных.

Ещё совсем недавно смирный, степенный околотов, где с самого начала 50-х годов минувшего столетия поселились русские, греки и галичане, за последнее десятилетие совершенно переменился в самом своём естестве. Старшее поколение обитателей частью вымерло, частью перебралось в богадельни, а их дети, чуть ли не в один месяц, продали полученные в наследство двухэтажные особнячки — выходцам из Китая и Бангладеш, которые, в свою очередь, обратили их на съёмное жильё для менее достаточных компатриотов. Тротуары с каждым днём становились замусоренней; засохло и было спилено городскими властями большинство платанов и лип, посаженных в прежние времена; старожилы смущали пронзительные голоса новых поселенцев и острый смрад их домашней стряпни.

На главной торговой улице, впрочем на достаточном расстоянии от Лутохиных, появились безчисленные китайские харчевни, ничем, кажется, между собою не различающиеся. Кушанья, которые там отпускали на вынос, раскладывались по ломким, из пенистого вещества, коробкам, — и коробки эти, расплющенные, полные объедков, валялись теперь повсюду, разом с целлюлоидными вилками, ножами и клочьями бумажных салфеток. В нижних этажах некоторых зданий завелись мастерские по сборке и починке компьютеров; открылось (под видом ночных баров) два три азиатских дома терпимости, о чём Павел Юрьевич узнал из чтения страницы объявлений в местном рекламном листке и разбросанных по почтовым ящикам цветных открыток-приглашений.

Однако шум, совокупно создаваемый жёлтою расою, был совершенно иным, нежели тот, что докучал сегодня Лутохиным; к тому же он и не длился до самой глубокой ночи. То и дело Павел Юрьевич, с его особенным раздражённым изяществом движений, прихрамывая, подходил к окну гостиной, треть которого занимал воздухоохладитель, чьё слабое урчание как бы едва раздавалось, заглушённое тем, что теперь проникало извне, несколько отстранял занавеску — и, приблизив розоватое, с крупными подбородком и носом, лицо к самому стеклу, взглядывал наружу. Но, кроме смещения отсветов и мерцаний в промежутках между зданиями на противоположной стороне улицы, ничего в поле зрения не появлялось.

Как всегда в это время, по CBS давали очередной акт комического представления из семейного быта. Наталия Александровна смотрела его с удовольствием, смеясь вместе с невидимыми зрителями; при этом она не любила, если Павел Юрьевич, отрываясь от книги, которую он почитывал тут же, сидя в креслах, говорил, будто бы зрителей в зале никаких, разумеется, нет и быть не может, да и зала никакого нет, но что «там» в нужные моменты запускают какую-то «машинку».

— Я всё знаю, Павлик, без тебя, — отвечала она сдержанно. — Занимайся своим делом.

В гостиной, поодаль от восточного угла, где помещались образа, — у Нерукотворного Спаса, писанного в Германии ещё самим Шелеховым, светила электрическая лампадка, — на стене висели фамильные портреты; на столике стояла глубокая стеклянная миска синего, в венецианском роде, стекла, полная поджаренных фисташек, а рядом — чуть меньшая, керамическая, с видом Св. Града, привезённая много лет назад из паломничества в Палестину; в ней были хрупкие и солёные картофельные сушки. Под прозрачною столешницею виднелись альбомы: фотографии Прокудина-Горского, виды Троице-Сергиевой Лавры, старой Москвы — и недавнее подаренное роскошное издание «Nicholas II».

К часу пополудни рёв моторов, сопровождаемый мелодекламацией, внезапно прекратился, — и Лутохины, то дремлющие, то вновь и вновь пробуждаемые, разошлись по своим спальням.

Павел Юрьевич собирался в церковь — и, как это часто происходит, во сне он увидел себя именно в церкви. Но если его небольшой Свято-Вознесенский храм был изначально вы-

строен в русских традициях — с центральным куполком и двумя декоративными луковками на крыше, — то нынешний сон привёл его в прямоугольный и чрезвычайно вытянутый в длину зал, так что от притвора до алтаря, который полковник Лутохин, оказавшийся во сне без очков, затруднялся как следует разглядеть, пришлось бы шагать и шагать. То был прежде, по всей вероятности, протестантский храм, или, например, реформистская синагога, или иная какая-нибудь молельня, купленная здешнею русской православной общиной полвека и более тому назад у распадающейся — либо, напротив, значительно выросшей и разбогатевшей — конгрегации одного из указанных, а может быть, неизвестных вероисповеданий. От тех времён в зале сохранились балконные хоры и объёмистые белые колонны с капителями, устроенными наподобие лавровых венков, перевитых лентами; по три в ряд в нём располагались многочисленные аналои с образами; к каждому такому ряду с внешней стороны примыкали паникадила. Свещные круги их были так густо заполнены, что Павел Юрьевич, предполагая, по обыкновению, взять пять больших, двухсполовиноюдолларовых свечей — к иконам праздничной, храмовой, именинным и к панихидному столику, что виднелся под очень большим, чуть ли не под самый потолок, Распятием, — подумал: ему, скорее всего, не удастся их все сразу поставить и возжечь.

Вообще сказать, таких церквей, если не считаться с размерами, полковник Лутохин знал до десятка; и прихожане в ней были таковы же, что и везде. Пожилые и совсем престарелые дамы в своих почти обязательных шляпах: маленьких, как носили Эва Перон или Марика Рёкк; с большими, отогнутыми вниз круглыми полями — в духе Мишель Морган; с полями большими же, но приподнятыми, светлых оттенков, украшенные розами, хризантемами или ветками цветущей яблони, — словно Одри Хэпборт или британская королева-мать. Господа в неприменных пиджачных костюмах, большею частью того покроя, что предпочитали герои знаменитых лент вроде «Касабланки» или «Vertigo», — поджарые, с седыми головами или, напротив, пухлые и печальные, почти совсем облысевшие. Со всегдашнею своею внимательностью Павел Юрьевич не мог не задаться вопросом: откуда ими берётся этакая одежда? — разумеется, женщины, в постоянных стараниях сохранить молодость, могли, при известных усилиях, где-нибудь найти, заказать, — что обошлось бы им, или их мужьям, недёшево, — подумать только, по-

купать платья, подобные тем, в которых они, семнадцатилетние ростовчанки-киевлянки, щеголяли за несколько дней до начала Второй Великой войны, подчёркивая своё сходство с Мери Пикфорд или знаменитой советской актрисой Любовью Орловой; всё это было и понятно, и возможно. Но полковник Лутохин отлично помнил этих дам и господ — людьми сравнительно молодыми, лет тридцать, а то и сорок тому назад, — и тогда они были одеты точно так же! В Северо-Американских Штатах такой портновский консерватизм, несомненно, требовал от своих приверженцев особенных действий. Впрочем, в Австралии, где П. Ю. Лутохину однажды пришлось побывать, чудачковатые, но милые эмигранты из Китая будто бы содержали собственные швейные мастерские. Там они, вероятно, изготавливали свои мешковатые костюмы и забавные *casquettes*, кепи с тульей в виде широкого плоского многогранника с пуговицею посредине. Павлу Юрьевичу не слишком-то нравилась эта рабская приверженность прошлому, эта закрытость ко всему новому. Носильные вещи ему, да и часто себе самой, заказывала по каталогу J. C. Penny жена Наталия Александровна, обновляя гардероб по сезону, а всё прежнее — неизменно жертвовалось в магазины Армии Спасения.

Однако он легко отвлекался от этих впечатлений и вызванных ими раздумий, как только покидал человеческое скопление.

Средний возраст, сыновья и дочери стариков, — одетые, как и все прочие люди их круга и достатков, — приходили нечасто. А Павлу Юрьевичу было много приятнее глядеть на внуков и внучек этих ретроградничающих модников: в их пёстрых молодёжных нарядях, с комичными рисунками, надписями, декоративными заплатками и прорезами, — иногда нарочито обтянутых, иногда столь же нарочито широченных, как бы пошитых «на вырост».

В последние годы в храмах появились новейшие эмигранты или визитёры из развалившейся наконец-то — не без его скромных усилий — Совдепии: какие-то странные, разодетые в пух и прах здоровяки, одновременно — с чрезмерным болезненным брюхом и напряжёнными мускулистыми ручищами, в сопровождении высоких, надменных, но при этом неловких красавиц. Попадались и довольно милые молодые пары с воспитанными детишками; то здесь, то там явный еврейчик или евреечка, или какой-нибудь *дюша лубэзный*, — но всё это сосредоточенно-уважительное, умильное, напряжённое, то и дело полагающее на себя выверенные и точные крестные знамения. От-

кровенно чекистских, смершевских и комиссарских рож, просящих кирпича, — рож, мгновенно распознаваемых Павлом Юрьевичем, было совсем мало.

Сходное общество собралось и здесь, в этом незнакомом храме, с тою только разницею, что полковник Лутохин, стоя почти у самых западных дверей, видел присутствующих исключительно со спины — и отчасти угадывал известные ему человеческие образчики; но никто не поворачивался, хотя бы в профиль, к соседу, не переменил мест, даже не переступал с ноги на ногу, не присаживался на стулья, которых всем бы хватило с излишком. Царские врата были затворены, завеса задёрнута. Хор пел тихо и слаженно, хотя слов Павел Юрьевич не различал; впрочем, он и не знал наизусть никаких церковных молитвословий, кроме, разумеется, «Отче наш» и «Верую», — преимущественно, в английском переводе.

У свечного прилавка, собственно, в особой комнатке, где продавались свечи, стояли на полках деревянные ящики с невероятным количеством поминальных книжек. Павел Юрьевич обратился к лицу, бывшему, несомненно, старостой: за столом восседал сухой, костлявый, но с широко развёрнутыми плечами и, надо полагать, весьма высокого роста человек с гладко выбритым черепом, тёмно-смуглою кожею лба и щёк, собранною в живописные, мужественные складки; с седыми усами круто вверх, наподобие тех, что носил покойный отец, только побольше, и особенною маленькою бородкою в форме вытянутого вдоль параллелепипеда; он казался лет семидесяти пяти—восемидесяти — и был точь-в-точь как безногий атаман Кулаков из Главного Управления Казачьих Войск, находившийся в 6-м Терском полку 1-й Казачьей дивизии. Кулаков иногда посещал Лутохиных в их берлинской квартире — где приветствовал одиннадцатилетнего Павлика гулким и весёлым возгласом: «Ну что, вояка, когда к нам? Пора, пора!» — при этом капитан Юрий Павлович, вместо того чтобы поддержать шутку, с видимыми, но не вполне уместными растерянностью и серьёзностью перебивал гостя словами «рано, рано, успеет ещё! Иди к себе, сынок» и проч.

Полковник протянул старосте двадцатидолларовый билет и спросил, как и намеревался, пять свечей и две просфорочки. Тот нахмурил низко посаженные, тонкие, совсем чёрные брови — и поднял на Павла Юрьевича прозрачные, бледно-лазоревые глаза, взгляд которых, благодаря остроугольному нависанию-излому век, представлялся, как это называется, ор-

линым, хотя обладатель орлиных, будто бы, очей — мог оказаться и подслеповатым.

— Какие ж это вам просфоры сейчас? — «Милость мира» поют...

Это, по видимости, была некая неизвестная Павлу Юрьевичу церковная условность, давняя русская православная традиция — или просто предрассудок здешнего прихода, бездумно сохранившийся от начала, от каких-нибудь новочеркасских или гродненских обывателей, ушедших от наступающих сталинских полчищ вслед за немецкими войсками. В приходе Лутохиных просфоры можно было свободно приобретать до самого конца службы. К местным обычаям Павел Юрьевич, во всяком случае, относился со всею уважительностью; иначе и быть не могло; но склонность к мелочной, староверской обрядности, средневековому мракобесию распутинского толка, принёсшему столько вреда несчастной России, — он, конечно, не одобрял. Так было наяву; но во сне полковник П. Ю. Лутохин твёрдо знал, вернее — был извещён, — что очутился в этом церковном здании именно с целью получения здешней просфоры, тогда как все сходства и подобию — людей ли, предметов с ранее им где-то виденными — далеко не главное в том, что ему снится, что это всего-то фон, подходящий к делу, — но фон. А между тем эти вожаки, но кому-то другому предназначенные просфоры лежали на большом металлическом подносе. Вид их поразил испуганного и жестоко обиженного отказом старосты Павла Юрьевича; они были совершенно единообразны, так что в точности совпадали и по высоте, и по охвату кругов, и по форме «тали»-промежутка между этими кругами, и по глубине одинаково вынутой частицы; они были необычайной белизны со сливочным оттенком; оттиснутая на них эмблема Победы Христовой отличалась удивительной, никогда прежде не виданной Павлом Юрьевичем отчётливостью; а пахли они до того вкусно, что полковник Лутохин испытал непреодолимо сильный пароксизм чувства голода. Просфорами занимался плотный, также очень рослый господин, одетый в куртку хаки с большими накладными карманами и отложным воротником. Его характерно советская физиономия с выпяченною резко вперёд всею нижнею частью (что — Павел Юрьевич знал — на подсоветском жаргоне называлось *собачья морда*), в больших старомодных круглых очках и гладкой причёской, также представлялась знакомою, но отчего-то тягостно-неприятною; лучше бы его не было. «Советчик» ловко завертывал каждую просфору в тонкие и мягкие бумажные листочки. Присматриваясь к растерянному, как бы по-

терявшему дар речи полковнику Лутохину, он тяжеломерно нагнулся к старосте — и произнёс несколько слов в самое его ухо, продолжая при этом внимательно наблюдать за Павлом Юрьевичем, готовым не то разрыдаться, не то схватить с подноса одну из чудесных просфор — и убежать.

— Ага, — с малороссийским выговором откликнулся на неизвестные резоны своего напарника сердитый старый казак. — Ну тогда что ж, если оно дело такое. — И в более доброжелательной против прежнего манере произнёс: — Вот Андрей Андреевич вам из алтаря вынесет.

Сутуловатый, хотя и осанистый Андрей Андреевич, притоптывая и припаркивая большими своими ступнями, проследовал до иконостаса, став едва видимым за дальностью расстояния, отворил южные двери и скрылся за ними. Через короткий промежуток времени он уже был рядом с полковником Лутохиным — и на ладони его стояла ещё более прекрасная, несколько крупнее тех, что помещались на подносе, — просфора, из которой частица была иссечена не от края, а из самой середины.

Полковник Лутохин со слезами поблагодарил оказавшегося столь сердечным Андрея Андреевича, принял полученное в свои руки, — и на этом сон его был заглушён и упразднён начальными тактами мелодии из Godfather, повторяемой карманным телефоном, включённым как будильник.

.....

Он и представить себе не мог, что в здешних краях мыслима этакая погода. Поистине Африка, Сухум. Это было очередным подтверждением тому, что у него всегда не доставало жизненного опыта, и дело, конечно, относилось далеко не к одному только климату.

Впрочем, погода стояла отличная, и при открытом окне в комнатах было свежо и прохладно.

Во время очередной прогулки по двору, с его немногочисленными деревьями, среди которых обращала на себя его внимание одинокая ель, он продолжил обдумывать то, что сейчас в особенности, может быть и чрезмерно, его занимало: а именно перемены, в нём же самом произошедшие. Так, нельзя не признать, что склонность к домашнему и семейному — а это, зачастую, одно и то же — уюту для человека, которому Господь определил нести военные и государственные обязанности, может быть сколь угодно сильной, но она никоим образом не должна приводить к манкированию, пре-

небрежению делом. Нельзя не признать, но — увьи! — затруднительно соблюсти.

Впрочем, к уюту домашнему как таковому он был до известной степени безразличен, — в том смысле, что ему, например, не мешали ночёвки в чужих жилищах — ни ему самому, а то и никому по отдельности не принадлежащих. Он без запинки и с особенным мужским удовольствием устраивался по-походному, повоенному, по-бивуачному, как это ни именуй. От самого рождения он числил себя человеком, что называется, казённым, человеком присяжным, исключительной природной, а ещё большей — дисциплинарной выдержки. Его было не очень-то просто принудить к бессоннице на незнакомой и далеко не всегда удобной постели или к потере аппетита (из-за того, что разгулялись нервы или не так уж вкусна еда). В сущности, его дом — это вся колоссальная матушка Русь, а обитает он, днюет и ночует там, где это требуется обстоятельствами, где обязывает положение или, наконец, сама история. И лишь в границах всего этого он предпринимает всё возможное, чтобы не причинять неудобств семье. Это его святая обязанность, изначально им, с великой радостью, несомая. — Поэтому ничто в его отношении к жене и детям не порождало противоречия между любовью и долгом. Можно сказать, он знал об этом противоречии лишь понаслышке, по рассказам, из каких-то оперных или театральных представлений.

Также для него много значили аккуратность, абсолютный, отчётливый порядок в устройении рабочего места; он предпочитал простую, без выкрутасов, пищу, добротную одежду — того рода, которая, при хорошем с ней обращении, от времени становится только удобнее в носке. Всё это было известно окружающим — вместе с его страстью к охоте, физическому труду, вообще к моциону. Он и не видел никакой необходимости скрывать эти, каждому полезные, необременительные душевные и телесные привычки. При его занятиях всё в названном роде давало ему превосходную возможность отдохнуть.

Но едва только этим его занятиям был положен конец, — чему во многом он способствовал лично сам, толком (как выяснилось) не понимая — в чём же для него самого выразятся последствия принятого им решения, — спустя буквально несколько дней, много — недель, всем этим его привычкам и склонностям противостала непреодолимая преграда. Они оказались решительно невозможны в его новом положении; пуще того — они обратились во что-то предосудительное, достойное самой резкой и

насмешливой публичной критики, чуть ли не судебного обвинения. И он не стал возражать на этот вздор, — впрочем, его возражений никто бы и не принял. С ними не к кому было обращаться, да они и звучали бы достаточно неуместно; и в самом-то деле, какая теперь может быть охота?! Да и работа в саду, или хотя бы расчистка дорожек от снега? — Он, однако, пытался орудовать лопатой, сгребать сугробы как ни в чём не бывало, и на него пялились как на учёного медведя или какого-то шута горохового, деревенского дурачка: одни то и дело похатывали, переглядывались, пожимали плечами, едва не тыча пальцами, а другие щурились со злобной хитрецей: мол, знаем мы тебя, что ты задумал, не таковские, не обманешь.

Сперва это представлялось ему недоразумением, которому вот-вот предстоит разъясниться. Но вскоре он убедился, что всё обстоит скорее наоборот: недоразумением, а лучше сказать, недомыслием были его представления. Их-то и надо было пересмотреть.

Выдержки, сдержанности хватало. Его и прежде никогда не преследовал соблазн хоть сколько-нибудь явного, публичного выражения своих чувств, симпатий и антипатий, особенно последних. Впрочем, его сдержанность пролежала значительно глубже, распространяясь на собственное, то бишь настоящее, собственное отношение к жизненным обстоятельствам, как серьёзным, так и незначительным. Это, разумеется, было и оставалось большим подспорьем. Но теперь он убедился, что выдержка-сдержанность ни в чём не сродни иному свойству, недаром так прославляемому в человеческом обиходе и в Церкви, — свойству терпения. Выяснилось, что терпением он, по каким-то неведомым грехам, обделён. И, в отсутствие терпения, жестоко страдали все его чувства; все они были оскорблены и поруганы: будь то чувства чистоплотности, брезгливости, телесного стыда, наконец, чувства собственного достоинства, необходимой уверенности в себе. Эти постоянные страдания надо было исхитриться вовремя скрыть — и от близких, и от диковинного постороннего окружения, тем более несносного, что оно, так сказать, окружало его всё ближе (каламбур, а вместе с тем — истинная правда!), все безцеремонней. И, главное, от самого себя, с чего всегда приходится начинать. Потому что терпения нет никакого, а есть только сдержанность, которой ему не занимать стать.

.....

В целом ряде учёных трудов (а от них — и в исторических романах) содержатся упоминания о моровом поветрии, которое летом 1653 года на-

несло от Понизовья к Москве. Когда поветрие распространилось по всему городу, Святейший Патриарх Никон — прежде чем поставить заслоны на Смоленской дороге, чтобы мор не добрался до царя Алексея Михайловича, бывшего в те дни при войсках у стен Смоленска, — послал гонца с известием Государю, что царицу Марию Ильиничну с малыми детьми, а также и царевен он перевозит в Макарьев Калязинский монастырь.

Сто тридцать с небольшим вёрст от Москвы до Калязина шли, как говорят, чуть ли не в два месяца; долго. Последняя стоянка была на реке Нерли, — и когда уж совсем было приготовились двинуться дальше, Святейшему донесли, будто через дорогу в Калязин чуть ли не минутой назад переправили мёртвое тело дворянской жены Прасковьи: скончавшейся от чёрных язв матери головы московских стрельцов Юрия Лутохина. Патриарх распорядился, чтобы на самой дороге и по её обочинам накласть дров и поджечь их. Пылало всю ночь, а наутро все не догоревшие обрубки, уголья и прах были развезены далеко в стороны; на их место по дороге была ровно раскидана свежая земля, накопанная и доставленная также издалека; только затем тронулись, потеряв ещё день до вечера.

Умершая Прасковья Лутохина, рано овдовев, оставила после себя двоих сыновей. Старший, Юрий, известный более потому, что в его доме проживали прибывшие в ноябре 1669 года на государевы смотрины семьи девиц Овцыной и Апрелевой, потомства не оставил; но зато младший, Пётр, напротив, положил начало многим Лутохиным, бывшим преимущественно в военной службе. При государыне Екатерине Второй один из Лутохиных, Алексей Павлович, отличился в турецких войнах и достиг полного генеральского чина по кавалерии; овалный портрет его, где он изображался среди пышной военной амуниции, как то: копий, сабель, пушечных стволов, знамён и различных значков, — равно и портрет супруги его из дома Ахлестышевых, по преданию, кисти не то Боровиковского, не то Рокотова, сохранялись у его отдалённых потомков даже до самого последнего времени.

Прямой прапраправнук Петра Юрьевича — капитан Юрий (Георгий) Павлович Лутохин на исходе Первой Великой войны — после ранения, от которого он был излечен в Царско-сельском госпитале, — находился при Главной Ставке. В феврале 1917 года, незадолго перед

назначенным отходом Царского поезда на Петроград (сам отход, как известно, задержался до глубокой ночи), он, выполняя предусмотренное на такие случаи распоряжение, проследовал на дрезине по той же колее до стрелки, проверяя исправность пути — и при этом задумчиво наблюдая обожжённые шпалы, цветом и видом своим походившие на те дрова, что догорали некогда у въезда в Калязин.

Ю. П. Лутохин также участвовал и в церемонии прощания Государя с чинами Ставки, — напомним, церемонии скомканной и незавершённой. Впрочем, то была далеко не последняя встреча Юрия Павловича с Домом Романовых.

Вскоре после эвакуации, одиноко поселясь в Болгарии (жена его, Маргарита Ивановна, урождённая Полтавцева, скоростигжно скончалась ещё в Константинополе) и счастливо получив должность при транспортном отделе тамошнего Генерального Штаба, — тогда как многие и многие достойные офицеры вынуждены были добывать хлеб насущный где-нибудь на рудниках в Пернике, — капитан Лутохин познакомился с чинами Северо-Американской военной миссии. Знакомство это имело свои последствия.

Американцы в те годы казались европейцам — пускай даже совершеннейшим дикарям и разбойникам, вроде обитателей Балкан, — грубоватыми, а впрочем, довольно добродушными людьми, мало сведущими в делах Старого Света; у русских это чувство шло от дедов и прадедов, от репертуаров их домашних театров, где представлялись переделанные с французского водевили, с персонажами вроде Учётливый Китаец, Грубый Американец и Немчура в колпаке. Но капитану Лутохину хотелось этим грубым американцам — помочь, содействовать их повзрослению; с тем, конечно, чтобы они, поскорее обучась всему необходимому, с толком использовали свою, уже тогда невероятную финансовую и военно-техническую мощь для восстановления в России законной власти — власти, очищенной от наших традиционных, самоубийственных недостатков, которые и привели к её крушению, а затем — к установлению большевицкой тирании.

С давних пор капитан Лутохин не питал (как ему представлялось) никаких иллюзий касательно Европы; восстановления сильной России равно боялись и не желали и в Берлине, и в Лондоне, и в славянской Софии — и, пожалуй, даже в Белграде. Но для громадной заоке-

анской страны, где над высоченными зданиями парили бесчисленные дирижабли и победно ревели авионы, а по городским улицам неслись мощные автомобили, возрождённая русская сила не только не представляла опасности, но, напротив того, была бы силою дружественною, союзною, способною в случае необходимости уравновесить традиционных соперников Северо-Американских Штатов на европейском континенте, — прежде всего, Францию и Альбион. Ничем не угрожал российским интересам и североамериканский оккупационный корпус, даже если бы его пришлось на какое-то время развернуть не только на окраинах, но и в центральных губерниях; в отличие от хищных европейцев, янки при первой же возможности ушли бы восвояси — так скоро, как нам удалось бы сформировать действительно работоспособную администрацию.

В своих неусыпных стараниях спасти погибшее Отечество русские офицеры — к сожалению, только немногие — вливаются в новосозданные штабы и разведочные бюро лимитрофных государств; мы так или иначе сотрудничаем с армией и политической полицией Польши, Румынии, Японии, Персии! — и мы желаем такого сотрудничества! Мы сами ищем его! Мы не совершаем ошибки; потому что это может помочь нам — и помогает — в решении важных тактических задач: по сохранению и воспитанию кадров, по выявлению и ликвидации большевицких ячеек в нашей среде. Но принятие крупных, стратегических решений, если мы стремимся к ним, рано или поздно неумолимо потребует от нас осознания того факта, что Европа — нам не помощник. Таким помощником в современном мире окажутся для нас единственно Северо-Американские Соединённые Штаты и проч., и проч.

Этими своими соображениями, частью изложенными в виде небольшого доклада, Юрий Павлович — не без осторожности — пытался делиться в собраниях местного отделения чинов РОВСа; обсуждал со знакомыми офицерами; но всё было напрасно. — Напрасно, потому что сама обширность и доходящая до дерзости смелость лутохинского плана в сочетании с крайнею отдалённостью — как географическою, так и в сознании собеседников — главного предмета обсуждения, то есть Северо-Американских Штатов, уже были достаточным препятствием для привлечения внимания, пробуждения настоящего, делового интереса. Мешало и то, что в раздражении капитан Лутохин ино-

гда становился несдержанным в разговоре. Кроме того, — что почти наверное, было самым главным, — лутохинская «американская авантюра», как стали её называть, предусматривала какое-то невозможное, нестерпимое, даже оскорбительно долгое время для своего осуществления: страшно сказать, может быть, придётся ждать года три-четыре, а то и все пять-шесть лет. Подобные дополнительные сроки бездействия того, что ещё оставалось от армии, подразумевали неминуемую гибель её; ведь всё наиболее ценное в ней по своему возрасту постепенно утрачивало боеспособность и уходило в запас. А ведь в ожидании возможности возобновления кампании — уже миновало столько же, если не больше, драгоценных дней, сколько, предположительно, требовалось теперь Лутохиным на перекройку всего, с таким невероятным трудом созданного. Не говоря уж о том, что открытие полноценных Отделов РОВСа на землях САСШ звучало насмешкою: ведь американское правительство всячески этому препятствует; да и кто даст средства на перевозку армии — и куда?! Уж не на Аляску ли?

Капитан Лутохин отвечал, что его неверно поняли; что ни о какой передислокации нет и речи; что не нужен даже и североамериканский Отдел РОВСа. Всё ныне действующее остаётся как есть. Американцев же надо именно готовить; но готовить изнутри.

Это была не то пьяная болтовня, уместная разве что в кафане, не то помешательство на международной пинкертоновщине, *idée fixe*, не то — провокация. Начальник III Отдела генерал Фёдор Фёдорович Абрамов, которому была представлена лутохинская записка, по видимости, даже не прочел её с достаточною внимательностью; ему было не до прожектов: утраченный сын его, будто бы чудом ускользнувший от большевиков, оказался лазутчиком ГПУ; разоблачённый, он вновь скрылся; и это нелепое исчезновение — кое-кто полагал виною генерала.

Доказательства, представленные против сына, казались неопровержимы. Но именно в самой неопровержимости их содержалась какая-то тайна; они были, на вкус отважного казачьего генерала, слишком хороши, как на заказ. Сын же, высланный болгарским судом во Францию, исчез; и отец чувствовал, что это не побег, а подстроенное убийство.

Утраченная грядущими поколениями способность ко внутреннему соблюдению той самой железной дисциплины, та собранность, в которой только и содержится настоящий воинский порыв, — ни в чём не изменила генералу Абра-

мову; всё в его работе оставалось как прежде; но тем отвратительней и презренней стал для него разоблачитель этой, будто бы, конспирации и — в чём генерал не сомневался — настоящий убийца сына; подлая немчура, штабс-капитан Клавдий Александрович Фосс; тихий, педантично-внимательный, набожный, образцовый офицер из «дроздов»; спортсмен — страстный любитель охоты и лыж, — ведающий контрразведкою.

Личный доклад Лутохина генерал не стал и слушать, зная, что Лутохин довольно близок с негодеем Фоссом.

Вскоре Юрия Павловича в среде военной молодёжи стали за глаза называть «одним американцем» — тем самым, который
...засунул в ж... палец
И думает, что он
Заводит граммофон.

Клавдий же Александрович, которого капитан Лутохин, многим ему обязанный, часто встречал прогуливающимся с женою по садовым дорожкам неподалёку от штаба РОВСа, в сопровождении верного пса — ирландского сеттера, — Клавдий Александрович, напротив, с отменною доброжелательностью выслушал проект капитана Лутохина — и, помолчав, сказал: «Действуйте на ваше усмотрение, голубчик Юрий Павлович. По возрасту вы старше меня, и опыт штабной работы у вас много больший. Конечно, это не может быть приказом, но только советом. В наших условиях инициатива всецело переходит к тому, кто находится на местности, поскольку сам он ниоткуда команды получить не может — неоткуда! — и отвечает он перед своею совестью. Это его начальник, и это его штаб. Такова эта война. И таковы наши обстоятельства. Трудность предприятия колоссальна. Конечно, славные западные союзники русского народа...»

Капитан Лутохин чуть было не произвёл резкий отрицающий жест, отчего папирosa его, дрогнув, сронила пепел на абрикосовых тонов чистейшую скатерть: ибо это говорилось уже в какой-то иной раз, зимою или позднею осенью; в комнате Клавдия Александровича было, как всегда, очень уютно, однако ж, довольно прохладно.

«...нас немного подвели, подкузьмили. Но какая теперь нам польза — постоянно об этом напоминать, обличать их, тыкать им в нос наши обиды. Да и в чём виноваты наши коллеги? — только в том, что над ними властвуют по-

литиканы. Странно сказать, в одном этом наше положение теперь, пожалуй, получше — если сравнить с прежним. Или похуже. Нам не на кого больше пенять. Вы и сами видите, что вся работа по линии внешней постепенно сворачивается, и только Господь знает, когда и в какой форме она восстановится. Нам остаётся линия внутренняя. Но и здесь нам предстоит основную часть деятельности по этой линии проводить среди, — Клавдий Александрович, щадя чувства собеседника и заранее извиняя некоторую его горячность, сам первый совершил малое движение правой кистью, чуть возвысив её над столом, так что его несколько отведённый и круто выгнутый большой палец описал полукружье; сперва слева направо и тотчас же — справа налево, — ...среди того, что нас окружает. И не отпугивать тех, кто мог бы нам помочь, поддержать нас; стараться правильно использовать наши знания; всегда изыскивать путь к возможности поделиться ими».

Здесь капитан Лутохин вновь заговорил об ошибках союзников, прилагая к ним — союзникам и ошибкам — сердитые эпитеты.

— Ошибки, — подтвердил Клавдий Александрович, — часто случаются. Тактические. Стратегические. Исторические ошибки. Ведь если бы мы — каких-то 65—70 лет тому назад, в 1861-м, во время американской смуты, — мы, Россия! поддерживали не мерзавца и масона Линкольна, а благородных южан, то существовали бы совсем иные Американские Штаты. Так что, начнись у нас смута, они бы уж тогда не колебались, на чьей стороне воевать, правда? Но только не надо бы нам держаться за главную ошибку и руководствоваться старинным заблуждением, — я, кстати, считаю всеобщую приверженность к нему не случайностью, а намеренным, давно и отлично организованным психологическим трюком, — что будто бы исторические ошибки — они непоправимы. Ошибки совершает дурак-человек, историю свою творит дурак-человек, Бога он не слушает, и Бог ему ошибаться не препятствует, чтобы дурак-человек об эти свои ошибки лоб расшибал — и умнел.

.....
Сын Юрия Павловича, родившийся в Берлине от второго, позднего брака с Анной Васильевной Печаткиной и также пошедший по военной, собственно, разведочной линии, — но только не в Европе, а именно в САСШ, — лишь много позже узнал, что отцовские рассказы были полны неточностей в отношении фактов и даже исторической путаницы. Разоблачение, — кстати, совершенно бесспорное, —

младшего Абрамова — произошло в середине 30-х, а ведь Юрий Павлович покинул Болгарию даже до кутеповского похищения. Поэтому тогдашние впечатления и чувства несчастного генерала Абрамова могли быть ему известны единственно от самого Фёдора Фёдоровича, с которым капитану Лутохину удалось опять познакомиться — и помириться — уже в Америке, в штате Нью-Джерси, незадолго до загадочной смерти генерала. И, наконец, слова К. А. Фосса, обыкновенно очень и очень немногословного, большею частью принадлежали самому Юрию Павловичу: его рапортам, его отрывочным заметкам, его аргументам, рождённым в разговорах, — либо действительно услышаны им от Клавдия Александровича, но много позже, по переезде Лутохиных в Германию, а то и после Второй Великой войны. Кстати, штабс-капитан Фосс в те первоначальные годы — то есть во время пребывания Ю. П. Лутохина в Софии — кажется, ещё и не заведовал контрразведкою III, болгарского, Отдела РОВСа.

Такие упущения и оговорки насчитывались дюжинами, так что если бы Павел Юрьевич затеял писать воспоминания об отце, — что не единожды приходило ему на мысль, — всё в этом роде следовало сопроводить пояснениями, примечаниями и даже не оговорёнными заранее поправками.

Но подобный труд — если уж и в самом деле на него отважиться — он отлагал до отставки.

В сентябре 196... года сравнительно молодой, но обогнавший отца в чинах майор Павел Юрьевич Лутохин — он состоял тогда при Отделе психологической войны, — будучи в служебной командировке, прибыл в Мюнхен — впервые за полтора десятилетия, прошедшие со времени его раннейшей работы в Германии. Из Мюнхена ему, как это сперва предполагалось, предстоял перелёт в Гамбург — по делам особой важности, — делам, разумеется, служебным и в то же время не связанным со всеми прочими его занятиями, отличными он них. Однако в последний момент ему принесли весточку от князя S.-A.: «Твой приезд необязателен». — Павел Юрьевич, подавив чувство ревнивого недоумения, немедленно дал краткий, нарочито покорный ответ — при том, что он мог бы с лёгкостью послушаться княжеской депеши — и остался на выходные дни в Баварии.

После отпуска воскресной литургии в мюнхенском Свято-Никольском кафедральном соборе, что помещался в съёмном здании на

Сальваторплац, несколько давних отцовских знакомых пригласили его отобедать в знаменитом своими огромными порциями загородном ресторане.

Оставив столы, за которыми произносились трогательные тосты в честь старинного друга, соратника и однокашника, — чей день рождения отмечался в самый последний день месяца по гражданскому календарю, на Веру, Надежду, Любовь и мать их Софью, — всё общество возвратилось в свои автомобили, чтобы отправиться в Людвигсфельд, где в большом доме семейства Георгия Васильевича Кара, потомка екатерининского, как и сам Лутохин, генерала, — не совсем удачного победителя знаменитого по своим последствиям бунта яицких казаков — гостей дожидались чай, коньяк, водка и некоторые новые знакомства. Сразу после первой чашки большая половина друзей отца — не прикасаясь, по своим преклонным летам, к спиртному, чтобы не произошло опасного столкновения коньяка с прежде выпитыми пивом и белым вином, — разъехалась по домам. Новые же знакомые, как люди не просто русского происхождения, но, в большинстве своём, родившиеся и даже выросшие в Отечестве, этими благоразумными правилами отчасти пренебрегали. Павел Юрьевич пил с ними вровень, хотя навыков этого рода времяпрепровождения почти не имел, зная из действительно крепких напитков только разноцветные смеси на джине, текиле и роме.

Поближе к вечеру подали, как это звалось в офицерских собраниях при капитане Лутохине и его предках, *перегородку* — то есть охлажденное пиво с жирными и горячими закусками. Затем наступили отдых и беседа.

К Павлу Юрьевичу подсели на диван двое из ещё прежде представленных ему лиц. По роду своих занятий и обязанностей майор Лутохин не должен был заводить новых знакомств, не осведомясь прежде, кем окажутся эти возможные новые знакомые. И теперь уж ему заранее было известно, что встречи с ним ждутся члены Руководящего Круга — в справке указывались и такие названия, как «Дума» и что-то ещё в этом же ключе — Народно (прежде — Национально)-Трудового Союза. Такая встреча была совершенно допустимой и ни в чём не вступала в противоречие с Положением о безопасности. Всё то, что когда-то давно делало эту политическую организацию неприемлемой или в чём-то неудобной, перестало существовать почти двадцать лет тому назад, когда Павел Юрьевич начинал учиться в колледже го-

родка Поукипси, штат Нью-Йорк. Сегодня эти люди из НТС занимали скромное, — значительно более скромное, чем им представлялось, но довольно нужное, строго определённое, место в программах воздействия на советский коммунистический режим; отец их, впрочем, не выносил. — Но это была всего лишь почётная дань прошлому: ведь ещё острее — Павел Юрьевич знал об этом с детства — Лутохин-старший, избегая распространяться об этом публично, не терпел и не признавал тех, кто получил офицерские и генеральские звания, служа в «цветных» полках Добровольческой Армии.

Сидящий по правую руку высокий господин корпулентный, с лёгкою — как прежде успел заметить майор Лутохин, — может быть, подагрической неловкостью в походке, с весёлостью на круглой, от природы полнокровной, а сейчас чрезвычайно яркой физиономии, которую не старило плешивеющее белокурое темя, хорошей курляндской фамилии, — сказал, что не просто рад, но по-настоящему счастлив, что удалось наконец... ну, вы сами понимаете, дорогой наш Павел Юрьевич, насколько это важно и нужно.

— О да; это очень интересно, — отозвался майор Лутохин.

Сидящий по левую руку — о котором в справке уведомлялось, что он бывший ответственный комсомольский работник из Крыма — майор Лутохин не старался затвердить подробности; это было излишним, — закивал грубовато-красивою — как у старых баварских скульптур на мостиках через реку Изар, неподалеку от Englischengarten — головою и веско поддакнул:

— Нужно-нужно. А то нельзя так; надо, чтобы все мы вместе...

— Алёшка у нас решителен и, э-э-э, целеустремлён, — со смехом перебил товарища белокурый. — А тут, к тому же, и водночка действует. Но, дорогой Павел Юрьевич, — он нарочито произносил «Пал-Юр'ч», что следовало, конечно, понимать как насмешку над советчиной, — время не терпит: мы, не скрою, готовились к нашему разговору. От имени Руководящего Круга солидаристов мы имеем честь покорно просить вас стать членом нашего движения. Разумеется, без того, чтобы афишировать... Думаю, что наши и ваши госдеповские друзья и покровители не решатся возражать. Я не стану сейчас касаться того огромного практического смысла, который имело бы, хочу сказать — будет иметь ваше участие в общем для всех нас деле. Это, как говорится, особь-статья...

Красавец Алёшка громко захохотал, на что ему было сказано: «Алёша, па, возьми полтона ниже...» Это был, вероятно, намёк, аллюзия — на один из так называемых одесских анекдотов; Павел Юрьевич знал о них только по специальным учебным рефератам, где в приложениях, довольно часто обновляемых, давалось и немало образцов, но именно этого оборота он до сих пор не встретил.

— ...Я бы хотел сейчас, за этим столом, когда сердца у нас нараспашку, — продолжил солидарист, — сказать о том символическом, духовном значении, которое явит собой ваше вхождение в наш союз: вы, сын «линейца», который становится «нацмальчиком», — хотя какие там в наши годы мальчики! — есть поистине знамение полного уврачевания старой болезненной раны на теле русской эмиграции, знак долгожданного и окончательного единства, в те дни, когда, — ну, ведь вы сами всё лучше моего знаете, дорогой Павел Юрьевич! — что учёного учить, — когда красная удавка на горле народов многострадальной России и всего Востока Европы затягивается всё неумолимее и неумолимее...

— Наглеют, наглеют большевички! Наглеют, — добавил Алёшка. — А Запад бездействует.

Возможно, что выпитые коньяк и водка, в сочетании с пивом, вином и раздражением, причинённым вчерашней телеграммой, преодолели уровень самоконтроля, которым обладал майор Лутохин. К тому же его оскорбляли советизмы, которыми определённого пошиба люди уснащают русскую речь, видимо, полагая, что это может показаться смешным. Для служебных нужд Павел Юрьевич сам не так давно подготовил краткий словарь-гlossарий общеупотребительных для обитателей СССР неологизмов, включая аббревиатуры и сложносокращённые слова, вроде этого отвратительного «госдепа». Но хамское панибратство господина из НТС переходило все границы; а ведь он, как без труда распознавал Павел Юрьевич, превосходно владел настоящим русским языком; к чему же тогда были все эти издевательские искажения?

И наконец, он с детства не любил, когда малознакомые, а тем более — малоприятные люди ни с того ни с сего заговаривали с ним об отце, всуе трепали его святое имя, его прошлое, его рыцарскую, столь прекрасную в своём простодушии тайну — которую он передал сыну неповреждённой.

Отец — в последние годы по возрасту своему, или по врождённой пылкости чувств, мог запомнить какие-то даты. Но притом никаких настоящих неточностей и гаффов во всей системе взглядов, которых — даже до заключительных не то что дней, но часов и минут своей вот уже почти отжитой земной жизни — придерживался Российской Императорской Армии капитан Лутохин, не содержалось. Его память никогда и ни в чём ему не изменила. Запечатлённая в его словах правота, усвоенная сыном, только и могла называться неподдельным, умным и терпеливым русским патриотизмом, способным повести на самоотверженную тяжёлую борьбу за свободную Россию, за возрождение великой и доброй державы, бывшей средоточием цивилизованных наций, форпостом подлинной, старой Европы; да, мы чересчур долго держались за свои средневековые порядки, что и открыло дорогу коммунистической заразе и проч., и проч.

— Спасибо, милый Кирилл Августович, — начал майор Лутохин. — Я никогда не забуду ваших слов. Собственно, вы немного ошиблись, *папа* во «Внутренней Линии» не работал, но это мало что меняет.

Белокурый солидарист с особенным нежным сочувствием и пониманием тихо прикрыл глаза.

— Позвольте же мне, господа, ответить вам откровенностью на откровенность. И *папа* — в своё время, — и я, вот как я теперь, были бы безмерно счастливы, если бы сподобились послужить России: Русской Армии и русской контрразведке. Но по грехам нашим это не сбылось: погубило и обожаемое наше Отечество, и его Армия. На развалинах разведочных её частей воцарилось свирепое чудовище СМЕРШ — ЧКГБ. И судьба наша, моя и папина, сложилась так, что нам выпала честь послужить разведочному делу Соединённых Штатов — страны, ставшей нашей родиной, страны, которой мы безгранично преданы и которой безконечно благодарны. Поймите меня, господа. Став офицером армии Соединённых Штатов, я хочу спокойно и гордо носить свой мундир; хочу, не скрываясь, получать свой солдатский паёк, своё жалованье. Вы предлагаете мне присоединиться к высшему кругу НТС. Но это означает, что я должен буду превратиться в секретного агента — в сущности, той же американской разведки, где я сегодня служу открыто. Я, конечно, храню мои служебные секреты, я не должен ничего *афишировать* — но — я и не должен слишком скрывать факт моей военной службы, выдавать себя за кого-то другого, как мне

непременно придётся поступать, если я приму ваше любезное предложение. Останемся же каждый при своём и продолжим надеяться, что в конечном итоге мы все по мере сил помогаем нашему общему делу.

Из Мюнхена майор Лутохин, закончив все порученные ему дела, вылетел было к себе, в Спрингфилд, штат Виргиния. — По некоторой связи с отчасти возмущившей, отчасти развеселившей его застольною беседою с теми, кого он про себя назвал «партийными заговорщиками», — и которая исподволь все ещё в нем продолжалась, — Павел Юрьевич, оставляя свою гостиничную комнату в военном городке, с утра облачился в мундир, чем привлёк мимолётное улыбочивое внимание встреченных им за *table d'hôte* ом коллег.

Аэроплан, большой и современный, приземлили из-за непогоды в Балтиморе. Из комнаты ожидания Павел Юрьевич протелефонил жене, — и узнал от неё, что у отца его случился апоплексический удар. По словам жены, врачи полагали состояние восьмидесятипятилетнего Юрия Павловича серьёзным; была сделана контрастная рентгенограмма головы; надежды на выздоровление не подавали никакой; больной был в параличе; сознание его помрачилось.

Майор Лутохин тотчас же соединился по особому номеру с дежурной служащей секретариата своего Отдела и объявил ей о положении, в котором оказался. Устройство места на ином аэроплане, следующем из Балтиморы в аэропорт Элизабет, штат Нью-Джерси, не потребовало чрезмерных усилий — и в три пополудни того же дня Павел Юрьевич был уже в госпитале городка Рокхилл. Там, на особой кровати, приподнимающей, подобно лонг-шезу, верхнюю часть туловища больного, полулежал-полусидел его старый отец. Он был совершенно неподвижен; отросшие твёрдые седые усы его торчали, выступая по сторонам щёк: кровать была по каким-то соображениям повернута изголовьем к дверям, так что Павел Юрьевич увидел сперва безволосую отцовскую макушку — сиренево-бледную, но в тёмных, прежде ему незаметных, пятнышках и мелких бородавках. В палате чувствовался едкий запах урины, которая, как обнаружилось, сочилась по полупрозрачной гибкой трубке, выходящей из-под одеяла и введённой, сквозь крышку, в целлулоидную банку. Другая банка, но из стекла, висела, дном вверх, на никелированном шесте у самой кровати. От неё также отходила трубка, что вела к запястью правой руки умирающего. Неподалёку от шеста, на складном

стуле, сидела пожилая дама родом из Царства Польского, которая в последние годы вела хозяйство Юрия Павловича: Анна Васильевна, мать майора Лутохина, скончалась, когда Павел Юрьевич только начинал службу и был постоянно в разъездах. Дама читала какую-то маленькую пухлую книгу новой писательницы Норы Робертс, набранную столь ясным шрифтом, что при желании майор Лутохин, не приближаясь, мог бы постепенно узнать всё, о чём повествуется в этом сочинении; и он действительно со странным упорным вниманием прочёл несколько строк: о некоем Джонатане, который осторожно коснулся плеча Сидни, стоящей у открытого окна гостиной. Он мог бы и продолжить чтение, но дама закрыла книгу.

— Как ты себя чувствуешь, папа? — громко произнёс майор.

Ответом ему было только участвовавшее, перемежаемое краткими стонами сиплое дыхание.

Нельзя было даже с уверенностью сказать — слышал ли Юрий Павлович обращённый к нему вопрос? Понимал ли? Во всяком случае, глаза его были плотно, хотя и без напряжения, зажмурены, но так, будто бы его сомкнутые веки и прежде никогда не расходились.

Дама сокрушённо и печально улыбнулась, словно призывая огорчённого сына извинить больного за его вынужденную невежливость.

— Он... дремлет всё время; я боюсь, что...

— Папа, как ты? — ещё громче воскликнул Павел Юрьевич.

Ответом было то же прерывистое сипение. Ему сопутствовали и мелкие толчкообразные пульсации под натянутою кожей на шее.

— Проснуться хочет, — сказала дама.

Поговорить с врачом казалось необходимо. Павел Юрьевич повернулся к дверям, но его остановил голос отца:

— Павел!

Это был прежний, отцовский, русский военный голос; с его летящею басовою нотою, близкою к до диэз, — перенятою и поколениями берегаемой, ещё от Школы Конновожатых, от Школы Гвардейских Подпрапорщиков, где на каменном полу курилки простиралась глубокая черта, по преданию оставленная шпорою Мишеля Лермонтова, от Государя Николая I Павловича, — нотою звучной и отчётливой, будто бы негромкой, но на весь плац, на всё Марсово Поле. Этот голос, неуклонный и ласковый, пробуждал, во мгновение времени заставлял собраться воедино, вспомнить — всё ли пригнано по уставу, ибо за ним шла уже и самая команда.

Глаза капитана Лутохина были открыты и требовательно выкачены. Он был не совсем доволен.

— Павел!

— Да, папочка, — прерывисто и готовно отозвался майор, стараясь дать понять, что если он в чём и провинился, то по молодости заслуживает снисхождения.

— Что это на тебе за *тонный френч* такой? — насмешливо поинтересовался умирающий. — Что за это форма такая... странная? — И в слове «странная» у него появилось по меньшей мере до полудюжины «н».

— Это американская форма, папочка.

— Американская?! — почти гневно повторил за сыном капитан Лутохин. И тут же он добавил — несколько пренебрежительным, хотя и добродушным тоном:

— Так я и знал, что тебя, с твоим характером, ни в один приличный полк не возьмут. Здесь и моя вина. Надо было, конечно, мне со Скоропадским, Павликом, поговорить: он бы тебя, как тёзку, к себе в Кавалергардский устроил; но ты у меня ростом не вышел для кавалергарда. Вот я завтра с утра к нему подъеду... А тебе нужно будет на неделе съездить к Её Императорскому Высочеству... Они там все дельные, преданные люди; Фэллоуз — всегда молодцом; а этот Вольманн — этот, хромой, особенно хорош. Но они более-менее все — немец-перец-колбаса. Ты возле Неё — один! русский!! Один!

Благородный и целеустремлённый Фэллоуз был давно мёртв. Бравый танкист, забияка Вольманн — едва-едва передвигался. Но это ровным счётом ничего не меняло. Видно было, что капитан Лутохин ничего не забыл — и не изменил своему главному служебному послушанию. Сам же Павел Юрьевич, разумеется, ничего не афишировал, — но, помимо прочих своих обязанностей, уже сколько-то лет назад он получил приказ: перебрать старое поручение отца, работавшего с американцами от середины 20-х.

На отца и сына Лутохиных, — что потребовало особенных договорённостей, — возложили заботу о деле несчастной Великой Княжны Анастасии Николаевны.

Ещё прежде начала его — было сочтено неразумным допустить до судебного признания Её прав, и это решение оставалось практически неизменным спустя десятилетия. Ничему полезному такое признание послужить не могло, не говоря уж о постоянных политиче-

ских неудобствах. Зато оно представляло бы вероятную опасность для жизни самой Великой Княжны — особы весьма эксцентрической — и требовало бы специальных мер по её охране, предпринимать которые на протяжении долгих лет никто бы, понятно, не стал. Это превратилось бы в какое-то скандальное международное окарауливание.

Лиц, которые слишком рьяно — и успешно — способствовали бы во всех отношениях бессмысленному признанию за Анастасией права числиться уцелевшею дочерью Царя, следовало так или иначе сдерживать и, по необходимости, отбрасывать. Самою Великую Княжну постановили оберегать; в том числе — и от самой себя. То был в некотором роде сантимамент, — конечно, не без профессионального расчёта, но именно сантимамент — сегодня уже немыслимый. Но каких-либо иных постановлений — в отмену прежнего — никогда не принималось, — может быть, по довольно скорой и совершенной утрате злободневности самого дела.

...Внезапно что-то новое проступило во всём облике больного; вероятно, тот пронзительный, неожиданный и ужасный, подобный «петле» авиатора Нестерова, полёт, который только что совершила его душа — да ещё унося при этом в искажённые пространства времени не только самоё себя, но и приехавшего издалека единственного сына, которого ради такого случая, пожалуй, и не стоило столь придирчиво распекасть, ибо всё ещё могло повернуться к лучшему, — этот полёт окончательно обезсилил капитана Лутохина; глаза его не только вновь закрылись, но веки их стали тёмными, почти чёрными, — и пароксизм сипения, ещё более мучительного, чем несколькими минутами ранее, прервал на полуслове эту довольно долгую, ставшую прощальной, — беседу.

.....

Послесловие

«Сведения...» приходится отнести к разряду исторических повестей, а значит, это сочинение нуждается в кое-каких примечаниях. Уже в первой главке журнального варианта — таких главок сегодня всего пять, но книжный вариант «Сведений...» будет значительно обширней, — так или иначе упоминаются «действующие орудия на знаменитые происшествия» (формула гр. Завадовского) отечественной истории — и, в частности, — ЕИВ Великая Княжна Анастасия Николаевна. Что же до прочих персонажей, в т.ч. — главных героев, все они до единого, равно

как и фабула с сюжетом «Сведений...», — есть собственная моя выдумка. Поэтому все совпадения каких бы то ни было перипетий, коллизий, высказываний и проч., предложенных в этой повести (за исключением особо оговорённых исторически достоверных обстоятельств), с реальными событиями — есть случайность, не зависящая от воли автора.

В его теперешнем виде послесловие предназначено для журнального варианта повести. В нём я предлагаю кое-какие вспомогательные комментарии, относящиеся исключительно к делу Великой Княжны Анастасии. А судьба Её — в свою очередь связана с проблематикой расследования всего того, что произошло с Августейшей Семьей последнего Русского Царя, т.е. — с Государевым Делом. Я принадлежу к числу тех, кто вполне убеждён (твёрдо знает): дама, известная многим как «Анна Андерсон», «Анастасия Чайковская», «Анастасия Манахан» и тому под., — является младшей Дочерью Государя Императора Николая II Александровича и Государыни Императрицы Александры Федоровны, Её Императорским Высочеством Великой Княжной Анастасией Николаевной. Последняя и единственная бесспорная Наследница Престола Российских Государей умерла на 83-м году жизни в Martha Jefferson Hospital в университетском городке Шарлоттсвилль (Виргиния, САСШ). Покойный супруг ВК Анастасии Николаевны, проф. Джон Манахан, называл кончину её «узаконенным убийством». Как бы то ни было, в 2014 году исполняется 30 лет со дня этой смерти (февраль, 1984 год; совсем недавно).

Великая Княжна появилась на свет — судя по Государеву дневнику — около 4 часов утра 18 (5 по юлианскому календарю) июня 1901 года. Правду сказать, Царственная чета ожидала мальчика.

В феврале 1917 года последовали известные события. А в июле новыми государственными властями было принято решение о переводе арестованной Августейшей Семьи из Царского Села в Тобольск, что и произошло 1 августа. Путешествию в Тобольск предшествовала знаменательная беседа Александра Фёдоровича Керенского с отрёкшимся Государем. Ал. Фёд. убедительно просил Собеседника не рассматривать происходящее как «ловушку». Надобно поселиться на какое-то время в месте тихом, спокойном, удалённом от бурь переходного периода. Государь несколько раз повторил, что верит Керенскому.

— На какие из ваших вопросов Керенский упорно отказывался дать вразумительный ответ? — так в 1997 году начались мои нью-йоркские исторические диалоги

(предназначенные для телевидения) с ныне покойным кн. А. П. Щербатовым, давним приятелем последнего главы Временного Правительства.

— Он категорически не желал пускаться в объяснения, как и при каких обстоятельствах было решено отправить Государя в Тобольск. — Почему не в Крым?! — Мне *посоветовали* избрать Урал... Мне *говорили*, что путешествие в Крым очень опасно и прочее. — Но это ерунда: беспорядки и неразбериха на дорогах существовали только в самом начале и самом конце правления Временного Правительства. Я очень помню, как мы с родителями прекрасно проехали от Петербурга до Крыма (кн. А. П. Щербатов родился в 1910 г. — Ю. М.). Как только заходил разговор о Государе, Керенский постоянно повторял: «Я всегда был коректен, я всегда был коректен».

Ранним утром, ещё до рассвета, 13/26 апреля 1918 года уполномоченный новейших государственных властей — целеустремлённый молодой человек, известный под тремя фамилиями (Яковлев, Мячин, Стоянович) и откликающийся на имя-отчество «Василий Васильевич», увёз Государя из тихого Тобольска в неизвестном направлении. Его вызвались сопровождать Императрица и Великая Княжна Мария Николаевна с придворными и слугами.

Василий Васильевич был решителен, немногословен, но вежлив. Не уступал в корректности самому Александру Фёдоровичу. С огромным вниманием прислушивался к просьбам ЕИВ Марии Николаевны, по поводу чего смешливые сёстры её замечали: «Машке везёт на комиссаров».

Предполагалось, что Государя ждут в Москве.

Но в дороге всё переменялось. Государь и все прочие были доставлены в Екатеринбург, где их поместили в здании, известном в городе как «дом Поппель», по имени самой первой владелицы. Лишь в начале 1918 года дом этот был приобретён отставным инженер-капитаном Н. Н. Ипатьевым. А месяца через три, 27 апреля, к инженер-капитану обратился комиссар Жилинский и предложил ему очистить (не безвозмездно, а сдать внаём) всё помещение к 29 апреля. Так в нашей истории появился дом Ипатьева, ДОН — т.е. «дом особого назначения», а первоначально — «тюрьма № 2».

Как видим, к прибытию Узников готовились загодя. Но с точки зрения организатора «спецоперации» даже минимального уровня секретности, выбор для её проведения этого относительно роскошного здания (оборудованного по последнему слову тогдашней сантехники, с ванной, ватерклозетом, проточной горячей водой и — электрическим освещением), распо-

ложенного на одном из самых видных мест Екатеринбурга, с открытым для наблюдателей-соседей внутренним двориком, — есть нелепость. Здание, впрочем, позже огородили двойным забором, забелили окна, выставили пулемётные посты, но по тем временам, т. е. в отсутствие камер наблюдения, это означало лишь, что «жильцам дома Ипатьева» (так Семья и её окружение именовались в официальных документах) было бы затруднительно его покинуть. Ведь и до принятия всех этих оборонительных мер к зданию нельзя было подъехать (и отъехать от него), не привлекая к себе внимания. В этой связи упомянем, что среди прочих бумаг, обнаруженных судьёй-криминалистом И. А. Сергеевым — на чью долю выпала основная тяжесть расследования Государева Дела, — имеется и запрос начальства: выяснить, кто обитает в соседних зданиях, находящихся возле ДОНа? Действительно, сосед соседу рознь. И если местом заключения для персон, которых планируют **тайно** умертвить (или **тайно** увезти?), избирается дом, расположенный почти рядом с консульствами Франции и Великобритании, то поневоле приходится задуматься. Но — и это весьма любопытно — г.г. консульские, в согласии с их позднейшими утверждениями, абсолютно ничего и никогда не видели и не слышали. При этом великобританский вице-консул сэр Томас Престон всегда твёрдо знал, что «там, в ДОНе, никто не уцелел».

На этот счёт Престон дал под присягой свидетельские показания, предназначенные для судебных процессов 1964—1967 годов, в ходе которых адвокатам Великой Княжны в очередной раз не удалось убедить судей, что «Анна Андерсон» и Великая Княжна Анастасия Николаевна Романова — одно и то же лицо.

Итак, родителей и самую любимую сестру увезли будто бы в Москву, но объявились они в Екатеринбурге.

24 апреля/7 мая 1918 года Великая Княжна Анастасия пишет Марии Николаевне из Тобольска, где она оставалась с сёстрами и братом, неведомо какое по счёту письмо; по смыслу — ответное.

Воистину Воскрес!

Моя хорошая Машка душка. Ужас как мы были рады получить вести, делились впечатлениями! Извиняюсь, что пишу криво на бумаге, но это просто от глупости. /.../ Видишь, конечно, как всегда слухов количество огромное, ну и понимаешь трудно и не знаешь кому верить и бывает противно. Т. к. половину вздор. А другого нет, ну, и поэтому думаем верить. /.../ Мысленно всё время с вами, дорогими. Ужасно грустно и пусто, прямо не знаю, что такое.

Ужасно хорошо устроили иконостас к Пасхе, всё в ёлке, как и полагается здесь, и цветы. Снимались мы, надеюсь выйдет. Я продолжаю рисовать, говорят — не дурно, очень приятно. Качались на качелях, вот когда я падала, такое было замечательное падение!., да уж! Я столько раз вчера рассказывала сёстрам, что им уже надоело, но я могу ещё массу раз рассказывать, хотя уже некому. Вообще мне вагон вещей рассказать Вам и тебе. /.../ Вот была погода! Прямо кричать можно было от приятности. Я больше всех загорела, как не странно, прямо акробатка!? А эти дни скучные и не красивые, холодно, и мы сегодня утром помёрзли, хотя домой конечно не шли... Очень извиняюсь, забыла Вас Всех моих любимых поздравить с праздниками, целую не три, а массу раз Всех. Все тебя душка очень благодарят за письмо.

/.../ конечно извиняюсь, что такое нескладное письмо, понимаешь, мысли несутся, а я могу всё написать и кидаюсь на что в башку влезет. Скоро пойдём гулять, лето ещё не настало и ничего не распустилось, очень что-то копаются.

Так хочется Вас увидеть, (знаешь) грустно! Ухожу гулять, ну вот и вернулась. Скучно, и ходить не выходит. Качались. Солнце вышло, но холодно и рука едва пишет.

Милые и дорогие, как Вас жалею. Верим, что Господь поможет, — своим —!!!... Не умею и не могу сказать, что хочу, но Вы поймёте надеюсь.

Как тут приятно, всё время благословят почти во всех цер/к/вах, очень уютно получается.

/.../ Только что пили чай. Алекс, с нами и мы столько сожрали Пасхи, что собираюсь лопнуть.

Когда мы поём меж/д/у собой, то плохо выходит т. к. нужно четвёртый голос, а тебя нет и по этому поводу мы острым ужасно. Ужасно слабже, но есть и смешные анекдоты. Русса [*одна из особ женского пола, проживавшая в тобольской ссылке вместе с Августейшей Семьёй*], она хотя и мила, но странна и злит т. к. не понимает и просто не сносно. Я раз чуть не нагрубила, кретинка. Ну, я кажется достаточно глупостей написала. Сейчас ещё буду писать, а потом почитаю, приятно, что есть свободное время. Пока досвиданья. Всех благ желаю Вам, счастья и всего хорошего, постоянно молюсь за Вас и думаем, помощи Господи. Христос с Вами золотыми. Обнимаю очень крепко всех... и целую... /бывш. ЦГАОР, ныне ГАРФ, ф. 695, оп. 1, д. 40, л. 36/.

Привожу по отсутствующей в сетевом обиходе книге Игоря Непейна «Перед расстрелом. Последние письма Царской Семьи». Омск, 1992. Составитель произвольно перевёл написанное Великой Княжной на новую орфографию. Если б не это, ошибок противу правописания оказалось бы ещё больше. Анастасия Николаевна была, как характеризовали её учителя, «с ленцой». Классная дама Царскосельской гимназии Клавдия Михайловна Битнер,

ставшая преподавательницей Великих Княжон уже в Тобольске, — вероятно, не без участия её жениха, полк. Е. С. Кобылинского, первого, назначенного ещё Керенским, начальника охраны Царственных арестантов, — выражалась даже резче: «Анастасия Николаевна... была какой-то неотёсанной и грубоватой. Была совсем не серьёзна. Не любила заниматься и готовить уроки». Сидней же Иванович Гиббс, великобританский подданный, преподаватель английского, а впоследствии — архимандрит Николай, рассказывал: «Если бы Она выросла и похудела, Она была бы самая красивая. Она была очень тонкая, удивительно остроумная, весьма сдержанная. Она была настоящий комик. Всех Она смешила. Сама никогда не смеётся. Только глаза блестят. Болезнь [*корь с осложнениями, перенесённая в Царском Селе в феврале — марте 1917-го*] на Ней нехорошо отразилась. Она как бы остановилась в развитии, и её способности несколько потускнели. Она играла на пианино и рисовала. Но Она находилась в периоде обучения».

И период обучения Ей завершить не пришлось.

При недостаточно выясненных обстоятельствах Августейшая Семья исчезла из Дома Особого Назначения в промежуток между 16 и 22 июля 1918 года. Когда войска Чехословацкого корпуса, вынужденные пробивать себе дорогу через всю Россию до Владивостока, взяли Екатеринбург, ДОН стоял уже пуст и заперт. Ключи от него были переданы родственнице домовладельца ещё накануне. Победители азартно искололи двери штыками и сорвали их с петель. Множество военных и статских, из числа местных жителей, разбрелись по комнатам, собирая на память «трофеи» и «сувениры» и расписываясь на обоях. Когда именно военные власти прекратили эту туристическую вакханалию и выставили охрану, чтобы сберечь для нужд следствия несомненное место несомненного — в чём бы оно ни состояло — преступления, сказать трудно. Иногда говорят, что «к вечеру», но чаще молчат.

Состояние Государева Дела приходится определить как плачевное. Мы подразумеваем, прежде всего, результаты предварительного следствия 1918—1919 годов. Всё происходившее за последние полтора — два десятилетия явилось не следствием, а широко организованной PR-кампанией, долженствующей поддержать определённую версию. Следует понимать, что Государево Дело не сводится к признанию или непризнанию подлинности «екатеринбургских останков». Нас пытаются загнать в эти

искусственно очерченные пределы, тогда как обязанностью следствия (и суда) является постановка несколько иных вопросов: а) каким образом официальные защитники подлинности берутся доказать, что костные фрагменты, которые нам показывают на экранах, — есть именно те самые, которые были представлены на экспертизу? — и/или б) откуда нам известно, что останки эти действительно найдены там, где нам говорят? Как и чем будет доказано, будто они — именно «екатеринбургские», из Поросёнка Лоба, и не подброшены туда из иного места?

Подобные доказательства, необходимые для судопроизводства, отсутствуют. Ведь и сами раскопки на всех этапах, равно и последующее изъятие образцов для анализа — всё это производилось не как следственное действие и не как судебная процедура, у которых есть свои строгие правила, а при обстоятельствах вполне безконтрольных, чтобы не сказать — неясных и даже сомнительных.

При этом останки, или некая их часть, — в сущности, **могут** принадлежать Императору и тем или иным членам Его Семьи. Они погибли, но как? где? когда?

В 1918—1919 годах вели допросы, совершали следственные действия и составляли протоколы — сотрудники, условно говоря, «силовых структур», получившие специальную подготовку, — т. е. господа, которым, скорее всего, уже приходилось заниматься подобной работой. Поэтому они обязаны были понимать: если, к примеру, свидетель/обвиняемый Х показывает, что в известной комнате, где произошло предполагаемое убийство, он не обнаружил никаких кровавых пятен на стене, а пол показался ему чист, а свидетель/обвиняемый Y утверждает, что пол и стены были буквально залиты густой кровью, которую пришлось замывать, затирая песком и мелом и сметать мётлами в подпол, то их показания нельзя просто «суммировать», но нельзя и отвергать одно из этих показаний по идейным соображениям. А именно таким отвержением и занималось следствие. Беда в том, что Государевым Делом руководили интеллигентные люди с убеждениями, амбициями и политическими планами. А уж хуже этого в области сыска и вообразить невозможно. Кстати, подпол внимательно осматривался И. А. Сергеевым: в нём обнаружилась полная чистота и даже некоторая затхлость покрытия. Стало быть, кровавое месиво туда не сметали — сметали не туда.

Государево Дело в Екатеринбурге поручалось основной четвёрке специалистов: су-

дебному следователю по важнейшим делам А. П. Намёткину, члену Окружного суда судье-следователю И. А. Сергееву; начальнику уголовного розыска в Екатеринбурге, а затем помощнику начальника пермского отделения Военного контроля (армейской контрразведки/военно-уголовного розыска) А. Ф. Кирсте; и наконец, новоиспечённому омскому следователю по особо важным делам Н. А. Соколову. Последний наиболее известен, но львиная доля работы была проделана Сергеевым и Кирстой. Нетрудно заметить, что только Александр Фёдорович Кирста и был здесь единственным сыскарем с земли, цепко с ней связанным как явной, так и тайной агентурой. Его отличали: недостаточная интеллигентность, отсутствие чётких политических убеждений и профессиональное недоверие к человеку как таковому, вне зависимости от национальной, сословной и партийной принадлежности. Он привык ловить преступников, и у него это недурно получалось. Подобные качества оказались нестерпимыми. Сперва А. Ф. Кирсту арестовали, потом уволили, потом удалили из Екатеринбурга. Он перебрался в Пермь, где и устроился при Военном контроле. Предварительное расследование Государева Дела было им завершено к началу апреля 1919 года. Полученные результаты ни в чём не сходились с теми, на которых настаивали адм. А. В. Колчак и ген. М. К. Дитерихс, поэтому во внимание приняты не были.

Следствие Кирсты имеет прямое касательство к Делу Великой Княжны.

ПРОТОКОЛ

1919 года, февраля 10 дня, помощник начальника Военного контроля Штаба 1-го Средне-Сибирского корпуса надворный советник Кирста производил допрос доктора Павла Ивановича Уткина, жительствоющего в городе Перми на углу Покровской и Осинской, дом 25/71, по делу Императорской фамилии, в качестве свидетеля, который показал:

В последних числах сентября 1918 года, проживая в доме Крестьянского поземельного банка на углу Петропавловской и Обвинской улиц, каковой дом в это же время был занят Чрезвычайной комиссией по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем, я, врач Уткин, был срочно вызван в вечернее время, между 5—6 часами, для оказания медицинской помощи.

Войдя в помещение, занятое больной, я увидел следующее: на диване лежала в полусознании молодая особа, хорошо упитанная, тёмная шатенка, с стриженными волосами. Подле неё находилось несколько мужчин, среди коих были Воробцов, Малков, Трофимов, Лобов и ряд других лиц, фамилии коих мне неизвестны. Среди всех мужчин была одна женщина, на вид 22—24 лет, умеренного питания, блондинка [*вскоре выяснилось, что*

это некая Юрганова-Баранова Ираида Степановна, дама свободолюбивых умонастроений — сотрудница, м. б. внештатная, местной ЧК].

Вследствие моей просьбы все мужчины удалились. Женщина же, бывшая подле больной, осталась, мотивируя тем, что её присутствие мешать мне, врачу, не может. Я, врач Уткин, ясно предугадал, что женщина являлась в роли шпика.

На вопрос, поставленный мною больной: «Кто Вы такая?», больная, дрожащим голосом и волнуясь, тихо сказала: «Я дочь Государя Анастасия». После сказанных слов больная потеряла сознание.

При осмотре больной пришлось обнаружить следующее: имелась больших размеров кровяная опухоль в области правого глаза и разрез в несколько сантиметров (1½ — 2 сант.) в области угла правой губы. Изменений каких-либо на голове, груди обнаружить не удалось. В моём желании осмотра половой сферы мне было отказано. Затем я наложил больной хирургическую повязку и прописал ей внутреннее лекарство [*рецепты были обнаружены и приобщены к Государеву Делу*], после чего меня попросили удалиться из помещения.

В тот же вечер, около 10 часов, я, лично по своей инициативе, пришёл к больной. Последняя была как бы в бреду, произносила отдельные слова и фразы. После этого посещения больше меня к больной не допускали. После того, когда я наложил больной повязку, последняя, взглянув на меня добрым взглядом, сказала: «Доктор, я Вам очень, очень благодарна».

Доктор П. И. Уткин.

Пом. нач. Воен. конт. Кирста.

23 марта [1919 г.] Гражданин Пермской губернии, Оханского уезда, Шлыковской волости, деревни Субботиной Максим Кузьмич Григорьев, стрелочник разъезда № 37 Пермской железной дороги, где и живу, 35 лет.

Под осень, когда было уже холодновато, месяца не упомню, часов, кажется, около 12 часов дня, я находился на разъезде № 37, когда мне сказал кто-то, что красноармейцы поймали в лесу около разъезда Царскую дочь. Её посадили в сторожку при разъезде. Я побежал посмотреть.

В сторожке возле печки сидела на стуле девушка лет 18—19 на вид, не плакала, но видно было, что в кручине. Надета на ней была юбка, цвета не упомню, и беленькая кофточка, на груди — красные пятна крови, на голове платка не было. Волосы были подстрижены, тёмного цвета. На лице была кровь, над бровями синяки, около губ рассечено было. Смотрела она исподлобья, хмурая, но ничего не говорила. Я заметил, что нос у неё с горбинкой [*вздутие от удара?*].

На предъявленных мне фотографических карточках я признаю вот эту девушку, которая очень походит на виденную мною тогда в сторожке арестованную (свидетелю были предъявлены фотографические карточки

Царской семьи, открытое письмо и журнал «Нива» 1913 года № 35, стр. 685 и 1915 года № 33, стр. 621, причём свидетель на всех карточках указал на великую княжну Анастасию).

В сторожке я пробыл недолго, так как красноармейцы меня прогнали. При мне они говорили девушке: «Одевайся». Держали её в сторожке с час времени и, надев на неё шинель и башлык, увели по полотну железной дороги по направлению к Камскому мосту. /.../

После увода девушки из города пришло много красноармейцев, запретили нам ходить в лес, даже по коров, а сами ходили по лесу, что-то искали.

При мне имени девушки не называли.

Прочитано.

Григорьев.

Пом. нач. Воен. контр. Кирста.

Присутствовал товарищ прокурора

Д. Тихомиров.

24 марта [1919 г.] Гражданка Вятской губернии, Орловского уезда, Чудиновской волости, Татьяна Лазаревна Ситникова, жительствоющая: разъезд № 37 Пермской дороги, объяснила:

Осенью, было это, кажется, в воскресенье, в лесу у разъезда № 37 была задержана молодая женщина и заведена красноармейцами в сторожку у разъезда. Я, услышав об этом, пыталась войти в сторожку и поглядеть на задержанную, но красноармейцы в середину не пускали. Всё же я успела взглянуть и увидела в углу у печки барышню, волосы которой были тёмные, на носу горбинка, на лице у глаза большой синяк, на белой кофточке у груди кровь. Сидела та барышня грустная и пуливно глядела на глазевших на неё. Бывшие возле арестованной барышни красноармейцы смеялись, очевидно, подтрунивая над той барышней. Я ей предложила шаньгу, но она отказалась, сказав, что есть не может. Барышню ту одели в шинель, одели башлык и увели в Пермь, причём когда арестованная женщина сидела в сторожке, то, как я слышала, назвалась дочерью Государя Николая II.

Вскоре после того как увели задержанную дочь б. Государя, из города пришла рота красноармейцев, а до того по лесу и вокруг его всё время была красноармейская разведка, и в лес крестьян не пускали.

Одета задержанная была в тёмную юбку, белую кофточку, на ногах были туфли. Когда я ей предложила шаньгу, задержанная спросила: «Что мне будет?»

Татьяне Ситниковой были предъявлены снимки семьи б. Государя Николая II, помещенные в «Ниве» за 1915 год № 33 и 1913 года за № 35, в котором Ситникова указала на великую княжну Анастасию.

/.../

Татьяна Ситникова неграмотная,

а за неё расписался Григорьев.

Пом. нач. Воен. контр. Кирста.

Присутствовал товарищ

прокурора Д. Тихомиров.

2 апреля [1919 г.] Наталья Васильевна Мутных [*сестра прапорщика Владимира Мутных, секретаря Уральского областного совета*], /.../ объяснила:

Семья б. Государя была привезена в Пермь в сентябре месяце и помещена сначала в доме Акцизного управления под менее строгим надзором, а затем Государыню с дочерьми перевели в подвал дома, где номера Березина, и там держали под строгим караулом, который несли исключительно областники. Все это я слышала от своего брата Владимира.

Когда я с Аней Костиной, которая была секретарём Зиновьева [*присутствие А. Костиной в эти дни в Перми подтверждается найденной и приобщённой к Государеву Делу телеграммой: «уральцы» настоятельно просят Г. Е. Зиновьева о дозволении продлить особую командировку его доверенной секретарши*],

зашли в подвал номеров Березина, во время дежурства моего брата, часа в 4—5 дня, то в подвале было темно, на окне горел огарок свечи. На полу были помещены 4 тюфяка, на которых лежали б. Государыня и три дочери [*первоначально Н. В. Мутных упоминала о четырёх дочерях, а впоследствии — созналась, что не помнит их числа в точности; из контекста протоколов следует, что видеть она могла именно трёх*]. Две из них были стриженные и в платочках. Одна из княжон сидела на своем тюфяке. Я видела, как она с презрением посмотрела на моего брата. На тюфяках вместо подушек лежали солдатские шинели, а у Государыни, сверх шинели, маленькая думка. Караул помещался в той же самой комнате, где и арестованные.

Я слышала от брата, что караул был усилен и вообще введены строгости по содержанию заключённых после того, как одна из великих княжон бежала из Акцизного управления или из подвала. Бежавшей была Татьяна или Анастасия — точно сказать не могу.

В то время, когда из Перми стали эвакуироваться большие учреждения, недели за три до взятия Перми Сибирскими войсками, семья Государя была привезена на Пермь II, а оттуда на Глазов. Всех их поместили в деревне, вблизи красноармейских казарм, не доезжая вёрст 15—20 до Глазова, причём их сопровождали и охраняли Александр Сивков, Малышев Рафаил [*имя подтверждено показаниями супруги и матери Малышева*] и Толмачёв Георгий и боевики. Из деревни под Глазовом повезли их по направлению к Казани и сопровождали указанные три лица. На вокзале же в Перми, от женского монастыря к Глазову, сопровождали их Рафаил Малышев, Степан Макаров и областники.

По словам брата Владимира, тела Государя и наследника сожжены.

Бежавшая княжна была поймана за Камой, избита сильно красноармейцами и привезена в чрезвычайку,

где лежала на кушетке за ширмой в кабинете Малкова. У постели её охраняла Ираида Юрганова-Баранова. Потом княжну отвезли в исправительное отделение за заставой. Умерла ли она от ран или её домучили — не знаю, но мне известно, что эту княжну похоронили в 1 час ночи недалеко от того места, где находятся бега-ипподром, причем большевики всё это хранили в большой тайне. **О похоронах я знаю по слухам.**

Наталья Мутных.

Пом. нач. Воен. Контр. Кирста

Присутствовал товарищ прокурора Д. Тихомиров

Ещё в декабре 1918 года, когда судья И. А. Сергеев подводил итоги своей полугодовой работы над Государевым Делом, к нему в Екатеринбург из Нью-Йорка добрался один из самых настырных и многообещающих газетчиков Нового Света: Герман Бернштейн, корреспондент знаменитой тогда New York Tribune.

— «[Сергеев] взял со стола большую голубую папку с надписью “Дело [бывш. Государя] Николая Романова” и произнёс: “Здесь у меня собраны все наличные материалы по романовскому делу” /.../ [На основании проведенного мной расследования должен сказать, что] я не верю, будто все люди /.../ Царь, его Семья, те, кто были с ним, были здесь [т. е. в доме Ипатьева] расстреляны. По моему убеждению, Императрица, Царевич и Великие Княжны не были убиты в этом доме. Однако, я считаю, что Царь, семейный врач профессор [генерал Боткин профессор не был] Боткин, двое слуг, горничная Демидова были расстреляны в Ипатьевском доме”».

Полный вариант статьи Бернштейна появился только в New York Times Book Review and Magazine от 5 сентября 1920 года. Но ещё 17 февраля, в 9 часов вечера, неизвестная молодая дама бросилась в Ландверский канал в Берлине «с целью покончить с жизнью», — как выразился на другой день бюллетень берлинской полиции, — но была спасена.

В 1938 году началось первое судебное дело о признании Неизвестной — Великой Княжной Анастасией Николаевной, младшей дочерью Царя-Мученика. Оно продолжалось с перерывами тридцать два года. Ровно через полвека после происшествия в ночном Берлине, 17 февраля 1970 года, последняя апелляция по этому делу была отклонена. Суд даже отказался принять во внимание мнение собственных, судебных же, экспертов. Впрочем, решение Апелляционного суда, заседавшего в Карлсруэ (Германия), с точки зрения юридической относится к категории «non liquet»: неудовлетворительное для обеих сторон. Героине не удалось подтвердить свою идентичность в качестве Великой Княжны Ана-

стасии Николаевны, а её противники не смогли доказать обратное: т. е. что Великая Княжна погибла вместе с прочими членами Царской Семьи в комнате нижнего этажа Дома Особого Назначения в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Зачитывая вердикт, судья Пагендарм (Pagendarm) именовал истцу — Анастасией. Было признано, что она в любой момент может принять имя «Анастасии Николаевны Романовой», равно и начать новый процесс против кого-либо из своих оппонентов. Позже судья Пагендарм частным образом обсудил решение с последним адвокатом Великой Княжны, бароном фон Стакельбергом. Судья высказался в том смысле, что Верховный Суд с лёгкостью мог вынести решение в пользу его клиентки, «но к чему хорошему это привело бы?!». Разве согласилась бы истица, будучи уже в преклонном возрасте, начать все сначала? Разве её противники остановились бы на этом?

Сама Истица никогда не принимала даже самомалейшего участия в судебных процедурах и в подготовке к таковым. В этом смысле Её поведение было откровенно саморазрушительным, чтобы не сказать — самоубийственным. Её с трудом всякий раз надо было вынуждать к дарованию подписи под поручениям адвокатам заняться Её делом. Труды и даже расходы адвокатов за редкими исключениями не оплачивались вовсе. Да они и не надеялись на гонорары. Напротив, они закладывали собственное имущество, чтобы иметь возможность продолжить своё служение. Как видим, у Великой Княжны нашлось немало самоотверженных подданных, готовых отдать за неё жизнь; их было не менее полутора дюжин. Поэтому я не во всём согласен с Татьяной Евгеньевной Боткиной, дочерью лейб-медика, генерала Евгения Сергеевича Боткина: в преамбуле своей книги о Великой Княжне она замечает, что судьба её Подруги — это некий символ абсурда и жестокости, свойственной XX столетию. Это верно лишь отчасти. В ужасной судьбе Её Императорского Высочества было достаточно проявлений, казалось бы, нелепой, преодолевающей всё и вся, духовной высоты, исходящей «не от человека и не по человеку».

Мои расспросы, с которыми я ещё в 1995—1999 годах всячески подступал к полудюжине осведомлённых персон, принадлежавших к первой русской эмиграции, или к их детям, ни к чему не привели. Мне довелось убедиться, что никто из моих собеседников не рассматривал классическую версию цареубийства как совершенно достоверную. А разговоры о «екатеринбургских останках» у одних вызывали скептицизм, у других — раздражение. Но всё за-

канчивалось репликами вроде: «Теперь об этом говорить нечего», «Пора перевернуть страницу» и тому подобными.

Они не хотели знать и помнить то, что знали и помнили.

Почти все, кто удостаивал меня своей беседой и своим умолчанием, сегодня мертвы. Несколько откровенней оказался лишь один из них: «Мои родители встречались во Франции со следователем Соколовым. Кажется, перед тем как он побывал в Америке у Форда (т. е. в 1924 году, незадолго до смерти омского следователя. — Ю. М.). И вдруг он в ходе разговора как-то разгорячился и стал рассказывать совсем не то, что мы знали из книг... Мама говорит: “Но как же это, Николай Алексеевич! ведь Вы всё это иначе утверждали...” А он на неё посмотрел, знаете, и отвечает: “Тогда мы были должны так говорить”...»

Приведём ещё нечто из книги воспоминаний майора Лази (Commandant Lasies) «Сибирская трагедия» (Париж, 1920). В интересующий нас период времени Жозеф Лази был представителем парламента при французской военной миссии в Сибири. 18 мая 1919 года на екатеринбургском железнодорожном вокзале между ним и журналистом Робертом Вильтоном, первым автором книги о Государевом Деле, будто бы произошла ожесточённая перепалка. Британец, доведённый до белого каления своим экспансивным собеседником, который упорно сомневался в правдоподобии и убедительности доказательств в пользу одновременной гибели всей Царской Семьи, воскликнул: «Commandant Lasies, даже если царь и императорская фамилия живы, необходимо говорить, что они мертвы!»

Через десятилетие было опубликовано необычайное по своей наивности высказывание одного из немногих монархических деятелей, перебравшихся в Нью-Йорк: «Мы не отрицаем, что она — Великая Княжна Анастасия. Мы просто говорим, что эта женщина не может быть ею. [Ведь] она бесспорно была убита вместе с прочими членами её семьи» (Herald Tribune от 11 февраля 1928 г. Заявление было сделано «на условиях анонимности», но, по добытым мною данным, эти слова, возможно, принадлежали Борису Львовичу Бразолу — видному русско-американскому юристу).

Почти в тех же словах высказал своё негодование видный российский дипломат Пётр Сергеевич Боткин — брат убитого Государева доктора — в споре со своей племянницей Татьяной. В очередной раз услышав от неё, что никаких сомнений относительно личности «неизвестной больной» у Татьяны Евгеньевны — нет и эта «не-

известная» — Великая Княжна Анастасия, дипломат воскликнул: «Даже если она и вправду Анастасия, всё это дело должно быть отклонено в интересах Русской Монархии» (Свидетельские заметки Т. Е. Боткиной-Мельник. Апрель, 1961 год, судебные материалы по иску ЕИВ ВК Анастасии Николаевны Романовой, Гамбург).

В 2007 году состоялось моё знакомство с замечательным православным публицистом — москвичом Андреем Рюминым. И вскоре выяснилось, что наши воззрения на истинную природу событий лета 1918 года в Екатеринбурге, при совершенной разности жизненного и профессионального опыта, совпадают до мелочей. Мы принялись за подробный обзор всего того документального, что увидело свет по интересующему нас вопросу. По мере появления очередной главки нашего обзора мы публиковали её в ЖЖ Андрея Львовича от имени безымянной «редакции» под рабочим названием «Царское Дело». Всё опубликованное вызвало довольно оживлённые споры в сети. Мы уж было готовились к обнародованию заключительной части. Но поскольку материалы и замечания наши стали объектом интенсивного разворовывания, мы сочли за лучшее погодить. Позже (2010 и 2011 гг.) я поместил две статьи о Государевом Деле в «Частном Корреспонденте».

Процесс разворовывания чуть приутих, но, видно, мы разворошили какое-то осиное гнездо, т.к. мародёры не унимаются. Наблюдать за ними бывает забавно.

Но предварительные выводы, к которым мы пришли, далеко не столь забавны.

Слова Роберта Вильтона: «Даже если он жив, он должен быть мёртв» — есть своего рода рабочий принцип, согласно с которым велось и ведётся до сих пор Государево Дело, частью которого является Дело Великой Княжны.

Нам поневоле приходится допустить существование некоей, документально не оформленной, общности конечного подхода к судьбе Царской Семьи. Эта общность интересов объединила комиссара Ш. И. Голощёкина — и адмирала А. В. Колчака, Я. М. Свердлова — и Его Королевское Величество Георга V, генерала М. К. Дитерихса — и П. Л. Войкова, В. К. Кириллы Владимировича — и Я. Х. Юровского. Эта же общность роднит современное pseudo-следствие — и сторонников романтических версий, будь то ритуальное сожжение тел Августейших Особ, с последующими плясками на костях, либо успешная доставка Их, живых и невредимых, в Варшаву или на Кавказ.

У всех были — и, как видно, остаются — свои резоны — не допустить никакого иного исхода и

никакого иного истолкования великой исторической трагедии. Потому-то они и действовали и действуют практически «скопом», заодно. Возможно, даже не сознавая этого полностью. Что, впрочем, второстепенно.

Желающие документальных подробностей благоволят обратиться к труду биографа Великой Княжны Питера Курта (Peter Kurth, Anastasia) — но непременно в английском оригинале (позднейшее издание 1985 года, Fontana/Collins), т.к. российское переводное издание не вполне удачно. А для начала полезно познакомиться с изящным эссе Т. Н. Толстой (1998); кажется, она первой из пишущих по-русски авторов прочитала книгу П. Курта и непротиворечиво и компактно поведала о ней.

Я также не могу обойти молчанием поистине самоотверженные старания екатеринбургско-

го автора — радиоинженера Владимира Момота, который на протяжении восьми лет без малого занимается Делом Великой Княжны. Ему удалось обнаружить немало любопытного, — но, к сожалению, он является непоколебимым приверженцем классической «соколовской» версии событий в Ипатьевском доме, согласно которой вся Семья погибла именно там — одновременно. А истекающая кровью младшая Великая Княжна — уверяют нас — была в суматохе вынесена во двор, спрятана в квартире некоего портного, а затем главный спаситель её — красноармеец Антон (Александр) Чайковский (Гайковский) вывез её в Румынию. Это — тупик, в который загнали себя многие преданные сторонники Великой Княжны.

Теперь читать мою повесть будет, надеюсь, легче.

Юрий Георгиевич Милославский — прозаик, поэт, историк литературы. Родился в Харькове. Учился в Харьковском и Мичиганском (Энн-Арбор, США) университетах, где в 1994 г. защитил докторскую диссертацию «Лексико-стилистические и культурные характеристики частной переписки А. С. Пушкина».

В эмиграции — с 1973 г. Живёт в Нью-Йорке.

В 80-е годы постоянный автор журнала «Континент». Почётный член Айовского Университета (США) по ряду изящной словесности (1989), Член American PEN Center. Автор романа «Укреплённые города» (в России — первоначально в журн. «Дружба Народов», кн. 2, 1992), повести «Лифт» (1993), нескольких циклов рассказов, получивших известность сперва в эмиграции («От шума всадников и стрелков», ARDIS, 1984), а с начала 90-х годов — в России («Скажите, девушки, подружке вашей», ТЕРРА, 1993). Книги рассказов были также опубликованы во французском (1990) и английском переводах (1994, 1997, с предисловием И. А. Бродского). Во второй половине 90-х годов Ю. Г. Милославский — продюсер и ведущий православной русской телевизионной программы для США и Канады (обозрения «Русский Телевизионный Лицей» и «Русские Американцы»).

В 2000-е годы в России опубликованы его книги-исследования о чудотворном мироточивом образе Божией Матери Иверской-Монреальской («Знамение последних времён», 2000) и о православной ветви рыцарского ордена иоаннитов-госпитальеров («Странноприимцы», 2001); воспоминания о И. А. Бродском (2007, 2010); сборник произведений «Возлюбленная Тень» (2011).



Ната Сучкова

Ломаный цветок

* * *

Лёд на реке потресканный — с перцем и солью смалец.
Ешь, говорю, да трескай ты, может, и не растаешь!
Это вчера мы трезвые здесь с мужиками шли,
лёд на куски нарезали, мелкие, вдоль лыжни.

Выпито море, вылито — горькой, солёной, пресной,
то, что на снег я выплюнул, на языке у трезвых.
Память мою завистливую с синим клеймом из дурки
выстираешь, а? — Выстираю. — Добрая ты, снегурка!

Что у тебя под клипсами — снег, завитушки, пряди?
Ты разбуди, как высохнет, по голове погладив.
Вспомню ли после, где она — лодочка с плеском, вёсла?
Ты ли растаешь первая, я ли быстрей замёрзну?

* * *

Всем незамужним предпочитая стельных,
здрасьте, свободная касса, добавить вам биф а-ля рус?
плох тот телёнок, который не смотрит телик
и не мечтает пастись за чикаго буллс.

Высшая лига, братец, вот ты в неё и зачислен —
новое божество, центральной у таких же божеств,
избранными нас делает метод случайных чисел,
лишняя хромосома, с небес указующий перст.

Все остальные — на бойню, бывайте, парни!
Кинуть вам в небо кабельное? Думаю, что — легко.
Всё потому, что мамка моя любила иван-да-марью
и у неё было горькое чёрное молоко.

* * *

Звезда, что горит, что мигает,
На четверть накала, в полсилы,
Как будто небесный фонарик
С мосточков на дно опустили,
Дрожит на ресницах слезами,
Погаснув, и снова — слепя,
Счастливая, злая, кто знает?
Но выбрала, видишь, меня.
Звезда наказания, сомненья?
Надежды, спасенья? Не знаю.
Но кажется, небо и землю
Во мне поменяли местами.

* * *

Даже не волей — порывом отчаянья
Вспомнить то время: меня ещё нет,
Папа заходит и ставит чайник,
Мама заходит и выключает
Чайник и гасит свет.

Вот они в сумерках непроглядных,
Боже, ещё их мгновенье не тронь!
Мама его по щеке погладит.
(Время — короткое, как халатик.)
Папа её поцелует в ладонь.

Что с этим делать, увы, непонятно:
Крикнуть, прижаться, бежать со всех ног?
Я получился такой невнятный,
(Равно похожий? Ну, это — вряд ли...)
Ломаный, как цветок.

Я им придумал за всё, что забыто,
Вроде бы так отдаю должок.
Вот и стою, как цветок — раскрытый,
Укоренённый, втоптанный, врытый —
Там, где меня — не должно.

* * *

Эти крыши, колокольни и мосты,
Купола, облака, расстояние вытянутой руки,
Дядя Миша не боится высоты,
Ибо карабины его крепки.

Дядя Миша никогда не смотрит вниз,
Что ему там — облака, река, дорога?
В трудовой его — «промышленный альпинист»
Господа нашего Бога.

Только даже он — подводил ли когда
глазомер? —
Засомневался, себе на глазок поверив,
Хватит ли меры — позолотить химер
Или уже перемерить?

* * *

На привокзальной плац-парадной
Среди линиялых и помятых
Сидит поэт второго ряда
В ряду четвёртом или пятом.

Чем пистолет ему заряжен,
Чтобы проснуться без усилий
На белом облаке лебяжьем
С чудесным паркером гусиным?

На облаке, а не в холщёвом,
В футболке выцветшей отцовой,
Неужто косточкой вишнёвой?
Неужто пулькой леденцовой?

Гудит перрон, идёт посадка,
Собаки рвутся с поводков,
Сидят на корточках ребята —
Им далеко до облаков.

Ночь холодна, и небо сине,
Закрой глаза, гадай по книге:
Все на полшага отступили,
И он, на корточках, — великий.

* * *

Худенький, маленький, третий — побойче, —
ну и чего ты им, паря, расскажешь? —
мамка — уборщица, пьяница — отчим,
школьные завтраки — снежная каша.
Старая церковь — окно заколочено,
на штукатурке — размытый Спаситель,
то, что тебя не желают по отчеству,
бог с ними, паря, ты просто — учитель.
Это такая мрачная физика,
грустная химия, паря, а хули?
Вот они слили немножечко дизеля,
вот они троицей всей заглянули —
шифер продмага — подол плиссированный,
чтоб попросить, как им кажется, басом
баночку мёртвой воды газированной
к паре чекушек с живою без газа.
И никогда это время не кончится —
ты понимаешь своей тонкой кожей,
пусть хоть кого-то запомнят по отчеству,
хоть Александра Сергеича, может.

* * *

Саня Горыныч, всё то, что ты как бы ну пьёшь,
В пламени синем, зелёном, отнюдь не коктейльном,
Маленький катер со стёршимся именем «ЁРШ»
Медленно-медленно, медленно-медленно едет.

Скромный улов, не годящийся на переплав,
Всё — медяки, всё — какая-то рыбная мелочь,
Сколько ни пробовал в юности ромовых баб,
Всё не пьянел, всё никак не пьянел, как хотелось.

Не потому ли ладони твои холодны?
— Сколько ни пробовал, слышите, ромовых баб!
Мимо железных ракушек, казармы, тюрьмы,
Старого тополя круглого, как баобаб.

Пламенем синим, зелёным — тепло, горячо!
Ну, оглянись! Ничего неужели не жалко?
Музыка-девочка плачет, уткнувшись в плечо,
Худенькой скрипкой облупленной из музыкалки.

* * *

Почтальонша Люсенька — зад в горохах жёлтых,
бабочка-капустница села на крыжовник.
Бабочки — красивые, чтоб им было пусто —
что б мы тут ни сеяли — вырастет капуста.

Кузовок от «москвича», груда кирпичей,
тут тебе не москвы, чай, — будет с нас и щей!
Но ещё найдешь пока, коль не пальцем делан,
пацанов по лопухам, а в капусте — девок.

— Здравствуй, почта, дуй-ка к нам — есть чем похмелиться!
На китайский сарафан бабочка садится.
— Ох, прости, Заступница! — крикнет и закусит
бабочкой-капустницей с сарафана Люся.

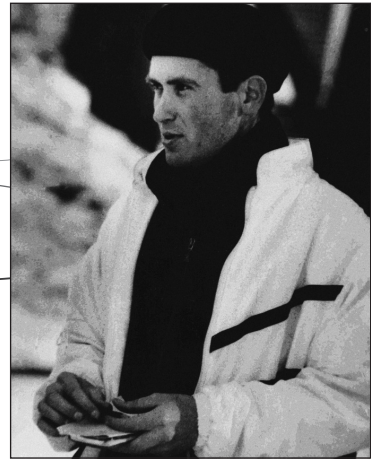
* * *

Красна девица — кущи райские —
наполняет вазоны с куницами,
безделушками сплошь китайскими,
как пельмени — в облепленном, гипсовом.
Светом матовым за аквариумом,
где на сгибах цвета жирнее,
груды мёртвых тюльпанов свалены,
как в разгромленной оранжерее.
Дно промёрзлое вазы-стопочки,
посылайте куда хотите,
но поджарьте мне эту розочку,
ну, гвоздичку хоть закоптите!
Кто поймёт тебя, братец, правильно —
мировой тоски средоточие,
как не девушка у аквариума —
продавщица ларька цветочного.
В этом царстве ненастоящего,
этикеток, вещей безвкусных:
— Пятьдесят воды с гуппи, спящей в ней,
и пускай говорит по-русски!

* * *

Мелко дрожит река, дыма струится хвост,
Каждого дурака не обойдёшь за семь вёрст,
Всякие облака, если смотреть сквозь пальцы,
Вроде уже канва, вроде уже на пальцах.
Вышей на них врата — водка, убогий телик,
Или какие там виды других рукоделий?
Переходящему вброд всякое по колено.
Выйдет из врат теплоход, полный шипящей пены,
Старый радист — та-дам — врубит Пиаф за шторой,
Паф-пиф — и ты упал, музыкой поражённый.

Ната Сучкова родилась в Вологде. Закончила вологодский филиал МГЮА (1998) и Литературный институт им. А. М. Горького (2006). Публиковалась в журналах «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Дружба народов», «Сибирские огни», «Волга», «Дети Ра», «Новая юность», в альманахе «Илья», многих других сборниках и антологиях. Автор книг стихотворений «Лирический герой» (2010) и «Деревенская проза» (2011). Лауреат Международного Волошинского литературного конкурса (2010), премии «Московский счет» (2011 — за дебютный сборник и 2012 — специальная премия), Специальной премии СРП в рамках Международной Волошинской премии 2012 г. Член Союза российских писателей. Живет в Вологде.



Михаил Шелехов

Ориентальные новеллы

Ме

У пьяницы кто не крадёт. Инанна украла Ме.

Красть богов — надо уметь. Богов не положишь в мешок. Мешок — сам бог, и ему не понравится, когда в него пихают всякую всячину. Богов крадут вместе с небом, со страной, с храмом, с ложем, с дуплом. И держи наготове бочку. Без бочки не украдёшь. Навари браги и отправляйся красть богов. Слушай шумера, он знает.

Энки выпил бочку чёрной браги и получил вторую. У Инанны этих бронзовых бочек, как барашков. На всякого бога мудрости хватит. Великий Апсу тоже хорош. И советничек Мумму. Не могли получше припрятать Ме для Энки. Такие глубины океана, а для Инанны все глубины — лужа. Подхватила каменный сундук, и наружу. Апсу даже не успел размахнуться штормом. Старая шляпа. Инанна привыкла рисковать — в преисподнюю спускалась, там пришлось снимать у семи ворот одежду и украшения. Голой пришла в преисподнюю. Инанна не боится рисковать. А утащить сундук с Ме — из расщелины под коралловым островом — для неё детская забава.

Любопытна Инанна. Дай ей почитать таблицы судеб, дай поговорить с Ме. Ме — сути. Семена жизни. Внизу злаки,верху звёзды. Пахарь и звездочёт зарежут друг друга, но не согласятся, что у них одно поле. Чёрное небо,

чёрная почва. А поле одно. Что звёзды, что злаки — никакого различия. И там и тут — Ме.

Всюду — Ме. Надеть корону, выковать меч, вспахать поле, взять жену, убить врага, построить город, выкопать колодец, убить врага, украсить алтарь. Корона, меч, плуг, поле, бык, упряжь, жена, кровать, пот любви, печень врага, камень дворца, золотая печать, колодец, площадь, песня жреца — всюду Ме.

Отдала Инанна каменный сундук с Ме родному городу Уруку. И прошумела слава Урука — дождался он Гильгамеша. Покинут город Ме — и нет славы. И нет шумера. Шумер — из двух сил, как сплетённая коса. Шу-Ме. Бог воздуха Шу и суть Ме. Шу стоит на колене, на руках держит Небо. Придёт змей — одной рукой удержит Небо, второй убьёт змея. А Ме? Кто видел Ме? Повернёт бык голову — вот и Ме. Усмехнётся череп из песка, предупредит о змее — опять Ме. Кусок белого хлеба — Ме. Кувшин жёлтого молока — Ме. Арфа — Ме. Ткацкий станок — Ме. Колесо — Ме. Хотя бог колеса и зерна — Эн-лиль, а богиня Утту — ткачиха. Но скроется из ступицы колеса Ме, оставит станок — смело бросай важные вещи в костёр. Это куча хлама.

Есть в селенье Ме — счастье. Нет Ме — приходит Эрра, бог чумы. Осторожно ступай по земной кровле, а то грозит Иштар выпустить мертвецов из мрака Кур-ну-ги, страны без возврата. Должно быть, уже выпустила. Ходят мертвецы — грызут живых. Придёт караван в

Фару — одни кости. Придут и упадут. Это Ме помогли, чтобы не пропали товары. Живыми мертвецы закусили, а товары в тюках не тронули.

А почему не могут добраться Ме до Курну-ги? Провалишься туда и станешь питаться нечистотами, пить солёную морскую воду, дышать пылью, одеваться тёмными крыльями. Спросила Инанна у Энмешара, господина всех Ме. Стар господин, весь обмотан своей бородой, облезлый и слепой. Поскользнулся на финиковой косточке и провалился через ухо земли в преисподнюю. Теперь спрашивай о Ме у бога писцов Набу. Писец таблиц судеб значительное лицо. Но и под землёй пишут таблицы мертвецов. И там Ме? Может быть. Иштар хитрая поймала Ме. Приковала к ножным браслетам. Заставила услужать Стране-без-возврата.

Ме — слово, имя. Душа — дыхание и кровь. Имя передашь, кровь нет — выпьет горячая земля, а дыхание отберёт господин ветер Энлиль. Жалкое существо — человек. Проваливается в потроха земли.

А герой — идёт в потроха неба. Внутренности неба досматривает на доме горы Экуре верховный бог Энлиль. Он грозой послал потоп. Пошлёт и второй, когда надоест ему читать письма. Звёзды — письма, звёзды — самые высокие Ме. И ты, двуногий, с голым черепом и волосатым брюхом, не трогай лодку. Лежит земля перевернутой лодкой под небом. Чтобы не думал человеческий род уплыть с земли на небо.

Но ходят звездочёты, которые читают из-под руки Энлиля письма звёзд. Он их бьёт молнией, а они опять появляются, как остроухие шакалы. Ходят звездочёты. Подговаривают двуногих перевернуть лодку. Двуногого учить — только портить. Ах, звездочёты, змеи в колпаках. Похваляются: уже есть мачта и парус из папируса. Готовятся ко второму потопу. Бьёт пятками стадо звездочётов — поднимает лес рогов. Задирают бороды на Энлиля. Не утопит потоп, а подхватит лодку — и на небо. На пир звёзд.

Но Энлиль поговорит с Иштар — и выпустит она мертвецов.

Мертвец голоден, как песок. Ему только дай погрызть мясо, пососать косточки.

Как хрустят царские звездочёты на зубах мёртвых! Ай-я. А Ме — что Ме? Ме заберутся в каменный сундук и переждут скверные времена. А бог-писец Набу не пожалеет телячьей кожи и сочинит новые таблицы, пока мудрые и всезнающие Ме в сундуке чешутся и ловят острыми белыми зубками юрких блох.

Цикады в цветах

У бодхисаттвы Каннон одиннадцать голов и пятьдесят рук. И все заняты. А ты, двуногий, не можешь распорядиться одной головой и двумя руками.

Цикада куда как хороша. Высыпал на веточках сакуры первый бесстрашный фарфор цветов — цикада складывает свой первый гимн. И так поёт до сырых холодов, пока не упадут в грязь червивые головы последних больших хризантем.

И ты бы пел, черноголовый. Так за чем дело стало? Нет голоса? Спроси совета у хироманта и перемени место. Разве тебе, уважаемый, много надо — подтянул сисануки-шаровары, запахнул дорожный кафтан и щёлкай тисовыми гэта на запад или юг. Это придворная дама гибнет, как бэйцзинская капуста, в тяжёлых юбках — наденет десять косодэ из парчи и с места не стронется. А ты сунь свой любимый свиток стихов, как связку монет, в рукав, воткни кинжал за пояс — и лети.

Свирепая зима на носу. Камни насупились и почернели. Водяные каштаны легли на дно. Рыба не покажет золотую и серебряную спину. И всюду до горизонта и до края земли, до седой спины океана слышен унылый стук вальков — крестьяне колотушками отбивают грубую ткань. Так и тебя, двуногий, жизнь колотит, чтобы стал мягок. И как ни упираешься — по своей воле или неволей, волоком очутишься у Трёх Рукавов.

Три Быстрины, Три Переправы, Три Омута. Один из них — твой. Или утонул и стал чёрным илом вечной тьмы, или переправился в иную страну. А усядешься там весело на венчике лотоса или, как жаба, заползёшь на пенё, кто знает. Сейчас поздняя осень — в Час Дракона, семь часов утра, ещё темно. В Час Петуха, пять вечера, уже темно. Думаешь, кто так постарался, объявил для всей земли Семидневный траур. Но проходят семь дней, а за ними ещё семь и опять семь, а траура нет конца. Такое время. Ветер воет тетивой тысяч луков — гонит злых духов.

Ты умер тут — брось своего мертвеца и иди. Мертвец сам найдёт свою яму. У тебя, двуногого, одно богатство — две ноги. Рано тебе к Эмма. Твои кости ещё полны жира. Не скоро ветер запоёт на них песню свирели. А ты уходи к далёким истокам. Там встретишь себя живого. После срока удаления, когда очистишься. И сорок девять дней чистоты лотосами отбелят тебя. Ты скажешь — я ходил сто дней и ещё сто, а не встретил ни одного лотоса. Такое

счастье. Иной всю жизнь ходит, а кругом него зима. Восемьдесят лет зима. А умер — уплыл на челноке в весенний лотосовый залив.

Прибей к своему языку золотыми гвоздиками истинные слова сингон, сделай Тэндай, опору неба, своей спиной. И мандала не уронит тебя со своего блюда, как зелёный стручок перца сансё.

Стань, послушай звук тетивы. Может, злой дух с красным клювом сел тебе на плечи. Бойт-ся тетивы дух — сбежит. Дёрни тетиву лука и путешествуй стрелой за тысячу ри. Выколотит тебя, двуногий, зимняя дорога колотушкой до шёлковой мягкости, до гагачьего пуха.

А цикада не меняет места. Сидит монахом, набросив на плечо широкое плечё, шитое, как стена крепости из камней, из лоскутов, и переписывает Лотосовую Сутру. Сакура начинает писать белыми лепестками Лотосовую Сутру, дождь пишет, радуга, а снег закончит. Цикада с весны до поздней осени скрипит бамбуковыми дощичками, водит кисточкой. А наметёт над ней метель белую ступу — пишет и под снегом. Трудолюбива на зависть двуногим, на радость Сяка-нёрай, индийскому Шакьямуни. Он в двухъярусной пагоде с буддой Тахо восседает. Всех сверчков видит.

А мы, а мы? Мошки в цветах. Сверчок великолепный поэт. А если не поэт, так писец. Сама золотоглазая богиня Аматэрасу держит цикаду у себя на службе. А нынешние людишки откуда? От сырости. Поливает дождь, поливают из кувшина люди свой бонсай. Он закис, стал водянистым, а воды не жалеют. Пока не сгниёт карликовый дуб. Пока не обвалится, как шаровары с гнилого пояса, империя. От гнили — мошки и людишки.

Зайдёшь на постоянный двор — людей не видно, но столбы мошек.

Прибудешь в столицу — на площади армии не встретишь в красных доспехах, одни болотные насекомые.

Забежишь в библиотеку — болотные комарики справляют бал. Возьмёшь читать свиток — посыплются иероглифы сколопендрами и разбегутся.

И пуста рисовая бумага.

Хлопнешь себя по бокам — летят мошки мётлами.

Махнёшь рукавами — встрясешь сто деревень комаров. Скинешь шапку — вывалится кипящий город насекомых.

Отложили своих личинок мошки в людей, как в почву растения. Не человек — страна комарья. Увидишь набелённую и нарумяненную даму с золотым веером, двинешься к ней

почтительно, бормоча классические стихи, а дама откроет рот — и повалит оттуда кутерьма мохнатых комаров с пушистыми ногами. Изумишься, отпрыгнешь.

Великий государственный муж выйдет перед скопищем народа. Над головой грома в медные тарелки бьют. Духи барабаны катают и молотят жезлами. Сам бог воинов Хатиман смотрит на него, как на своего полководца. Но полил сверху мелкий дождик — и растаял муж, развалился бумажным кулком, превратился в столб мелких мошек.

А комарёк насаждает, зудит — обещает ад, царство голодных демонов и царство скотов. Выбери! И выбери. Выбери кропотливую цикаду, переписывающую Лотосовую Сутру. Придёт веселый Мироку — наградит. Зацветёт земля, развесит весна по земле, как перед храмами свитки гохэй — цветную, золотую, белую бумагу. А это не цветы — слова. Цветёт мир Лотосовой Сутрой. А едим мошкам — не толковать. Только бить, размазывать собственную кровь.

Прокисла, заразилась почва. Такую только выбросить, пока горы на ней не поскользнулись и не свалились в море, пока города в ней не утонули, как в зыбком песке. Подсуши землю. Дай ей огня, ударь колотушкой, прогони пилильщики. Каждая вещь, все кости изъедены пилильщиками. Полей землю настоем марганца. Земля станет розовой, карминовой — пусть. Начисти тысячу тысяч головок чеснока — разбросай белые дольки. Станет земля горькая — пусть. Собери померанцев — надери корок. Устели оранжевыми корками землю — пропадут мошки от резкого эфира. Разведи щёлока, зелёного мыла — облей мылом страну. Не жалеи. Это не страна — пиршество назойливых и пустых мошек. Действуй беспощадно, как император.

Двуногий, двуногий. Побегал по свету? Поменял шило на гвоздь, запад на юг. Бросил один свой труп. Бросил второй свой труп. Мертвецы уползли в ямы. А ты? Видишь — волшебный фонарь. Пагода из жёлтой вощёной бумаги в один саяку. За бумажными дверцами — тысяча историй. Одна из них твоя. Глянь. Что видишь? Что-то белое. Смотри внимательнее. Белый жеребёнок на четырёх перистых ножках молодого бамбука! Пробежал и скрылся мимо щёлки. Мимо твоего глаза. Твоя жизнь пробежала, двуногий. Сам ты промелькнул мимо своих глаз. И ничего не будет, хоть растопчи волшебный домик, спали бумажную пагоду. Такой ты вор — воровал горшок с медом, а украл ночной горшок.

Стань на колени, положи ухо на сугроб. Как там, в ступе? Стрекошет цикада, заливают-

ся, бога хвалит. Спроси — кто в ступе живёт? Скажи — хлеб да соль. И ползи с седой головой, с чёрными пятками к цикаде в ученики. Может, отобёшься от царства жалких мошек. Скинешь с себя серенький наряд. Станешь изумрудной цикадой на чёрной веточке ослепительной сакуры.

Слава дня

Образ смерти, свирепой, с красными волосами и белым, как снег Гималаев, лицом, витал над землёй. И земля тихо смотрела на неё, как в зеркало. Распределитель часов и всемирная жаровня сияла в небе. Вселенной ещё хватало для неё яростных углей. Джвала тянул по миру тысячу рук.

— Слава дня! — говорили о жаровне люди льстиво. Джвала — огонь, царь дня, но и ночью ворошит он угли, раскладывает их узорами, буквами, цифрами, тайнами.

Чёрные муравьи, двуногие прятались под редкими куполами деревьев, в ямах, лежали в грязи вместе с бегемотами и слонами. Под плоскими, как лежанка, крышами хижин не было ни одной души. Только глубокой ночью кто-то нырял туда, как в горячую золу костра, чтобы бежать назад.

Под баньянами и пальмами, тиком и сандалом, тамарином и рудракшей, из косточек которой делают лучшие чётки, присядут и небожители. Вишну и Рама, Шива и Индра, Лакшми и Парвати — вечные горящие угли великой жаровни неба. Иди к ним по углям костра босыми ногами, всё равно завтра не одним пяткам гореть, а всему двуногому. А встретишь страшную Кали, увешанную ожерельями из черепов, трясись от страха и надейся только на смех богини. Любит она мрачный юмор. Один бедняга спросил её, как она управляется с ногами десяти голов, когда прихватит насморк? Насмешил ужасную и был вознаграждён.

Бхарата — сын Шакунталы и Душьянты дал имя великой стране. И ты, двуногий, живи в меру первопредка от царя и отшельницы. Тысячу лет не проживёшь, как предки, но успеешь насладиться — побудешь и царём, и отшельником. Колокол Шивы, разрушителя и зодчего, грядущего на быке Нанти, морская раковина Вишну криком трубы погонят вперёд колесо твоих рождений.

— Житница, житница! — кричали мальчишки и нюхали — не пахнёт ли где-нибудь жареной саранчой.

Но пахло жареным мясом. На дровах лежали мертвецы. И новых несли к огню.

— Рам! Рам! Рам! — под эту молитву ест огонь трупы. Сладкий тяжёлый смрад — мучитель ноздрей, последнее прощай мёртвого живым. Пепел воде и земле, дух эфиру. Джвала, выплюнув золу и дым, заберёт душу и вернёт её уголёк великой жаровне. И как ни крадут бхуты, живущие у мест сжигания мертвецов, живые угли изо рта двуногих, не скудеет слава дня.

У горы Меру, где дворец Вишну, глупая красавица, прекрасная, как розовое дерево, и тупая, как спиленный рог буйвола, хвалилась, что выйдет замуж за самого Джвалу, славу дня. Посмеялись в деревне — сунь пальчик в огонь, пусть наденет тебе Джвала колечко. Ткнула красавица обе руки в огонь — так ей колец и браслетов захотелось, а потом визжала, как лисица. Но не смирилась — выйду за самого великого. Пошла искать — увидела слона, который носил стволы чёрного дерева. Вот муж, какие у него бивни! А тут прибежали стражники. Надели на слона паланкин. Сел в паланкин раджа и отправился на охоту. Раджа — муж! — побежала за хвостом слона красавица. Остановился слон, сошёл с него раджа, поклонился отшельнику у дороги, триста лет ему, одна шкура да кости. Вот кто самый великий! Отправилась красавица за старой развалиной. А отшельник жил в храме древнего Индры. Вошёл и перед статуей Индры со скрипом на колени опустился. Выйду замуж за статую! А вечером прибежал шакал, сожрал жертвоприношения, поднял ногу и помочился на статую Индры. Что делать? Надо выходить за шакала! Не насытился шакал — побежал в деревню, в ту самую, из которой отправилась в путь красавица. Увидел наглого вора юноша-водонос и пришиб шакала. Стала красавица женой водоноса. А как подумаешь, так добилась она своего. Вода побеждает Джвалу.

Но нет на свете воды для небесной жаровни. И поверни мать-Гангу на небо — не зальёт она огня. Око мира, создатель дней, выпивающее реки и моря, собирающее в корзину угли человеческих душ, не слепло, не моргало над землёй Бхаратов, землёй Пандавов. Вечное лето не знало осени тут. Только молоко кокосов напоминало о снеге, и белые дхоти на чёрных мужских торсах резали глаза контрастом.

Мать плодов шелестела в окнах — опорожнялось озеро, чтобы утром сиять полнотой лотосов. И птицы озера раздавали сверкающие и пахучие подарки каждой просящей руке.

Ещё было далеко до украшений ночи, и все мореплаватели сидели в порту и тянули сладкие вина родины и горькие напитки чужбины.

Но уже раздаватель тяжёлой холодной росы грезился усталой гавани. Но всё вино мира не могло заставить мореходов забыть о том, что вместе с росой в кровавом лице луны скоро придётся читать пророчество осенних бурь.

А на севере, в Срединном государстве, уже били поклоны зиме, матери книг.

Земля Пандавов — земля голых статуй, империя тела, каллиграфия телодвижений, библиотека танца. А в Чжунго дети империи Хань пишут по бараньей лопатке, панцирю черепахи, шёлку и бумаге шифры вселенной. Как по снегу. Идёт зима, мать рукописей — подбивай ватой короткое лето. Как и не было небесной жаровни. Доставай жаровню из жести, из меди, из чугуна — разжигай своими руками огонь, как делают это боги.

Чжунго — страна маленьких императоров, страна фарфоровых богов. Тут каждый разжигает и хранит свою личную жаровню. Своё красное солнце.

Та, про которую говорят, вышла из тайников — и глазам стало трудно следить за превращениями. Не кружилась вихрем сушь земли, не продавал зубы белый старик, было спокойно, как костям на вершине мира. Но смерть стригла ногти. И щёлканье ножниц будило тревогу и усыпало дорогу тысячами мелких белых лун. Голодная опальная волчица уже выходила на охоту — резать мясо для зимней свадьбы. Трещали земляные орехи, финики не закрывали чёрно-красных глаз. И водяные каштаны лопались от нетерпения.

Как подвязка с прелестной, но бедной ножки, повисла последняя осенняя радуга. А зловещие старухи, которым каждый полдень — полночь, каркали:

— Смотрите, придёт разрушитель листьев! Гонитель растений, губитель падающих корон уже на пороге. Шейте шубы, набивайте брюхо очагов потолще дровами любви. Конопатьте окна воспоминаниями. Не оглохнуть бы от слёз! Пройдёт житница. Станет хоронительница. Готовьтесь встретить её катафалк белыми цветами. Скоро придёт приемательница цветов — поменяет белые джунгли на сладкие клубни и жирных креветок. Придёт кусавица, кар! Кар!

— Уйдите, кукушки! — гнали их люди.

Умирили все запахи. И бабочки, которые пропитались ароматом цветов, исчезли. Красавицы, которые пропитались поцелуями, спрятались в домах. И только философы ещё дышали ароматом книг. И вокруг них, как у цветущих полей, собирались люди. Чтобы каллиграфы не теряли сосредоточенности, люди

приносили им затянутые звенящей бумагой окна, и те писали на них прекрасные иероглифы — сбегаая вниз кистью и создавая караваны улетающих на юг птиц.

Великий Цюй Юань, любивший орхидеи и ароматные травы, откупорил кувшин вина. Зима всегда вытаскивает вино для памяти о героях. А зимнее равноденствие достаёт бамбуковые флейты и сыплет на них золу для проверки чистоты тона.

Год шёл к истоку вещей. Когда так просто подумать, что ты бык, и стать быком. Или журавлём. И когда каменный тигр становится морской чайкой.

Все босые прибились к огню. Соседи на западе зовут его смешно — Джвала. Ну кто так зовёт огонь, пурпурного феникса Чиняо, на котором летает огненный император юга Янь-ди? Каждый знает, что имя огня кратко, как удар меча, — Хо.

Упал первый снег, защемило сердце. Но в сердце нет ничего кроме сердца. Поэтому, не веря ему, отвернулись от белой бумаги и стали читать древние книги, а не писать новые. И только дети и мелкие птицы пятали снег помётом и следами. Но это была недолговечная книга. И бог снега, который сочинил оду, разочаровался. Потому что тот, что сочинил пейзаж, не обращая внимания на сезоны, был самым великим философом. А все остальные только расписывали короткими стихами стены его постоянного двора.

Но и мастер пейзажа зябко тер руки в нетерпении, слыша, как ранним утром бежит с чайником первого кипятка босая старуха, чтобы получить свои медяки во славу дня, который уже раздувал на белёсом небе маленькую жаровню, полную сиреневых зябких углей.

Меч-Самец

— Вот тебе эталон. Это самая высокая мера людей — определяй человека.

И дали мне Меч. Меч-Муж. Меч-Самец. Ищи Жену, ищи Самку!

Поднял его, взмахнул, вытолкнул в небо, разбудил стихии.

Пронзил облако, задел солнце, взволновал ветер — вдохновил вселенную на новые творения, но сгорели падающие звёзды на острие. Достал до последнего дня, воткнул в бездну, не удержал руки. Отмахнулась сталь от слабой человеческой воли, рассмеялась звучно булатная полоса. Зарычал Меч-Самец. Слепила дорога Меча людей в городах, крестьян на полях,

жён у очагов, детей в колыбелях. Всех прочих, занятых чем угодно, напугала до полусмерти. Упала страшным потоком, летящим на запад.

Опалила река падающего Меча счастье и любовь — погибли одни, превратились другие. Но закалилось зло — бурыми россыпями легло по городам, повисло душными тучами трусости. Пошли по человеческому телу язвы непротivления, гнойники равнодушия. Калечились люди и задыхались во зле — щедрюю жатву собрала смерть с их пороков. Взыли они, взмолились, перекошенным человечеством поползла земля к Небу. Горбатым человеческим родом, меем человечества по дорогам — и не было горы выше горба этого карлы.

Ропот и ярость поколебала звёзды, пали они, шурша и громыхая. Потому что были мертвы сотни тысяч лет. Небо полно мертвецов. И когда мертвецы упали на землю — застонала земля, не в силах носить свои и чужие трупы.

Океан перекосил, куда упали мёртвые звёзды. Отшатнулся в две стороны. Заклокотало в ущелье воды пламя. Выплыли из глубин рыбы, задыхаясь, стали скакать в Небо, но рушились вниз. Небо — насест для птиц и рыб. Но упали звёзды, упали насесты. И птичник Неба опустел, не выдержав тяжести мяса без перьев. Перья опираются на воздух. Но облысели птицы. Рыбы потеряли хвосты и чешую и стали моллюсками. А свиньи так и не выросли в птиц, хотя открыли немало Академий свинских наук.

Решило Небо уйти от земли, оглохнув от воплей и жалоб. И собралось в поход. И гул поднялся с четырёх сторон, потому что собиралось Небо разом загнуть вверх свои углы, завязать на два узла и волоочь чёрный мешок, куда глаза глядят.

А люди стояли и лежали в воде отшатнувшегося на сушу Океана и плакали, как плачут черви — извиваниями.

Закипело и испарилось Ближнее Небо, накалилось докрасна Дальнее Небо.

Бордовый отсвет окрасил всё живое, стенающее и движимое страхом. В чёрном разрубе, который оставил падающий меч, проглянуло серебряное яйцо. Зловещие разрывы гибнущих вселенных превратили Небо в живот тяжело беременной — и зигзаги на треснувшей коже начертали по Небу странные письмена. Читали их последние глаза смыслящих читать и казнились непониманием. Панцирем черепахи стало Небо и бросило вниз тысячи черепах, и в том была новая наука — упавшей с неба черепахи. Гадай на ее панцире. Кто взялся гадать, тот спасся. Им-

перия Чжунго спаслась за спиной императоров Яо, Шуня и Юя. Прочих достал потоп Меча.

Рёвом и грохотом наполнилась бездна до дна, откуда Небо уже тащило свой огромный чёрный мешок. Бесшумно падали карточные домики бетонных громоздких городов. И слышно было, как в призрачной тьме кто-то, алчно смеясь, бил в бронзовые ладони.

— Приди к сумасшедшему, посмотри в оловянные глаза. Останови бой медного барабана.

Кому прийти? Все утаскивали свои узлы, как после урагана.

Небо зачоченело окалиной по краям горизонта. Чернота отгоревшего и отболевшего естества легла на белые плечи молящихся в лужах грязной воды — вот чем стал Океан, который тоже ушёл. И тёмно-зелёный столб его, уходящего, ещё торчал внизу, если лечь на живот и глянуть с края земли. Но белые огромные пятки Океана уже висели в воздухе, и с них он осыпал на мир прах — медуз, червей, актиний, звёзды, ежей.

Груда мёртвых звёзд лежала посреди ушедшего Океана. Перед ними копошились люди. Звёзды уже не походили на людей, а люди на звёзды.

А кто-то, громко хрустя, поедая их белые крылья, шевеля обрубленными трубами ушей. Он украл их! Эшелон белых крыльев свалился на голову в последний миг, выпав из грузного мешка. Но кому было дело до крыльев? На них не было куда лететь. Ибо Неба не стало.

На глазах старели и деревенели дети, и увядало прекрасное, как подышает живой лист — желтея, корчась и загибаясь куриной лапой. Сохли глаза — продавливались в глазницах, и листопад глаз был последним листопадом человечества.

И кричало алым страшным голосом потерявшее смысл время.

Мера сущего сгнила, как гниёт белый цвет, превращаясь в семь цветов. Но семь цветов уже не торчали букетом, не собирались в узел — они потеряли таинство превращения. Всё потеряло дорогу обратно и разучилось возвращаться. И это стало самой огромной карой. И сказка метаморфозы перекосила рот и обратилась в оскал мертвеца, и все превращения по отмирающей привычке судорожно толкались в одну сторону — и всё, что некогда превращалось, конвульсиями цепенело в смерть.

А смерть, зевая, стояла над этим апофеозом остановки, отдавая последний долг. И у неё, вечной труженицы, всегда трезвой и бдительной, украли дорогу. Потому что простой и очень древний договор — превращение ради

смерти и смерть ради движения — стал ничёмным куском заскорузлой и залосненной телячьей кожи.

Отсутствие превысило человека, но ему не было куда отсутствовать. Ибо Небо утащило свою поклажу, как покражу, все узлы развязались и, шипя, расползлись.

Один человеческий род библиотекой червей торчал голышом и горбом среди судорог бытия, последним возвышением, но не горой черепов, ибо всякая гора поникла и расплылась жидким маслом. И не могла гора с диким хохотом превратиться в яму как прежде, а яма в гору. Превращение изгладилось в мире, и война, как превращение, изгладилась, и мир изглаживался, чтобы никогда не вспоминать о себе.

Всё расходилось по старым домам с узлом за плечами и высматривая потерянные углы. Но среди всего расходящегося веером и падающего торчал человеческий род, не умея определиться.

И понял я.

Мера людей превысила человека и весь мир, и то, что за миром, но не превысила Меча. А в разрубе пространства, которое уже изглаживалось навсегда, что-то сверкало. Это возвращался Меч-Самец, который дошёл до конца, задумчиво не заметив происходящего.

Я стёр кровь со своего лица. И это была кровь тысяч вещей, она не имела цвета.

Люди плакали, как деревья, которых уже не было, и падали, как деревья, на землю, которой уже не было, и тресали, как обломки башен Неба, что утащило свой чёрный мешок, и треск их ветвей был хором последних книг.

Изломы последних ветвей людей странно повторяли белые родовые швы Неба, которые оно забыло собрать в свой мешок. Но кто мог их прочитать?

— Они как древо, эти люди, — крикнул я куда-нибудь, потому что некуда. — И так же гибнут. Почва людей пространство. Но оно прошло. Для чего мера Меча? Кто рубит Мечом деревья?

— Не топор дали тебе, но Меч. Чего тебе ещё?

Что знал я? Только рукоять Меча, которую схватил однажды.

— Не смертью меряю я людей. И не орудием смерти — человечность. И самые человеческие орудия смерти — ради человека, и самые смертельные орудия людей ради смерти самой смерти — два купола песочных часов. Но я устал переворачивать. Ненавижу смерть даже по законам людей. Ибо не равны они, не мир-

ны, привыкли жертвами заменять согласие и равновесие. Я хочу вырвать корень зла — любимую людьми меру смерти. Ибо не правит она.

Ничего не ответили мне. Что знал я, говорящий? Отвечают знающему.

Меч возвращался.

И с ним возвращалось миру всё его значение и достоинство.

Ближнее Небо тащило назад свою ношу, развязывало узлы, раскидывало своё на четыре края. Четыре угла земли вернулись на свои места. Океан, ставший лужей, пришёл тёмно-зелёным столбом и пал, обернувшись чашей. Все рыбы ожили, и дельфины запрыгали, и киты затрубили. А упавшие звёзды взлетели эскадрилей на свои места и вновь притворились живыми и мерцающими.

Листопад глаз прекратился. В пустых глазницах выросли глаза, а в жилах людей зашумела кровь, что окалиной лежала под ногами. Мертвецы пошли по своим местам. И все, кто ел мёртвых, отдали могилам их вклады.

Сущее срослось — и не оставило на себе шрама. А родовая мозаика родившего всеобщее отсутствие Дальнего Неба исчезла, как будто Небо ничего не рожало и не писало швами так и не прочитанных письмён, у которых руны и иероглифы на побегушках.

Слои мира сомкнулись. Как разноцветный железный пирог.

И никто бы не нашёл места склейки происходящего, когда оно стало происходить.

У клея не было имени, только отчество — и значило оно клей Вавилонской Башни, у которой, кроме гордой шеи и головы, были, на самом деле, тысячи крыльев.

Башня собиралась лететь в Ближнее Небо.

Но клей съели черви, и крылья Башни растащили её жильцы для опахал.

Что была Башня? Отражение башни Неба. Чтобы стать Вавилонской Ямой.

О башне слышали все, а кто поплачет о Вавилонской Яме, в которую упали строители?

Горы выпучились, ямы провалились.

И всё стало прогибаться и выгибаться. И в этом движении волн ожило всё — от нескольких Небес, которые моментально построили свою Вечную Башню из нескольких блинов, до шевеления кишечника в утробах истощавших людей. И когда крикнул желудок вселенной, всё окончательно встало на свои места. И человечество, торчавшее горестным горбом, разбрелось по своим норам, так и не разрешив недоумения, как и всего прочего.

Метаморфозы упали стаей и загарцевали. И смерть со вздохом облегчения сжала в кулаке

старую телячью кожу с кровавой печатью договора. Города высыпались кубиками и шариками из бумажного кулька, который вытрясло, разбирая свой хлам, Ближнее Небо. Закурили очаги и жертвенники. Появились и заквакали часы. Всему настал свой час. И смерть рассмеялась от удовольствия продолжить старую пьесу.

А на востоке от Бохая ревела бездна Гуйсуй. Восемь сторон света, девять пустынь и Небесную млечную реку доила она, пожирая воды и не зная насыщения. И брюхо её не вставало выше гор. Гун-гун с красными волосами на голове и телом змеи дергал за сосцы реки, водопады и ревел. А Гуйму, мать бесов с головой тигрицы, когтистыми лапами дракона-луны, глазами дракона цзяо на хребте Сяюйшань рожала бесов. Тысячу бесов рожала она утром, как будто плевалась. И мохнатые брови дракона мана на её лбу летали, как крылья совы. А вечером, проголодавшись, она пожирала своих детей.

Я состарился? Или родился? Я ушёл? Или вернулся? Что сделал я, когда взял Меч?

Меч, породивший всё при своём возвращении, медлил.

Он завершил своё молчаливое странствие, пролетев и то, что не имеет полёта, и, обогнав

время своего прихода, воткнулся в пустой муравейник близ крошечного багрового огня. В муравейнике стояли лесом тысячи церквей, но они не работали. Что может церковь, когда приходит Меч-Самец, трубя, как олень весной.

Тысячи церквей в муравейнике кланялись стоящему Мечу. Но что Мечу их поклоны?

Меч-Самка была где-то рядом. Но молчала. — Меч-Самка! — крикнул я и устрасился. — Приди.

Но что будет, когда придёт Жена-Меч? Чем закончится для мира их свадьба?

Муж и Жена. Самец и Самка. Гулять вам в Саду, рубя сухостой смерти. Играть в ручье и пасти радуги. Рубить гору, рождая из огня тысячи вещей.

Зачем вы оставили Сад? И есть ли в Сад до рога?

И есть ли Сад на свете, Сад Мечей?

Меч-Муж поводил рогами.

Он ждал боя. Ждал свадебного пира. Ждал Сада.

Прекрасный и страшный маятник.

А я, не зная, что делать, куда уйти от его глаз, поднимал руки железного дерева, чтобы удержать его удар и крик полёта.

2012

Михаил Михайлович ШЕЛЕХОВ родился 1 ноября 1954 г. на Брестчине в семье учителей. Закончил факультет журналистики Белгосуниверситета (1976), Высшие курсы сценаристов и режиссеров при Госкино СССР (1984) и Высшие литературные курсы при Литинституте им. М. Горького в Москве (2001). Поэт, драматург, прозаик, эссеист.

Работал в журнале «Рабочая смена», на «Телефильме» Белорусского телевидения, главным редактором студии телефильмов «Кадр», главным редактором киностудии «Беларусьфильм», заместителем главного редактора академического журнала в Минске, учился в аспирантуре как соискатель-политолог в Минске. Сейчас ночной сторож детского сада.

Автор четырех книг философской, экспрессивной лирики и баллад («Слово ненастное, слово лазурное», «Ангел уличный», «Песни родильного отделения»), автор сценариев пяти художественных фильмов, поставленных в Москве, Минске и Свердловске («Круглянский мост», «Огненный стрелок», «Шоколадный бунт» и др.), десяти мультфильмов по своим сказкам, многочисленных пьес, ориентальных и фантастических романов.

Лауреат первой литературной премии им. М. Горького (1988) за первую книгу, премии конкурса детской литературы РФ «Заветная мечта» (2007), Золотой медали международного конкурса-фестиваля «Русский STIL-2009» (Германия), Волошинской премии — 2010, 2011, 2012 в разных номинациях — поэзия, проза и драматургия, лауреат нескольких журнальных премий и наград кинофестивалей, награжден Золотой медалью Союза кинематографистов СССР и Министерства культуры СССР им. А. Довженко (1990, за фильм по прозе В. Быкова).

Соавтор четырёхсерийного телесериала «Блиндаж» о холокосте (Россия, 2011) по незаконченной военной прозе В. Быкова. Сейчас готовит уникальный трёхтомник военных мемуаров своего отца, партизана-диверсанта, узника нацистских концлагерей, участника штурма Берлина, служившего в Группе советских оккупационных войск в Германии в 1945—1947 гг. Автор частично опубликованных монографий о русских пророках и мистиках Пушкине, Гоголе, Тютчеве, Блоке.

Публиковался в «Новом мире», «Дружбе народов», «Юности», «Волге», «Роман-газете», в крупных антологиях русской поэзии XX и XXI века.



Раиса Беляева (Гурина)

«Милые идиоты» большого города

В больших городах живёт много ненормальных людей. Не то чтобы совершенно сумасшедших, хотя и таких достаточно. Но всё же душевнобольные, как правило, обитают в специальных лечебницах, в старину их называли домами скорби или призрения. А вот странные люди — обладатели лёгких психических недугов или умственных расстройств — на свободе встречаются совсем не редко. Про себя я называю их «милыми идиотами», так как в большинстве своём они не только не опасны для окружающих, но даже трогательны и забавны. Лёгкая ненормальность придаёт их личности яркие черты, выгодно отличая от остального, несравнимо большего количества обычных горожан. Они запоминаются, им сочувствуют, их любят — город знает своих дурачков.

Иногда лишь драматический или курьёзный случай на мгновение жизни выводит за рамки общепринятого людей вполне нормальных. Если очень повезёт, встретишь личность и вовсе необычайную, единственную в своём роде.

ДЕВОЧКА ИЗ ФОНТАНА

Я видела эту девочку давно, когда целыми днями катала маленькую дочку в коляске по парку. Стоял знойный июльский день, всем хотелось к морю, реке, воде, и кто мог, тот туда

и уехал, поэтому на аллеях было малоллюдно. Впрочем, и тут можно было спастись от жары: кроны старых деревьев покрывали землю сплошной зеленоватой тенью. Парк в те времена украшали гипсовые скульптуры — там и сям выглядывали из зелени медвежата с медведицей, покрашенные коричневой масляной краской, или девушки-спортсменки с вёслами в руках, группы пионеров салютовали, как положено на торжественной линейке.

Одна из таких скульптур расположилась в самом конце аллеи, плавно спускающейся с холма, — на горку из живописно разбросанных камней был водружён юный пионер, беззвучно трубящий в горн. Голова горниста вскинута кверху и повёрнута вполборота, свободная рука покоится на поясе. Из искусно проложенного к горке водопровода камни омывала струя, стекавшая в небольшой, овальной формы бассейн, — пионер стоял на страже паркового оазиса и одновременно словно призывал окунуться в его живительные воды. И признаться, многие были бы не прочь это сделать, но я заметила уже, что случай давний, тогда купаться в городских фонтанах было не принято (разве что в Риме — резвящуюся в cascадах Треви Аниту Экберг к тому времени мы видели на экране).

Поэтому девочка, залезшая в бассейн под струи фонтана, привлекла всеобщее внимание и вызвала лёгкое чувство зависти. Конечно, она

даже отдалённо не напоминала феллиниевскую роскошную женщину, столь естественную во всех своих сумасбродствах, но из возраста маленькой девочки, которая рада плескаться в любой луже, уже вышла. Наша купальщица выглядела подростком или даже очень юной девушкой — трудно было определить её возраст, так как она была явно со странно-стями, — худая, босая, одетая в короткие вылинявшие шорты и ковбойку с оторванными рукавами. Перечисленное составляло всю её одежду — лифчик девочка не носила, хотя он явно был ей уже нужен: из-за отсутствия ряда пуговиц рубашка её не закрывала юные груди, похожие на половинки яблок раннего сорта «белый налив». Волосы острижены коротко и неумело, просто отхвачены ножницами как попало. Лицо её по сравнению с телом было совсем детским, счастливая улыбка не сходила с него, девочка смеялась и плескалась, ложилась на воду и, фыркая, как лошадка, брызгала во все стороны, словно рядом с нею не было никого, — своею грацией наша жалкая наядя несколько не уступала героине «Сладкой жизни».

Вволю накупавшись, блаженная перешагнула бортик бассейна и, не отжав ни волос, ни одежды, шлёпая по асфальту мокрыми ногами, ушла вверх по аллее. С ногами у неё тоже было что-то не так: шла она, развернув стопы наружу, как балерина в третью позицию или Чарли Чаплин. «Хоть бы её никто не обидел», — беспокоилась я, глядя ей вслед.

То ли осенью, то ли следующей весной мне довелось встретиться с «девочкой из фонтана» опять. Я что-то отправляла или получала на почте, а она стояла в очереди к окошку, где выдают пенсии.

«Ну да, конечно, за бабушкиной пенсией пришла (девочка отчего-то виделась мне сиротой), впрочем, почему за бабушкиной? за своей — по инвалидности». На улице было холодно, но ни шапки, ни платка, как летом лифчика, на девочке не было — некоторые необходимые по сезону или правилам хорошего тона части одежды на ней постоянно отсутствовали. Но если летом купающаяся в городском фонтане слабоумная была всё же по-своему великолепна, то теперь ничего, кроме жалости, не вызывала. Она стояла опустив голову, так что оттопырившийся воротник лёгкой куртки открывал шею сзади. При взгляде на эту голую шею меня вновь пронзило чувство незащитности: шея у девочки была тонкая-претонкая, казалось, придави слегка — и хрустнет.

СЛАВИК, ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА

Атмосфера в троллейбусе царит весёлая, непривычная для общественного транспорта. Правда, и часы не пиковые, когда трамваи и троллейбусы набиты битком если не явно злыми и озабоченными, то, по крайней мере, молчаливыми и демонстративно — «не трогайте меня» — отстранёнными. Но всё-таки, отчего все пассажиры такие радостные?

«Давай, Славик, поехали дальше», — улыбаясь, скомандовал старичок. Он обращался к белокурому юноше, сидящему на переднем сиденье, лицом к пассажирам, который вертел в руках автомобильную баранку. Лицо того, кого называли Славиком, преисполнено блаженства, словно он и взаправду водитель и везёт всех этих пассажиров. Вдобавок Славик чётким голосом исправно объявлял названия остановок. Очевидно, потому, что ошибок он не делал, настоящий водитель не имел к Славiku претензий, то есть не обращал на него ровно никакого внимания — играет дурачок, радуется, ну и бог с ним, вреда-то от него никакого, даже польза: остановки объявляет, людей веселит.

«Какая следующая, Славик?» — спрашивают пассажиры.

«Осторожно: двери закрываются, следующая остановка...» — продолжает свою работу Славик.

Его называют по имени, очевидно, он живёт в этом районе и люди его знают. А потом он и мне стал попадаться на глаза.

Конец восьмидесятых, продовольственные полки пустеют день ото дня — ни мяса, ни масла, ни рыбы. Даже за хлебом очереди, позабытые с давних, хрущёвских «кукурузных» времён. Вхожу в открытый накануне «перестроечных» лет универсам — похожую на аквариум, безликую и пустую стекляшку. Сразу за входными дверями, где чуть теплее, чем на улице, сидит на продуктовой таре Славик с аккордеоном, исполняет старинный вальс «На сопках Маньчжурии». Играет и поёт хорошо, не фальшивя и без запинок — так же, как остановки объявлял: «Спит гаолян, сопки покрыты мглой...» Делать в пустом универсаме нечего, собираются вокруг Славика люди, стоят, слушают. Очень к вальсу идёт старая морская форма, которую кто-то ему подарил, — шинель чёрного крепкого сукна. Когда Славик допел до слов «Плачет-плачет мать-старушка, плачет молодая жена...», какая-то сердобольная женщина обхватила его голову руками и поцеловала в макушку — голова у него была непокрытой: в фуражку с якорем, лежащую на полу, люди бросали денежки.

В те же обвальные времена в здании бывшего овощного магазина открыли православный храм. Служил в нём молодой священник отец Дионисий. И хотя церковь была бедная, не обустроенная — даже алтарь от молящихся условно отделялся всего лишь домашнею ковровою дорожкой, — приход всё увеличивался.

Как-то под вечер, возвращаясь домой, я увидела возле «овощной» церкви улюлюкающих мальчишек, которые колотили палками какое-то странное, шествующее в их гурьбе квадратноголоное существо. При ближайшем рассмотрении им оказался человек с надетым на голову деревянным ящиком из-под огурцов или помидоров. Ящик обвивала цепь с ржавым замком. Оторванные передние дощечки, наподобие средневекового шлема с поднятым забралом, открывали лицо. С трудом я узнала Славика, в нём не было и следа того, кто ещё недавно весело «развозил» пассажиров, вертя в руках найденный где-то на свалке руль, и так хорошо пел старинный вальс, — довольно страшное выражение исказило его облик, и мне стало ясно, что белокурый юноша в своих играх перешёл незримую роковую черту.

«Бейте дьявола! — призывно вопил душевнобольной. — Бейте дьявола!» И мальчишки рыцарского воинства, изгоняя сатану, радостно лупили по голове-ящичу. Больше я Славика не встречала.

А новый храм отец Дионисий с прихожанами отстроили. Рядом, на пустыре. Тёплый, красивый, с иконостасом и колоколами — всё, как полагается.

«ЛЮДИ, ПОМОГИТЕ!»

Лучи идущего на убыль августовского солнца рисуют на стенах узоры. От их игры трудно отвести взгляд. Но я собралась посвятить свободный часок чтению. Состояние самое умиротворённое: ты словно погружён в прозрачный куб, наполненный бесшумными золотыми, палевыми и зеленоватыми волнами. Но только книга открыта и найдена нужная страница, как со двора, через открытую балконную дверь, врывается истошный крик: «Люди, помогите!» Я пытаюсь читать. Но опять, спустя пару минут, повторяется: «Люди, помогите!» С сожалением захлопываю книгу и выхожу на балкон, надо же разобраться, кто там кричит, может, действительно помощь нужна. На первый взгляд всё как обычно: на площадке играют дети, по дорожке от остановки и магазинов возвращается с работы народ. Кто же кричит?

И где? И тут снова раздаётся крик о помощи. Он доносится откуда-то сверху, из воздуха. Да что же это такое? Он что, с небес, что ли, кричит?

У торца дома напротив останавливается старушка с собакой и поднимает лицо кверху, немедленно вслед за нею точно так же задирает морду её собака — на мгновение воцаряется немая сцена. Мне видно, что смотрят они всё же не на небо, а на крышу двенадцатиэтажного дома — там кто-то есть.

«Мужчина, вы почему голый?» — кричит старушка с земли на крышу. Я с интересом присматриваюсь и действительно различаю на фоне вечеряющего неба обнажённого человека — к счастью, достаточно высокая оградка плоской кровли закрывает нижнюю часть туловища, предохраняя местного Адама не только от нескромных взглядов, но и от падения вниз.

Далее последовал горячий и сбивчивый монолог призывавшего на помощь. Очень длинный монолог, из которого я и старушка с собакой, находящиеся значительно ближе, поняли приблизительно следующее. Какие-то нехорошие люди (или приятели-насмешники?) напоили-заманили-завлекли бедолагу на крышу, дели пьяного донага и ушли, забрав одежду и закрыв за собою дверь чердака. Вопросы о том, зачем он туда с ними пошёл (понятное дело — пьяный был) или распивал горячительные напитки уже «на месте», находясь почти под облаками, оставляю в стороне — я ведь пишу о не совсем нормальных людях.

Разбуженный и слегка отрезвлённый вечернею прохладой наш герой с удивлением обнаружил себя запертым на крыше высотки в абсолютно голом виде. И стал взывать о помощи.

Между тем «мисс Марпл с собачкой», около которых постепенно образовался круг заинтересованных, продолжала дознание: «И куда они ушли?»

И тут я, согнувшись пополам от смеха, чуть сама не свалилась с балкона: только что так долго и страстно повествовавший о своих обидчиках на мгновение впал в амнезию — на крыше недоумённо безмолвствовали, а затем оттуда, после тягостного раздумья, донеслось: «Хто?»

«Ну эти, — старушка явно затруднялась с определением, — которые...»

Далее вполне анекдотический сюжет быстро перешёл к прозаической развязке и стал малоинтересным — толпа разом загудела, заговтовалась, и было произнесено магическое слово «ЖЭК»: «Надо в ЖЭК пойти, ключи от чердака взять!» Что, очевидно, и было сдела-

но. Как был освобождён пьяный дуралей, во что его одели и штурмовала ли чердак вместе с освободителями старушка с собакой, не знаю. Я ушла с балкона и возвратилась наконец к чтению. Как бы то ни было, человек взывал к людям о помощи, и люди ему помогли.

«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ПЕТЯ!»

Три часа летней ночи — «мёртвое» время: все спят, даже поздние гуляки отправились по домам, а ранние птички, из тех, кого именуют «жаворонками», ещё не проснулись.

«Петя, Петя!» — зовёт мужской голос в темноте. — Петя, где ты?» Голос то приближается, то удаляется, то вовсе замолкает, видимо, зовущий обошёл дом с другой стороны и его совсем не слышно. И опять прямо под окнами: «Петя! Петя!»

«Куда подевался этот чёртов Петя? И кто он? И кто его так тоскливо призывает, гей, что ли? Ищет возлюбленного своего Петю. Спать не дают, идиоты».

А мужчина всё ходит и зовёт. И чем дольше я его слушаю, тем явственнее звучит в его голосе истинная боль и тревога. «Петя! Петя! Отзовись! Где ты, Петя?» И я начинаю вместе с ним тревожиться о неизвестном мне Пете.

«Нет, это не гей, и не наркоман, и не пьяный. Но кто же он, и отчего так зовёт Петю, и где этот Петя, что с ним случилось?»

Так продолжалось не менее получаса. Тьма кругом, ни зги не видно — нету Пети. Ни за деревьями нет, ни на скамейках, ни под ними, ни в кустах — нигде Пети нет.

И вдруг при очередном круге, словно собрав все свои силы, мужчина кричит особенно пронзительно: «Петя, отзовись! Я люблю тебя, Петя!» И тут же из темноты, где множество раз безответно выкрикивали его имя, раздаётся: «Я здесь!» Чистый-чистый детский голос. И больше ничего. Тишина. Ни радости, ни выяснения отношений, ни шлепков, ни затрещин — отец нашёл своего Петю, которого он накануне чем-то обидел или напугал. Да и Петя хорош — убежал из дома и сидел в мокрых кустах до середины ночи. А теперь оба домой пошли.

Очень мне эта история понравилась. Битый час ходил-искал-кричал, а сказал единственно нужное слово, точно заветный пароль выстрелил, и тотчас отзыв в ответ — «я здесь».

Вот такие бывают ночные голоса. И не всегда люди, которым что-то не даёт спать,

поют, кричат или разговаривают. Некоторые бродят в темноте молча. Или играют на музыкальных инструментах. Раньше на гармошках, теперь чаще на гитарах. А однажды по округе бродил человек, игравший на флейте.

ГРАФИНЯ

Тихонько бормоча, Мария Ростиславовна мелким быстрым шагом спешит по улице. Юбка её метёт по асфальту, накидка с оборками взлетает за плечами, фетровый капор заимствован из пушкинской повести. И лицо такое же: со лба до задранного к носу-крючку подбородка всё, без изъятия, покрыто морщинами — точно паутина на него накинута. Глаза у Марии Ростиславовны, как у «Пиковой дамы», чёрные, огромные, огонь мечут.

Редко кто из встречаемых не задержит на ней удивлённый взгляд, а многие даже оборачиваются вослед, чтобы получше рассмотреть. А этого Марии Ростиславовне только и надо — ей внимание приятно и необходимо, ведь она актриса, колдунья, чаровница. Такою её судьба сделала.

Давным-давно произошло с нею превращение, как в сказке, но сказке страшной: она была осуждена по знаменитой 58-й статье — и надолго: включая ссылки и поселения, на восемнадцать лет. Пошла по этапу молодой женщиной редкой красоты — возвратилась старухой. Что с тем лицом, что с этим — только в кино сниматься. Более полусотни ролей сыграла Мария Ростиславовна, на всех киностудиях её знают. Не всегда, правда, в титрах называют, роли-то маленькие. Кто она? Актриса эпизодических ролей. Каких? Уникальных — гадалка, вещунья, ведьма. Второй такой во всём Советском Союзе больше нет.

Одевают Марию Ростиславовну девочки из пошивочного цеха киностудии по её эскизам «пушкинских времён». Очень шали Мария Ростиславовна любит. Накинет на колючие плечики, закутается, свечу зажжёт, и давай девочкам стихи читать. То Пушкина, то Блока. А то воспоминаниями займётся, как она с Блоком встречалась. Сама слыхала.

Лежит Мария Ростиславовна в больничной палате. Нога на ортопедической растяжке прямо в окно нацелена, а за ним снег идёт и фонарь светит — знакомая любителю Серебряного века картина. Лежит и что-то по своему обыкновению бормочет.

«Что это вы, Мария Ростиславовна, читаете?»

«Как что? — переспрашивает с недоумением. — Стихи Блока».

Не знает, что я синий восьмитомник с юных лет читаю — нет в нём таких стихов. Сама сочинила и Александру Александровичу приписала. А дальше и вовсе расфантазировалась о «личных встречах». В песочнице, что ли? Ведь когда он умер, ей и семи не было. Ну и ладно — хочет и фантазирует, она же лицедейка, у неё воображение развито.

Впрочем, почему «фантазирует»? Ведь родилась и выросла она в Петербурге. Ведут, например, шестилетнюю девочку на прогулку в Летний сад и встречают задумчивого и прекрасного поэта. «Смотри, Муся, — говорит образованная гувернантка. — Это идёт поэт Александр Блок». Разве не запомнила бы?

Но это я вслед за Марией Ростиславовной размечталась, биографию её забыла — после семнадцатого года не стало у неё ни гувернантки, ни дома, ни отца с матерью, так что в Летний сад водить её было некому, — если Блока и видела, то совсем в иных обстоятельствах.

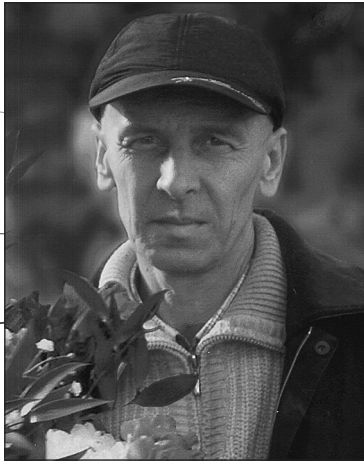
Каким образом Мария Ростиславовна допрыгалась до перелома ноги, не суть важно, она всегда быстрая была. Соседки-сверстницы её не любили — не сидела с ними на ска-

мейке у парадного, косточки встречным-поперечным не перемывала — странная такая! Бывало, только прошмыгнёт в дверь подъезда, они ей вслед шепотком: «ведьма, ведьма». И решила Мария Ростиславовна их проучить. Юркнула, как обычно, мимо кумушек к себе на второй этаж, окошко растворила и спрыгнула (а было ей под семьдесят). Отдышалась минутку, пелерину поправила и идёт опять к парадному — «здравствуйте вам!». У соседок глаза из орбит вылезли, челюсти отвалились: «Ведь только что зашла... и опять идёт! Сумасшедшие мы, что ли? Нет! Всё-таки ведьма». Не ведьма она вовсе — озорница.

Признаться, я до конца не верила в её и о ней рассказы. До её конца. А когда Мария Ростиславовна погибла, перебегая проспект у киностудии (подземных переходов она не признавала или боялась, как говорят, из-за нажитой в лагерях клаустрофобии), и её похоронили на фамильном кладбище в бывшем родовом имении на Полтавщине, поверила.

Мария Ростиславовна Капнист — праправнучка знаменитого драматурга XVIII века Василия Васильевича Капниста, наследница рода кошевого атамана Запорожской Сечи Ивана Сирко, титулованная особа, графиня.

Раиса Андреевна Беляева (урождённая Гурина, род. в Харькове) — русский литератор, мемуарист и киновед. Живёт в Киеве. В 1964—1966 гг. посещала легендарную литературную студию, которой руководил Борис Алексеевич Чичибабин. «Стихотворения Раи Гуриной совершенно не вписывались в тогдашний господствующий “стилистический стандарт”... Рая Гурина была, если допустимо так выразиться, неосознанным “обэриутом”...» (из предисловия Ю. Г. Милославского к публикации отрывков из воспоминаний Р. А. Беляевой в журнале «©оюз Писателей», 2007). О занятиях у Чичибабина Беляева написала мемуарный очерк «Дом для друзей», получивший широкую известность. Окончила филологический факультет Харьковского университета и кинофакультет Киевского института театрального искусства. Раиса Беляева — автор ряда статей, посвящённых отечественной кинематографии 1970—1990-х годов. Составила первый на Украине аннотированный научный каталог «Сто фильмов украинского кино» (Киев: Спалах, 1996), изданный к 100-летию мирового кинематографа в рамках проекта ЮНЕСКО «Национальное кинематографическое наследие». Член Союза кинематографистов Украины. Фрагменты из мемуарной повести Р. А. Гуриной (Беляевой) — «IMAGO. Записки о Холодной Горе» — публиковались в харьковском еженедельнике «Новая демократия» и в литературном журнале «©оюз Писателей» (2007). Наиболее полная версия воспоминаний опубликована в девятом выпуске альманаха «Рубеж» (2009). В 2010 г. рассказы Р. А. Гуриной (Беляевой) появились в журнале «Kreschatik» и в литературном обозрении «Зарубежные задворки» (Германия).



Валерий Прокошин

Стихи последних лет

Целый день над пустою, промокшей, булыжною площадью
Кружат птицы, которым не хочется вовсе на юг.
И куда-то спешит листопад — полудикою жёлтою лошадьё,
Только тенью касаясь лица и подставленных рук.

У торговых рядов ни души: продавцы, покупатели
Не пришли почему-то. И как-то тоскливо вокруг,
Будто вымерли все городской суеты обыватели,
Лишь бранятся под окнами несколько толстых старух.

Скоро сумерки выжмут из нас до последней кровиночки:
Затуманится взгляд и скользнёт ненароком назад,
Где столетние сосны привстали на самые цыпочки,
До конца провожая короткий осенний закат.

Сверкнёт электричка в глубоком снегу,
Просыплется с веток забытая снежность.
И в голое горло впитается нежность:
Зачем я так видеть и слышать могу?

Автобусной гарью и тесным теплом
Потом обласкает чернильная полночь,
Все звуки и краски слетятся на помощь...
Зачем мне так слышать и видеть потом?

Чердачной тоской и аптечным теплом
Окончится эта попытка соблазна.
И только душа, как чужая, согласна
Всё видеть, и слышать, и помнить потом.

Воскресенье. Вечер. Вечность.
Запах прелости вокруг.
И просвечивает местность
Через кожу тонких рук.

Стая галок — чёрной речкой,
Будто смысла купола.
И закат церковной свечкой
Тихо льётся на поля.

И почти совсем без сил
Оседают пыль и пепел.
Что-то колокол спросил,
Что-то колокол ответил...

Николаю Милову

В жаркий полдень июля небесная тишь
Наполняет проёмы колодцев.
Неприкаянным ангелом, друг мой, летишь
За расколотым солнцем.

Задевая июльской листвы кружева,
Два зрачка пропитались слезами.
Но ещё в них покамест наивность жива —
Восхищаться друзьями.

Мимо окон и мимо обветренных крыш,
И жилищ окаянных уродцев
Неприкаянным ангелом, друг мой, летишь
За расколотым солнцем.

Так прохожих своих задевая крылом,
Пролетает прозрачайший ветер.
Странно-странно потом и печально притом,
Будто ангела встретил.

Ты включаешь спозаранку свой пейзаж:
Небо, речку, поле, лес — и входишь в раж,
Повторяю за тобою: «Отче нашъ...»

Столько радости во всём, что я учу!
Хорошо, что ночь закончилась вничью.
Одеваюсь, выхожу, иду к ручью.

Вдоль сугробов, мимо церкви, словно вброд.
Улыбаюсь — на губах вчерашний мёд.
День шестой. Кричат вороны. Снег идёт.

Жизнь течёт, перетекает через край,
Ощущение, что где-то рядом рай,
Только ты его пока не открывай.

Пусть он будет, словно ангельская весть —
В воскресенье. А пока сейчас и здесь
Повторяю за тобою: «Даждь нам днесь...»

Зимой в Крыму почти тоска, воспоминаний хмель,
И чаще прозе, чем стихам, отстёгиваешь дань.
Уехать бы ко всем чертям за тридевять земель —
В Казань, Рязань, Тмутаракань... короче, в глухомань,
И пусть состарившийся Бог качает колыбель.

Зимою Крым со стороны похож на акварель,
Я помню этот сон во сне в разводах января:
Пастель двух обнажённых тел, струящихся в постель,
И виноградный свет луны в осколках янтаря...
Зачем мне через двадцать лет озябший Коктебель?

Зимою память слаще, чем из детства карамель,
И я сквозь горечь лет не раз заглядывал за грань
Своей любви, когда спешил за тридевять земель —
В Нахичевань, Назрань, Тайвань... в любую глухомань.
Но всюду Бог. Он до сих пор качает колыбель.

Ворованный воздух	
после онкологического центра каждый глоток воздуха похож на воровство	
1	
вот те Бог, он сказал и кивнул то ли вверх, то ли просто вбок вот порог, он добавил, ступай. И я шагнул за порог я дышал ворованным воздухом — и надышаться не мог	
я не мог говорить, я боялся, что мимо спешащий Бог попрекнёт ворованным воздухом, взятым как будто в долг что ему все эти тексты, фразы, слова и даже слог	
я боялся Бога — Он был справедлив, но капризен и строг я молчал всё утро, весь день и всё утро, я падал с ног и ворованный воздух, сгущаясь, чернел, превращался в смог	
ночь упала плашмя у ног, как непрожитой жизни итог итога: ворованный воздух гудит в проводах вдоль дорог всё напрасно, Господи, слышишь? ... Слышит, слышит — на то и Бог	
не воруй, говорит, даже воздух, добавил. А сам-то, сам то и дело шепчет, я слышал, вздыхая: сим-сим, Сезам видно, трудно ему не дышать, привыкая к чужим слезам	
3	4
Сад осенний, сад вишнёвый, сад больничный — То ли Чехов, то ли Бунин & Толстой. Разговаривать о Боге, как о личном, С пожилою, некрасивой медсестрой.	Итак: преднизолон, ранитидин и но-шпа, И капельницы плач, и редкий свет в окне, А по утрам тошнит, а вечером так тошно, Как будто жизнь сгорает на медленном огне.
Вдруг сравнить себя с собакою на сене — Между ангелом и бесом... А вокруг Сад вишнёвый, сад больничный, сад осенний По-библейски замыкает ближний круг.	Итак: рентген груди, потом — бронхоскопия. Под подозрением всё: и сердце, и душа. По венам яд течет, страшней, чем ностальгия, И пахнет спиртом кровь под лезвием ножа.
Вот и бродишь в нём почти умалишённый С продолжением истории простой: Сад больничный, сад осенний, сад вишнёвый — Гефсиманский, год две тысячи шестой.	Итак: девятисил, ромашка и фиалка — Всё выпито до дна из Чаши «Общепит». Душа летит на свет. И ничего не жалко — Душа на свет летит...
6	
нагрешил, говорит, не глядя, мол, все заповеди нарушил даже те, говорит, которые и писать было запаadlo свет, горевший внутри стекла, обжигает теперь снаружи тьма мешается под ногами, молча дёргает за подол	
нагрешил, повторяет, сука, мол, поймал, говорит, с поличным и показывает, мол, fuck you, и прикуривает от свечи и стою голышом, как в детстве, пожимаю плечом по-птичьи прижимаю нательный крестик — он же сам меня приручил	

нагрешил, говорит, с лихвою, поколений примерно на пять не отмыться, не отстираться, не отмазаться одному свет, скользкий поверх стекла, выжигает напалмом память серафимы стоят в прихожей, безразличные ко всему	
нагрешил, говорит, и баста, собирай, мол, свои манатки и ступай, типа, по этапу, отправляйся, куда скажу и идут эти трое следом, наступая почти на пятки свет, горевший внутри меня, льётся сваркою по этажу	
* * *	
Андрею Коровину	
Если к Чёрному морю однажды приехать — больным, одиноким, расстроенным, если моря не видеть, а лишь представлять, словно Морис Дрюон. Пить весь день, пить весь вечер, всю ночь коктебельский коньяк с непутёвым Коровиным, вспоминая всё время другую Итаку — советских времён. Мы там были и пили — по три шестьдесят две, в обычную русскую складчину, но с французским душком были и речи, и мысли, и помыслы все... революция, родина... только потом вечно скатывались в азиатчину: всё про женщин, про баб, про блядей, и какой, мол, дурак Одиссей. Мы там были на этой Итаке, скажи, мы клялись, что не будем такими же, если что — не вернёмся ни к падшей жене, ни к пропащей стране... Если к морю приехать больным, постаревшим, короче, с затасканным имиджем — в темноте это Чёрное море по чёрному черным вдвойне. К опустевшему берегу, дикому пляжу спускается пьяная улица: кто там голый по пояс стоит? Отвернусь от его наготы. И на счёт раз-два-три повернусь и увижу, что море совсем не волнуется, что его не волнуют ни Понтий, ни Понт, ни чужие понты.	
* * *	
Подумаешь, зима — глухое время года: Кричи — не докричишься, в конце туннеля — снег. Вино с добавкой спирта и хлеб с добавкой йода, И самый первый грех.	
Край неба, посмотри, в серебряной наолке, И катится куда-то луны пустой пятак. Мне холодно, мессир, у новогодней ёлки И одиноко так.	
Скажи мне, что я лох, как пресловутый Грека, Скажи мне, что я ЧМО, какой-нибудь Ван Гог. Мессир, мне все равно, зима какого века Лежит у наших ног.	
Мессир, я так устал, что хочется покоя В какой-нибудь стране, где только снег и свет. Не говори мне: да, м.б. и всё такое, Не говори мне: нет.	

* * *

А помнишь, мы с тобой снеговика лепили —
Из снега, слов и слёз. Мы маленькими были.
Тень Спаса на Крови сползала вбок к реке.
Сугробы вверх росли, за облака цеплялись.
И нас никто не видел... И мы поцеловались,
И кто-то «Отче наш» запел невдалеке.

Свет падал столько зим в протянутые руки,
Что кончились давно все встречи и разлуки.
«А снеговик растаял», — я грустно говорю.
Но вот опять зима. У снега вкус ванили.
Сегодня мне с утра из Боровска звонили:
Там тоже всё в снегу, как в детстве, как в раю.

* * *

Утро: плывут облака — полусонные все,
Воздух прозрачен — настоян на детской слезе.
Если вглядеться, тогда далеко-далеко
Можно увидеть, как ангелы пьют молоко.

Птицы поют — сочиняют, конечно, с утра,
Может, поверю, что жизнь в основном из добра.
Если прислушаться, слышно: над зеленью крон
Ангелы тихо, как дети, считают ворон.

Странное время — течёт через край бытия,
Словно молочная речка из детского дня,
Чтобы отмыть от соблазнов и зренья, и слух,
Сердце, и грешную душу, и, может быть, дух.

Валерий Прокошин родился в деревне Буда Калужской области в 1959 г. Окончил Ермолинское ПТУ. Работал электриком, кочегаром, редактором на городском телевидении, сотрудником Центра социальной помощи. Подборки стихотворений публиковались в журналах «Новый мир», «Крещатик», «День и ночь», «Дети Ра», «Новый Берег», «Волга — XXI век», «Подъём», «Футурум АРТ» и других, а также в альманахе «Илья» и коллективных сборниках. Автор книг стихотворений «Поводырь души» (1991), «Боровск. Провинция» (1992), «Между Пушкиным и Бродским» (2006), «Ворованный воздух» (2011), а также «Новая сказка о рыбаке и рыбке» (1999 и 2000) и «Прогулки по Боровску» (2008 — обе совместно с Э. Частиковой). Автор нескольких детских книг и книг прозы (в том числе под различными псевдонимами). Лауреат литературных премий им. Валентина Берестова, им. Марины Цветаевой, дипломант Международного Волошинского конкурса (2004 и 2006). Жил в г. Обнинске. Скончался 17 февраля 2009 года. Похоронен в г. Ермолино Калужской области.



Марина Анашкевич

Меняю гроб на небо

Могуче сердце твоё, о Великая, ставшая Небом. Наполняешь ты всякое место своею красотой. Земля вся лежит пред тобою — ты охватила её, окружила и землю, и вещи все своими руками.

«Тексты пирамид»

Любое движение камерой должно быть оправданно и обязательно должно начинаться и заканчиваться статикой.

Из правил видеосъёмки

Всё началось с пирамид Гизы. Предупреждали ведь его: внутри пирамиды вещество изменяет свои физико-химические свойства, и тех, кто сунется туда, ждёт расплата. Но он рассудил здраво: пусть боятся те, кому эти громадины покоя не дают, а ему фиолетово — есть они, нет ли... Его дело снимать то, что скажут. Понятно, что за домашнее видео хороших бабок не платят, но деньги не главное. Съёмка на грани фолы, за щитом с надписью CLOSED — то, что доктор прописал: риск держит мужика в тонусе. В тридцать пять главное, чтоб не дрябли мышцы живота.

Но кто бы мог предвидеть такой выброс адреналина в кровь! Как увидел её за стойкой бара — ноги от шеи заплела в косу, — так и пас её с той секунды краем глаза. Развитое боковое зрение — тоже мужской признак. Она, слежку почуяв, оглянулась. Подошёл. Познакомились: Андрей. Люба. Улететь из России, чтобы на второй день встретить землячку! По коктейлю?

— Вообще-то, Андрей, я уважаю русскую водку.

— Ну надо же, Любаша, какое совпадение! Он угощал, но она не позволила. Этот предупредительный выстрел он пропустил — видно, увлёкся подсчётом веснушек на носике. Он — вольный охотник, наёмник при группе учёных, снимающих фильм-бомбу под названием «Другая история», она и вовсе сама по себе, якобы туристка. И землячка только наполовину: сейчас живёт в Канаде, куда в начале девяностых уехали дед с бабушкой, прихватив с собой единственную ценность — пятилетнюю внучку. Преподаёт в русскоязычном колледже, в небольшом городке близ Торонто. В России проводит лето, пятый год подряд, с июня по август. На даче с отцом. А на зимние каникулы — в Европу или в тёплые края, куда клубочек покатится. В Египте — первый раз.

Так и сказала: «клубочек». Словоохотливая, строит из себя взрослую, видно, не так давно

дорвалась до свободы, — на вид не больше двадцати пяти. Про свои «клубочки» он помалкивал (волка ноги кормят, и ночует он с кем придётся, а семейным логовом обзавестись недосуг), про работу тоже молчок — подписал контракт о неразглашении информации до выхода фильма в эфир. В Египте мало что разрешают снимать легально, да и туристов — не протолкнёшься. Впрочем, чем больше народу, тем легче затеряться тому, кто хочет быть незамеченным.

Она сама начала эту тему, что здешний туризм убивает двух зайцев: это и прикрытие и бизнес одновременно. У него даже промелькнула мысль, не подсадка ли девица красная? Напрасно старается, он бит-перебит, как мячик для гольфа, и привык держать рот на замке.

А вот красotka не умолкала, делясь с ним познаниями по части артефактов, опровергающих классическую египтологию, и со стороны выглядело так, будто она говорит сама с собой. Он её хотел, но не слушал, привычно консервируя бабий трёп вне пределов запоминания, пропускающая в себя процентов пять полезной информации: имя, замужем или нет, номер в гостинице и прочее. А что она там преподаёт, какой курс читает, что за статьи пишет для женских журналов. Американских, шведских, немецких... А вот в русских одни отказы (ну надо же, какая невезуха!) под прикрытием фраз, что тема неактуальна. Да и нет в России аналогичных изданий по причине отсутствия научной базы, мужского шовинизма и церковного мракобесия. Русские женщины хоть и не в паранджах, но столь же неправы, как и здешние.

Ба, во что он вляпался! Такие ножки, а в нагрузку рожки. В худшем случае его ждёт курс лекций на тему «Долой пережитки патриархата!», а в лучшем — предпочтительность позы «женщина на мужчине верхом». Водку глушит наравне с ним, а ведь соплячка ещё. Но, поскольку в здешней гостинице нет более приличных вариантов, а за оградой — лишь тени в паранджах и голодные до таких вот полураздетых бабченок белянок местные черноглазые зверьки, то...

— Никогда не видел живых феминисток, при этом ещё и красавиц. Редкое сочетание.

— Я не феминистка, — блеснула зубками, — ну, в том смысле, который вы вкладываете. (А комплимента вроде как не заметила.)

— Все феминистки, Андрей, так или иначе обслуживают мужской мир. Женское движение за равноправие — это диверсия, нацеленная в будущее. Цель — перекрыть женщину под мужчину, сделать не берегиней, а разрушительницей. Есть женщины, их мало осталось, которые против того... — Она помолчала, раз-

мышляя, говорить ему или нет. — Чтоб планету превратили в большой могильник. Я — из них. Теперь понятно?

— Более чем.

Её веснушчатая самоуверенность восхищала. Смешать в одну кучу туризм, феминизм и шовинизм простительно только такой милашке.

Бармен наполнил ей третью рюмку, и он не утерпел — не любил спать с пьяными бабами:

— Не многовато ли пьёшь?

— Не пью, а лечусь. — Его «ты» она как будто не заметила. — Горло болит, не хочу свалиться. Говорили, здесь зима как у нас лето, и я не взяла куртку. Надо бы купить, да одной на улицу выходить страшно.

— Скажи свой размер.

Так он устроен — действовать без раздумий, и она, чуть с опозданием поняв, что дала ему повод и он хочет купить её на ночь за куртку, громко рассмеялась. После четвёртой рюмки расплачется, как пить дать.

Время шло к ночи, а с утра у него съёмка — спускаться и подниматься с камерой наперевес по узким проходам и прыгать по камням, обсыпанным щебёнкой, ещё та работёнка, и ради экономии сил надо кратчайшим путём отнести «веснушку» из бара в свой номер. Девки его любили, хотя и ростом не вышел, зато жилистый и наглый, и в успехе он не сомневался. Так повелось с юных лет: на танцплощадке в райцентре, куда он шёл как на смену — сутки через трое, он задавал избраннице только два вопроса: ко мне? К тебе?

— Хотя... подарки нужно делать мне, у меня сегодня день рожденья. — Он исправлял ошибку на ходу, поскольку она положила деньги на стойку, собираясь уходить. Не понравилось, что приняли за шлюху. День рождения у него в июне, а сейчас — конец декабря. Избитый приём, но такие как раз и срабатывают.

— Правда? Поздравляю! — Бабушкина внучка снова засмеялась, она хмелела с каждой минутой. — Значит, ты зимний Сунчарион?

— Не понял.

— Солнцеворот по-нашему. Сегодня — зимнее солнцестояние.

— Вот как? Буду знать.

— А я — звать тебя Сун... ой! ...чарион. Ты не против?

— Я против, чтоб ты заболела. Поэтому предлагаю подняться ко мне, обещаю, что исцелю тебя в два счёта.

— Ты не маньяк? — Она не замечала, что ухватила за него, как за поручень в метро.

— Нет, я Сунчарион, ты забыла?

Бармен подмигнул ему, хотя ни слова не понимал по-русски.

В номере, припомнил он, есть водка, какие-то консервы, финики и кофе. Можно заказать шампанского. Но лёгкий успех оказался иллюзией — радостная, что заполучила сопровождающего, она потащила его на улицу, в стремлении во что бы то ни стало купить ему подарок — здешние лавки торгуют до одиннадцати, ещё есть полчаса! Заверения, что лучший подарок — она сама, не имели эффекта. Её знобило, и пришлось отдать свою куртку. Однако и этой жертвы было мало. Поиски подарка в ночи, а именно амулета в виде солнечного диска или спиральной галактики, как она себе представляла, увенчались тем, что они оказались на другом конце города, куда их завёз таксист, знающий по-английски не более десяти слов и уверяющий на пальцах, что в этом районе можно найти и солнце и луну, а аптек как звёзд на небе. Хотя бы один плюс: в придачу к жаропонижающему он купит презервативы.

Таким цыпочкам, как она, Каир лучше смотреть, не высовываясь из такси. Кружение по городу наугад — дорогое удовольствие, но больше злила трата времени впустую, а женский треп об устройстве Вселенной веселил. Чтоб угодить туристам из Раши, таксист прокручивал единственную в его арсенале русскую песню, как нельзя лучше подходящую к моменту:

«Ты мне одна желанная, солнышко мое долгожданное...»

Куда бы они ни сворачивали в этой части города, со всех точек обзора маячил трёхгранный, подсвеченный прожекторами, абсолютно плоский призрак пирамид — одно дело видеть их на картинке, и совсем другое — живую: их совершенно надмирный облик говорил о том, что воздвигнуть подобное не под силу людям. Снимать каменное высокомерие что отсюда, что оттуда — дело, в общем-то, неблагоприятное, это любой профи подтвердит: три одинаковых плана подряд — всё равно что три бутылки водки залпом. Эту работу он сделал вчера: пирамиды с видом на пески, пирамиды с видом на город, подошедший к ним вплотную и съевший пустыню, когда-то выпившую Нил... Сфинкс, лежащий в ста метрах от крикливых кварталов и смотрящий ежевечернее шоу для туристов «Звук и свет».

— Нас со школы приучили к мысли, что пирамиды — это гробницы, а это никакие не гробницы. Лично мне они кажутся окаменевшими грудями богини пустыни.

Голос её, низкий, певучий, к тому же с лёгким акцентом, а вернее, позабытым дореволю-

ционно театральным произношением русских слов, возбуждал сам по себе, помимо смысла произносимого:

— Я не сильна в технике, но это явно что-то вроде гигантских трансформаторов... а может, бомбоубежищ...

Она даже не представляла, насколько близка к истине. Вернее, к гипотезе нанявших его людей, не согласных с официальной наукой. Технари и гуманитарии, с научными степенями и без, все до единого вели себя как увлечённые пазлами дети, с дотошностью исследуя тщательно подогнанные друг к другу гигантские блоки из гранита, порядка ста тонн. «Сегодня во всём мире лишь несколько кранов, способных поднять такой вес!» — рассуждали они вслух. Он и сам не слепой: рядом со щербатой, более поздней кладкой лежали плиты, поражающие гладкостью облицовки, с идеально ровными гранями, будто по ним прошлись дисковой пилой с алмазными насадками. Гранит и базальт — самую твёрдую породу, будто масло, резали либо лазером, либо инструментом гораздо более прочным, чем современный. Примитивной киркой такое не сотворишь.

Как он понял из заявлений на камеру учёных, всё указывало на то, что пирамиды — это энергетические установки более древней, дофараоновой цивилизации. Кто-то подметил схожесть каменного ансамбля с устройством микросхемы, выдвинув версию, что это, возможно, геокомпьютер, созданный теми, кого фараоны считали богами. В связи с этим напрашивался вывод, что все земные войны ведутся не из-за религиозных разногласий и даже не ради чужих территорий и ресурсов, а за доступ к некоему portalу, для подключения к информационному полю Вселенной...

Лет десять назад он и сам был бы в восторге от подобных открытий, но полжизни работы с людьми, жадными до жареного и рабски преданными телевышке с всевидящим оком, сделали своё дело: он уже давно ничему не удивлялся. Кто много видел, тот почти мертвец.

Но только не с обжигающей «веснушкой»... Чего они тут забыли? А могли бы кувыряться в постели себе в удовольствие... Что она ищет в лавчонках с таким упорством? Местными сувенирами его не удивишь. Их тут такое количество, что фараоны в гробах поворачиваются: здешнее «софрино» штампует египетские божества из всех подручных материалов, разве что не из песка. На той земле, где пели гимны крылатому Солнцу, нынче лежат ничком под бляеные муэдзинов, молясь тому, кого нельзя изображать под страхом смерти. Однако от Ока

Гора некуда деться, живущее отдельно от тела не только в мифах вытворяет чудеса самостоятельности, и популярность его среди живущих смертных зашкаливает рейтинги: глаз в треуголке надзирает с долларов и стен, ведь видеокамера — клон Ока в техническом воплощении. Ибо сказано: жить в камере и быть свободным от камеры нельзя.

Бабушкина внучка скоро прозрела, убедившись воочию, что Каир — огромный, бурлящий, грязный базар — мало чем отличается от столиц мира: торговые ряды тут на каждом сантиметре, и ночью здесь, как и везде, можно купить проститутку, выпивку, героин, оружие и презервативы на любой вкус, но не подарок Сунчариону.

Он коснулся плеча араба, потного, как ишак.

— Давай, брат, в сайдалэю, и сразу назад, в отель. Уложишься в полчаса, кладу вдвое.

Стоит зверькам показать зелёную бумажку или египетский фунт, и им становятся понятны все языки мира, включая мёртвые.

Час ночи. Любаша не наблюдала часов, бывши под градусом в обоих смыслах, — он чувствовал её жар и хотел её такую, распалённую, с большим горлом, с болтливым, но сладким языком. Она пела ему пылко о том, что жизнь в организованном хаосе совсем не есть космос, и неужели предел человеческих мечтаний — иметь в личном авто аптечку, огнетушитель и видеорегистратор? Увлёкшись умным монологом, она разрешала гладить свои ноги, но до определённого предела, а именно матерчатой черты короткой обтягивающей юбки.

— Сначала я удивлялась, что за тяга такая у них: всё, включая пирамиды, превратить в хранилище для трупов?

Кто такие «они» — понять было сложно. Куда лучше он понимал жадного, сексуально озабоченного молодого араба, зарабатывающего на калым. Впрочем, как и тот его, — мужская солидарность! Два раза проехали на красный — при полном отсутствии правил дорожного движения это как два пальца...

— Любому здравомыслящему человеку ясно, — вклинилась она, — что пирамиды такие же гробницы, как горы — трамплин для горнолыжников! Когда они поняли, что не могут использовать эту мощь в своих целях, то и приспособили под своеобразный морг. Расчёт верный: в царскую гробницу не каждый смельчак рискнёт сунуться, заодно и мумии в отличном состоянии! Но христиане переплюнули египтян по этой части. Вот скажи мне, зачем в храме гроб? Пустой гроб в алтаре? Ведь их Бог воскрес? Так?

Её не смущало отсутствие ответов на вопросы. Он же сдвигал матерчатую границу всё выше и выше. Она возвращала её на место, сопротивление горячих сухих рук, нечаянное царапанье ногтями сводило его с ума, он дрожал как десятиклассник, а ей хоть бы что, главное — договорить, будто в этом смысл всей девичьей жизни. Вот балаболка!

— Так нет, им мало одного, главного Гроба, они его ещё и размножили — что ни храм, то гроб... Всю землю заставили гробами! Ты видел в пирамидах — эти, как их... — она пощёлкала пальцами.

— Саркофаги.

— Да, они... Это ведь не гробы вовсе, а место настройки на... — тут её познаний не хватало, — ну, ты понимаешь! Либо то, что там хранилось, изъяли, а мумии поместили позже — не пропадать же добру! В Иерусалиме — гроб, в русском Новом Иерусалиме, я ездила туда летом, чтоб убедиться, — точный клон. И ещё тысячи, тысячи клонов... Я знаю, чего они хотят... превратить Землю в морг.

Таксист всё чаще зыркал на неё, он заметно нервничал, словно был не поклонником луны, а христианином, которому предстоит каяться на исповеди, что внимал богохульным речам. Впрочем, желания зверька понятны: они идентичны чаяниям русского парня с крестом на груди, и если б не он, по кличке Серый, стерегущий свою добычу от шоколадного шакала, кто знает...

— Вот ты ответь мне, — приставала она, — почему «Книга мёртвых»? Почему мёртвых, а не живых? Почему все они говорят о свете, о жизни, о продолжении рода, о победе над смертью, а сами хороводы водят — по ночам, при луне, против часовой стрелки, вокруг чёрных квадратов, агнца режут в алтарях, кровь его пьют, давят друг друга до смерти, целуют кости в гробах, умерщвляют плоть? Ненавидят солнце? Почему?

Хм. Не слишком ли много вопросов к смотрящему на весь этот чёртов мир сквозь объектив камеры? Об упырях базарить — самому не жить.

— Мои бабушка с дедушкой...

Араб притормозил, тыча пальцем в вывеску круглосуточной аптеки.

— Про бабушку с дедушкой давай позже, ладно? Я скоро, лапуля.

Самому впору принять аспирин. Ему передалась её воспалённая возбуждённость — тела, мыслей, полная заикленность на гробах, сродни сумасшествию. Он не исключал, что она продолжает рассказ в его отсутствие. Может, из

канадской психушки сбежала? Годами наработанные приёмы в отношениях с женщинами с ней не проходили, всё мимо. Точно ненормальная. Расплачиваясь, следил сквозь стёкла витрины за такси — кто её знает, вдруг передумает, скажет арабу сваливать, либо тот сам решит завезти её в тёмный уголок. Случись такое, пробив витрину, догнал бы их в три прыжка, своей добычи он не отдаст.

Нет, сидит на заднем сиденье паинькой, плотно сжав колени и обхватив себя руками, в глазах — лихорадочный блеск. Видно, ничто так не ценят девушки в мужчинах, как хороших слушателей, платёжеспособных к тому же.

— Ну, так что бабушка? — Он обнял её за плечи.

— Сунчарион, я ведь серьёзно, вот ты послушай: «Срубил, смеясь, он корни до основ, что Древо Жизни острова держали...»

Класс. Умопомрачительная деваха!

— Я это к тому, что моей бабушке семьдесят лет, а дедушке — под восемьдесят. Ты не поверишь, но родители — папа с мамой, которым на двоих всего сто, выглядят намного старше!

— Видимо, жизнь в Канаде в разы отличается от нашей. — Он втягивался в разговор без явного желания на то.

— Нет, нет, я не об этом — они душой старше, и чем только не больны! И все их болезни — от безразличия к жизни! Дедуля с бабулей — дети войны, а мать с отцом, казалось бы, росли в благополучное время... А в итоге — полная беспомощность. Отец спивается в одиночестве, а мать... — Она помолчала. Её трясло. — Послушница при монастыре, с высшим образованием, моет полы. Монастырь мужской, а уборщицы истряпухи в нём женщины. Бабушка с дедом потому и увезли меня с собой, чтоб мать не затаскала по монастырям. Мечта её жизни — отправиться к Гробу Господню, а собственных родителей ненавидит за то, что не дают ей денег на поездку. Привыкла кланяться у всех.

— А тебе — слабо подкинуть? Сама, как полагаю, катаешься... — Он даже руки перестал распускать: тоже удовольствие — слушать про чьи-то семейные дразги. — Кому к пирамидам охота, кому к Гробу — каждому своё.

Глядя на лунное око в чёрном глянце, подсвеченные колья минаретов — ну чем не возбуждённые от близости неба фаллосы? — добавил:

— Лучше храмы, чем бордели.

— Хра-а-мы? — обожгла она дыханием, градусов под сорок. — По-твоему, храм — это место для гроба? Вот здорово! А знаешь, чем был храм в древности? Хранилищем огня! Местом, где поддерживали огонь, поэтому и покло-

нялись, но силе жизни! Земля — вот храм, под куполом неба, а внутри неё — огонь! Они говорят, что тоже — за Жизнь, а что видим? Гроб, распятие! Свечи для отвода глаз, понимаешь? И самое кощунство как раз в том, что женщина не допускается в алтарь, как грязное, грешное существо, а в древности храмовый огонь поддерживали весталки, и, коль на то пошло, — в древних культурах женщина сама почиталась как алтарь, на котором мужчиной высекался огонь...

Он притянул её к себе. Губы горячие, перекошенные, колючие. И совсем не умеет целоваться. Она не сопротивлялась, но когда он её отпустил, продолжила, как ни в чём не бывало:

— Недаром за женщиной, поддерживающей огонь, был закреплён статус хранительницы очага. У древних египтян, кстати, два варианта сотворения мира, и оба связаны с огнём: согласно первому, из вод вышел холм, на нём распустился лотос, в котором сидело дитя — Солнце, осветившее мрак. Второй попроще: Солнце-яйцо снесла на холме Птица, и...

Огнепоклонница хоть заметила, что он поцеловал её? Огонь-то поддерживала, в этом ей не откажешь: сама пылала и его с ума сводила — и блеском глаз, и сухими губами, плечами, нежно беззащитными под грубой джинсой его куртки. Но больше всего, как ни странно, она заводила его своей полной отстранённостью, при том, что разрешала гладить колени и целовать себя.

Уже в гостинице, в лифте, спросила:

— А куда мы едем? Мой этаж — третий.

— А мой — девятый. Уже приехали.

Воспротивилась откровенным ласкам лишь в номере: «Не надо, не сейчас, пожалуйста...» И как последний аргумент: «Ты заразишься ангиной...»

«Хоть хуиной», — выдохнул он и, совсем сойдя с катушек, пригрозил, что если она не даст — так и сказал, — то он её изнасилует, а потом сядет. Поэтому лучше добровольно. И она — что-то обречённое мелькнуло в глазах — обмякла, уступила. Вот вам и феминистка редкостной масти, с помесью весталки. Все они одинаковы.

Прикол был в том, что он оказался у неё первым. Он спросил, уже после, сколько ей стукнуло. Двадцать четыре? Поздновато по нынешним временам, но это про себя подумал. И вдруг, будто трещина в сердце образовалась, засочилась, сначала по капле, нежность к этой дурёхе, отдавшейся первому встречному вдали от любящих дедушки с бабушкой. В номере второсортной гостиницы с фосфоресцирующими звёздами на потолке... Развёл ей аспирин, заставил выпить. Укутал в простыню, в свои

руки, и оттого, что она пискнула «спасибо», стуча зубами от озноба, чувство хлынуло волной, перехватив горло. Прежде за ним такого не водилось. Что не то что все пальцы на её руках, ногах готов перецеловать, туфельки тоже. Крохотные такие по сравнению с его кроссовками сорок четвёртого размера, что рядом валялись. Когда пошёл в душ, задвинул их под кровать с глаз долой. Как прилетел сюда — ни разу не брился, а тут чуть ли не кожу соскрёб со скул.

Вернулся, а она спит. Дышит ртом, часто и тяжело, как собачка. Горит вся. Другую бы растолкал без жалости, а тут шевельнуться боится, чтоб не разбудить. Но вот затихла, дыхание стало глубоким, ровным. Дотронулся, а она мокрая — пропотела. Приподнявшись на локте, смотрел на посеребрённое луной лицо, веснушки сосчитал на девичьем носу. Девять штук рыжих искр, крохотных и побольше.

В пять с копейками с минарета заблеял муэдзин, усиленный громкоговорителем голос, как ни странно, убаюкивал. Полчаса от силы удалось вздремнуть. Сквозь сон слышал, как льётся вода в душе, — то ли она плещется, то ли кран не закрыл, и при этом он разгребал песок, в который она погружалась тем стремительнее, чем быстрее он работал руками. И вот от неё остались лишь пирамидки грудей с розовыми сосками на вершинах... А проснулся от чувства прохладного тела рядом, сгрёб под себя чисто машинально. Узнал по губам — они опять кололись — да что ж это такое? Зато раскрытое для него лоно — влажно и жарко, а кожа ног — чистый атлас. Груды острые, маленькие совсем, но ему нравились такие, чтоб помещались в ладонь.

Вылечил, как и обещал. Занятия любовью — лучшее лекарство. Снова болтала без умолку, не сожалея, видно, особо об утрате девства и не замечая, как он поглядывает на часы. Если коротко, то речь её снова сводилась к тому, что против женщины с древности ведётся необъявленная война и что в историю та вошла рабой своего отца, мужа, старшего брата, сына, начальника, любовника — можно перечислять до бесконечности. И всё это — работа хитрых жрецов, а те, в свою очередь, служат нелюдям, уничтожающим жизнь на планете.

— Они сделали мужчину своим союзником, внушив ему право на женщину и тем самым посеяв вражду... А басня про Еву до сих пор отравляет мозг людям...

Ей что, больше поговорить не о чем? Он слушал, думая, что небитой бабушкиной внучке в каком-то смысле повезло с «серым волком»: он всегда жалел мать и заступался за неё, когда отец пускал в ход кулаки, за что мелкому ему ча-

стенько перепадало самому. Но насчёт вражды онахватила через край, взять хотя бы его: ничто он так не любит на свете, как женщин!

— И сколько таких басен ещё! Тот же миф о Прометее, похитившем огонь, — подложный жреческий миф, отнявший у женщины первенство, — это ведь она добытчица огня! Знаешь, что я заметила здесь? Самые древние статуи фараона и его жены — равновеликие, как близнецы: оба сидят на тронах и оба одинакового роста, но чем позднее и ближе к нашему времени, тем стремительнее уменьшается фигурка фараонши, и она, заметь, уже не сидит рядом, а стоит возле трона «сына бога»! Махонькая такая, будто кукла Барби!

Ему хотелось возразить ей, что разница в росте между мужчиной и женщиной естественна, но самолюбие при этом кольнуло: ведь если она встанет на высокие каблуки, это будет уже не в его пользу. Впрочем, сила-то оставалась на его стороне, и, чтоб девушка лишний раз почувствовала это, он прижал её к себе так, что заставил охнуть.

Температура у неё спала. Только чуть посапывала, уткнувшись носом ему в шею. Было щекотно, но он терпел, сердце при этом сладко ныло. Вдохнув, она спросила, чем он надушился.

- Обычный крем для бритья.
- Приятно пахнет.
- Значит, носоглотка в порядке.
- Что-что?

— Проехали. Завтракать будешь? Давай одевайся пошустрее, в номер ждать долго, мы ж не графья, а простые смертные, которым надо вкалывать.

Не слишком любезно предложил, да ещё и с сентенцией, специально, чтоб дать понять случайной, в общем, знакомой, что их пути-дорожки сразу после завтрака начнут неуклонно расходиться в стороны. Ночное хрупкое чувство испарилось, как не было. Комариный укус и тот больший след оставляет. Что ж. Он вёл себя по-мужски: вылечил от ангины, и хоть испортил, но не обрюхатил, за это ручается. К тому же готов накормить.

Она смолотила всё, включая десерт из фиников, с такой скоростью, что ему подумалось: может, у неё ни гроша за душой и подкинуть ей денег? Впрочем, перебьётся: бабушка с дедушкой перешлют... Она облизнула смягчённые поцелуями, порозовевшие губы (странным: сухие и колючие хотелось целовать, а мягкие как лепестки — нет).

Завтракали одни — ещё довольно рано, да и зима, не сезон. Но народец скоро подтянется —

Рождество не за горами. И тут, подперев щеку кулачком, она и выдала ему напоследок:

— Знаешь... Не хочу в гроб. Не хочу гнить, чтоб черви ели.

Её не смущало, что рядом с ней кто-то доедает свой омлет с ветчиной, и она добавила:

— Лучше всего в самолёте взорваться, над океаном.

Так и поперхнуться можно. До него наконец дошло: бабушкина внучка предпочитала погребению в земле кремацию. Не рановато ли думать об этом с такими-то ножками? А может, его пытаются разжалобить и это своего рода шантаж?

— В океане рыбы, — он невозмутимо допил свой кофе. — Акулы. Они тоже любят покушать и слопают твои останки за милую душу!

— Полностью сгореть, без остатка, понимаешь?

Его это даже забавляло.

— Без остатка вряд ли получится. Хотя... как гореть, конечно.

Она задумалась. Глаза грустные, смотрят мимо него и сквозь стену.

— Только в огонь. А прах — по ветру. Над морем, нет, лучше рекой, над холмами, лесом... Только не над пустыней...

Он отшутился, что вряд ли её мечта сгореть в самолёте сбудется: сильное желание часто препятствует нашим планам. Задержался ещё на пару минут, чтоб сбросить на её номер свой сотовый (поспевал теперь к месту сбора только бегом, благо камера в машине на стоянке): звони, если залетишь в Москву, жар-птичка. Его это ни к чему не обязывало, а даме своеобразный бонус. Встретиться вечером или завтра, увы, не получится — график напряжённый. Сегодня в Гизу, потом Медум, Саккара. Послезавтра — Луксор, Асуан.

— С собой взять не могу — у нас мужская компания, извини, а женщина на корабле, сама понимаешь...

Она и бровью не повела. Гордая, само собой. Гордые женщины — подарок для мужчины, когда он сыт и выжат как лимон одновременно. Хотя... женщина она со вчерашнего дня, а точнее — с сегодняшнего. И в этом — заслуга его фаллического огня, в чём она убедилась на практике. Всё-таки чертовски приятно первому раскрывать алтарные врата!

— Ну, солнце, будь здорова, меня ждут, — небрежно бросил прощальный жест. Она осталась в пластиковом кресле, не шелохнувшись, с прямой спиной и чуть вздёрнутым подбородком — ни дать ни взять жена фараона. Сказала, что обещанный подарок Сунчариону за ней. Вот и всё.

Он ещё не знал, что ему уготовано в этот день. Как выяснилось, иметь продолжительный роман с Большой пирамидой врагу не пожелаешь. Тем более забираться внутрь подавляющей тело и разум махины с камерой на плече после бессонной и бурной ночи любви.

Своеобразное сошествие в ад. Он бывал в пещерах, ему не впервой спускаться в узкие проходы подобно шахтёру с фонариком во лбу, но одно дело — врубаться в земную породу, а тут... Внутри погребальной комнаты потолок сходится треугольником, камень так и давит. Он не пуглив, но ощущение не из приятных. Ты словно в каменной бане, одежда мгновенно пропитывается потом. Мужики объяснили ему, что пирамида имеет свойство вытягивать влагу из посетителей, без воды сюда нечего и соваться. Налегке люди долго не выдерживают, то-то камера стала раз в пять тяжелее... Духота с примесью аммиака. Где-то через полчаса в одном из узких проходов, резко уходящих вниз, он чуть не потерял сознание, благо мужики, более опытные, погнали его наверх, на воздух. Выбравшись, не устоял на ногах, упал лицом в песок. Араб на осле что-то сказал другому, сидящему в стороне в тени верблюда, и оба засмеялись. Минут пять отпыхивался, пил воду, полоща рот, но песок ещё долго хрустел на зубах...

День был испорчен подчистую, так дерьмово он никогда себя не чувствовал. Хотя мужики ни словом не упрекнули, всё же досадовал, что выставил себя слабаком, и зарёкся отвлекаться на бабушкиных внуков во время дела. Он вспомнил о ней только раз, когда фиксировал оком камеры пирамидки-малютки: примитивные постройки из кирпича для фараоновых жён не шли ни в какое сравнение с величавыми неземными соседками. Неужто фараоны так презирали своих жёншек, что строили для них такое убожество, а для себя гробницы, где легко поместится храм Христа Спасителя? Похоже, красна девица права: не гробницы это вовсе и строились они не для «сынов божиих», а для связи Земли с Небом. Такой вот Дворец бракосочетания...

Кандидат технических наук в красной косынке, завязанной сзади на бритой голове, вытянутой формой напоминающей череп фараона, делал замеры, одновременно работая на камеру:

— Египетская цивилизация была инициирована и создана с одной основной целью: скрыть наследие более древней цивилизации, и это была грандиозная широкомасштабная операция по дезинформации, нацеленная в будущее. А как можно спрятать то, что невозможно

скрыть из-за гигантских размеров? Очень просто: нужно придать древнему памятнику иной смысл. Например, гробницы.

Учёный-египтолог, взятый крупным планом, повторил ту же мысль, но на свой лад. Древние создали на Земле аналог небесного Дуата, и пирамиды стали проекциями звёзд Ориона, Большого Пса... Вход в земной Дуат — здесь, в Гизе... Помимо прочего «говорящая голова» поведала, что только у древних египтян небо женского рода — богиня Нут, и это запомнилось. Царица неба, изогнувшись звёздной дугой, пальцами рук и ног касается земли и рождает солнечного младенца одна, без участия бога-мужчины. Умерщвляет его, солнышко, вечером и вновь рождает на рассвете.

Хм, длинноногим феминисткам такое бы понравилось...

Подобные заявления в чисто мужской компании были для него в диковинку. Мужики приблизительно его возраста, и хоть яйцеголовые, но не слабаки. Помимо него работал второй оператор, но крупнее телосложением, и в узкие шурфы, где встать-то можно лишь сложив руки по швам, а лучше висеть вниз головой, подобно летучей мыши, мог проникать только такой, как он, цепкий, гибкий, отчаянно рисковый. Для этого и нанимали. Наглость всегда была его вторым счастьем. CLOSED для него — звук пуканья, а выставленная перед камерой потной ладонью вперёд пятерня охранника — чисто интернациональный жест.

Несмотря на официальное, полностью оплаченное разрешение, съёмку то и дело запрещали, и пока учёные с другим оператором отвлекали внимание зрителей и вооружённых охранников, он успевал снять следы выцветшей краски на облицовке (когда-то пирамида была красной), идеально круглые, как в сыре, дырки в сером граните (много тысячелетий назад тут кто-то поработал круглой фрезой либо трубчатым ультразвуковым сверлом). Случалось, ловил камерой странные выступления и борозды, занесённые песком, — едва видные следы развитых машинных технологий, что проглядели учёные мужи, за что и получил от них прозвище Соколиный Глаз. Это всё же лучше, чем «эй ты, с камерой!» — так на «вышке» обращались к операторам светила шоу-бизнеса.

Жадный до работы, снимал попутно всё подряд: «белых мистеров», ползущих, как черви, узким проходом внутрь пирамид, оберегающих от туристов древности кэмэл-полисменов, вооружённых плётками — гонять назойливых торговцев-мальчишек. Прошёлся объективом вдоль бетонного забора с металлической сеткой

поверх; на столбах — очи видеокамер, наследниц по прямой: «Аль Ахрам», отгороженный от брэнного мира, под надёжным присмотром.

Забавно устроен арабский мир: единственный общественный туалет, где вымогают деньги даже за то, что оторвали вам туалетной бумаги, находится в музее, а там хранится Солнечная ладья Хеопса, на которой фараон по воскресении должен прибыть к самому Ра. Но ладья утонула по пути в горячем песке, а в наши дни откопали. И теперь Солнцу ничего не остаётся, как жарить песок, перемешанный с окурками и кэмэловскими кашками, ибо другой дезинфекции здесь нет.

Зимой приставал поменьше, в основном те, кто даёт охране на входе солидный бакшиш. Товар суют прямо в лицо, в надежде, что нервы ваши не выдержат и вы дадите доллар-другой только за то, чтоб оставили в покое. Прилипал на ослах и верблюдах он снимал издали (черномазые красавцы при виде наведённой камеры прут на тебя с криком, чтоб заплатил за съёмку фейса, иначе они тебя и всех твоих родственников «шармута-хаволя»!).

В полдень солнце стоит низко, тяготея к пескам, после четырёх начинает темнеть, и к этому времени верблюды лениво возлежат на песке, их темнолицые хозяева в одеялах поверх белых одежд как бы замирают в сонной надежде на последнюю жертву: глядишь, сыщется какой-нибудь жадный до экзотики бургер, сядет на двугорбого без фунта в кармане, но не слезет с него, пока бургерша не раскошелится на кругленькую сумму!

Их съёмочной группе почёт и уважение — полисмены провожают до самых джипов на стоянке. Те же усатые стражи древностей встречаются в Медуме, Саккаре, Луксоре, лопочут по-своему, но всё понятно по выражению их лиц. Хранящие тайны мёртвых и живых всевидящие каменные кобры — чем не видеокамеры в ряд? — давно никого не устрашают... Вдоль «шоссе пирамид» — три с половиной пальмы, ленивые зазывалы у лавочек, оседлавшие ослов арабы с «калашами» наперевес: тот, кто имеет малый клочок здешней земли, стоит за неё не на жизнь, а на смерть.

Ближе к воде жизнь закипает, грибница закусовых и кафешек с обменными пунктами обрывается лишь на границе запретной зоны. Стана хэна. Асуан, конец маршрута и конец фильма. Око камеры зафиксировало напоследок двух парящих над Асуанскими каменоломнями аистов... Единственное, чего не могла камера, так это видеть, как он, солнце в крови. Именно так, сквозь прикрытые веки, лицезре-

ли светило фараоны, не знавшие солнцезащитных очков...

В каирский отель их группа вернулась через три дня, все вымотанные до предела, но довольные уловом: чего стоил один отснятый «Цветок Жизни», спрятанный от посторонних глаз в запретной зоне: даже с помощью современных лазерных технологий невозможно «выпалить» такой рисунок, не расплавив гранита. Можно продемонстрировать его канадской гражданке, которой он позвонил первым делом после того, как хорошенько выпался. Но та оказалась вне зоны доступа.

Люба на третьем этаже. Негусто. Может, узнать у портье?... Раздумывая, он дёргал шнур, то уменьшая, то увеличивая полосы света сквозь жалюзи. Нет, баста: если девушка отключилась, это её право. Пусть будут мужчины без женщин, как у Хемингуэя. В баре она больше не появлялась, но, впрочем, за всё время он и зашёл-то туда пару раз вместе с напарником. Наблюдая, как тот гасит окурки в пепельнице — твёрдо, с нажимом, так и он гасил любую мысль о ней.

По возвращении в Москву заметался, не находя себе места. На съёмной квартире — холод и пустота, как на кладбище. Включил радио, чтоб хоть что-то журчало, а там...

«Ты мне одна желанная, солнышко моё долгожданное...»

Сердце будто бритвой полоснуло, на ровные половинки. Секунду-другую переваривал своё открытие. Вот, значит, как... Нашёл телефон знакомого журналиста, соврал, что сидит без работы.

— Ты — и без работы? — хохотнул тот. — Не поверю.

— Я серьёзно. Позарез надо. Хоть к чёрту на рога.

— Если серё-о-зно, — глубокомысленная пауза. — Есть одна работёнка. Рогов не обещаю, но с копытами проблем не будет! Лара Каплун ваяет документашку об известных кладбищах мира. Спецпроект, но не знаю чей! А Ларку знаю: полное презрение к тем, кто снимает перерезание лент. Не женщина, а рабочая лошадь, знойная до абсурда. Исключительно из экономии берёт люкс на себя и оператора. Если уверен, что потянешь, замолвлю за тебя словечко.

Какая разница... Знойная лошадь всё же лучше стенки, на которую хочешь залезть.

В офисе, ожидая, когда его допустят до тела желтушной журналистки с тревожно куриным псевдонимом, от нечего делать листал глянцевого CITIZEN, русскую версию. Что ни страница, то некрофильский коллаж: скелеты в изящных туфлях на каблуках, сумки из кроко-

диловой кожи рядом с человеческой головой без кожи, с открытыми мышцами лица и шеи, как в анатомическом атласе, а вынутый шарик глаза с изумрудным зрачком — брошь, имитация. Sex and the City. Костлявая с клочком волос на оскаленном черепе вышагивала по подиуму на высоких шпильках, обнажив зубы и голосовые связки, в колье с бриллиантами и золотым жемчугом... Свернул журнал в трубу, посмотрел в неё на секретаршу (или то манекен?) и бросил в урну для бумаг.

— Вы что! — ожил манекен. — Там же статья о Ларе Леонидовне — «Автопортрет сезона»! Положите обратно!

Такой же точно журнал (на столе целая стопка) ему всучила сама Лара, уже в кабинете. Надо сказать, операторов до него она подбирала с умом: телезритель, жующий попкорм, имел счастье не видеть её носа в профиль. Когда она перегнулась через стол, чтобы вручить экземпляр CITIZEN с автографом, он получил возможность разглядеть треугольник жухловатой от загара кожи меж двух силиконовых дыnek в вырезе платья. Поделом ему, скотине.

— Андрей Соколов, стало быть, прям как актёр. — Лара пристально изучала его паспорт. — Настоящий?

— Мне бутафория ни к чему. — Он честно смотрел ей в глаза и улыбался, зная, что любая ляжет с ним в постель только за одну его улыбку — слегка виноватую за неизбежный секс. — Одних только действующих удостоверений — штук двадцать. С аккредитацией ноу проблем.

— Ну-ну. — Лара покачала при этом головой в мелких кудрях, воздев зрачки к потолку: до чего я дожила, связываюсь с одним из тех, кто подрывает работу государственных СМИ!

Сметки и деловых качеств у Лары Каплун не отнять, а креатив и вовсе бил фонтаном: в самолёте она провела инструктаж, кратко очертив кладбищенский маршрут со всеми предстоящими сложностями и одной, но радужной перспективой люксов: Амстердам — Париж — Прага — Венеция — Лондон — Питер. Забросив вещи в отель и глотнув кофе, благо светового дня ещё достаточно, рванули к месту съёмки, Ларе не терпелось начать. А именно со стиха А. С. Пушкина: «Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам».

В фас Ларин нос казался идеально греческим, а подвижный рот обнажал белые зубы из чистого фарфора.

— Кладбище Бет-Хаим, что значит «Дом Жизни», расположено в районе плантации Бленхайм к северу от Виллемстада, где находилось первоначальное еврейское поселение...

Слова отлетали как пули, Лара шла на него вдоль могил — не женщина, а танк! — и он отступал, прикрываясь камерой, будто отстреливался. Правое плечо ныло под тяжестью — при съёмке с руки рабочая «мозоль» напоминала о себе всё чаще. Лара не утруждала себя работой на камеру: унизанные кольцами пальцы лезли в кадр, мешая фиксировать детали.

— Большинство надгробий представляют собой тумбы-саркофаги с надписями на поверхности. Многие выполнены на португальском и испанском языках, на французском, идише, иврите. Необычны и сами изображения, особенно для человека, знакомого с европейскими еврейскими кладбищами: помимо знакомых черепа с костями мы видим песочные часы, крыло птицы, летучей мыши.

Пот стекал ему за шиворот, заливал глаза, рубашка под курткой приклеилась к спине — похоже, он стал сдавать либо схватил вирус, — такого с ним прежде не было. Будто высосали. Лара ж была неутомима: чеканя шаг, указала новую мишень (кладбище она знала как свои пять пальцев):

— В верхнем рельефе этого надгробия — весьма интересный сюжет: простёртая с небес рука с топором, срубающая Древо Жизни, символизирует смерть. Интригующая надпись на английском, попробую прочесть:

«Срубил, смеясь, он корни до основ...»

Он — мать твою!!! — споткнулся в узком проходе, налетев на препятствие, и, падая навзничь, думал только о камере — звук будто хрустнувшей кости не оставлял надежды...

— ...Бедненький мой мальчик, мы купим тебе новую, лучше прежней. — Пальцы в перстнях (он видел их многократное отражение в зеркалах ванной) лепили ему пластырь на ссадину — телу его, как всегда, хоть бы что! Лара вошла в роль медсестры и любовницы одновременно, быстро расчехлив его до штанов, и он покорился равнодушно. Морщился, но не от боли: вот, поменялись местами, он уступает сейчас так же, как тогда она в каирской гостинице.

— Не переживай, до свадьбы заживёт. — Лара, облавив его, приклеилась сзади. — Что не успел до заката, наверстаешь до рассвета. — Довольная экспромтом, захохотала, куснула в плечо.

Отражённый в зеркале раздетый по пояс мужчина был страшно бледен и выглядел жалко. Будто готовился к съёмке: ноги на ширине плеч и даже чуть шире... Перво-наперво занять устойчивую позицию, чтоб картинка не дрожала. Камера на плече, слегка касается уха. Перед нажатием красной кнопки задерживаем дыхание...

Ларины пальцы между тем проникли под ремень джинсов. Кольца холодили пах. Он молча, глядя на неё в зеркало, как Персей в щит, вынул и отвёл её руку, подумав, что такое количество перстней может послужить при случае хорошим кастетом.

— Не стóит.

— Надо же, какой морально устойчивый! — Лара ещё улыбалась по инерции.

— Нет, я вообще-то морально подвижный, но после кладбища, прости, не сто́ит.

Лара долго ворочалась на шёлковых простынях, вздыхала, один раз даже простонала вслух: «Идиё-отка!» — но всё же уснула. Но стоило самому закрыть глаза, как перед ними вставали кладбищенские плиты с черепами и костями, крыльями мышей и руки с секирой. Нестерпимо ныла ключица, и он массировал её осторожно. Доступная до ужаса некрофилка всхрипывала рядом, а бывшая вне зоны доступа огнепоклонница (видно, сменила номер на другой) оказалась провидицей: люди просто жить не могут без гробов!

Лара распрощалась с ним до завтрака, сухо, по-деловому сообщив, что нашла другого оператора и с ним, счастливчиком, и отправится в Париж, на знаменитое кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.

— Рассчитаемся в Москве, разумеется, с вычетом гостиничных услуг, — они в договоре не прописаны, так же, как и повреждение личного инвентаря, милый Андрэ Соколофф или как там тебя... И постой-ка, совет на будущее: не стоит бросаться журналами, тираж которых превышает цифру твоих доходов за всю жизнь, вольный стрелок!

Без камеры, с одной лишь дешёвой запаской да батарейками в рюкзаке, считай, движешься налегке. Порвав оплаченный фирмой билет на самолёт, предпочёл ехать поездом, бездумно смотреть в окно на замёрзший пейзаж, голую, не прикрытую снегом землю, ожидающую весны как милости. Так и он. Ждущий звонка как подаяния. Готовый выть под попсу за стенкой:

Где ты? где ты? где ты? Где ты?!

Только небо мне ответит...

Охотник и жертва поменялись местами. Какая там жажда плоти, крови — он свою выльет просто так, пожелай она в ней искупаться как в шампанском, лишь бы хватило.

Она не звонила. Он ждал. При этом будто рядом стояла, хотя их разделял океан. У неё ночь, у него день. Когда она спит, он вкалывает. Стоящей работы, как на грех, не было. Не снимать же шоу типа как получить миллион или выйти замуж за три дня. Нет ничего тошнотворнее

подёнщины в студии: так слуги видят нижнее бельё своих хозяев, а охрана бесстрастно таращится в монитор во время семейных сцен. Жиреешь сам, жиреет мозг. Эра дешёвой липы накрыла Останкино, как девятый вал, и он — один из немногих выживших человеков с камерой, кто с «вышкой» дел не имеет и крутится сам. В юности он мечтал о работе в кино, всерьёз считая себя художником. Но эту роскошь мог позволить себе разве москвич — маменькин сынок, а он, чтоб заработать на жизнь, примкнул к своре так называемых «независимых», в надежде на настоящих, а не подсадных уток. Нескольких из них подстрелили, правда не пернатых. Однако бросить уже не мог, втянулся. В узком кругу таких же, как он, жадных до экстрима в натуре, где каждый сам за себя и может надеяться только на вольчью интуицию, бытовало выражение наркоманов: «на движуху пробирает». Подсел, словом. Издержки полукриминальной профессии... При желании можно оправдать свою жизнь тем, что ты своего рода летописец. Только в руках твоих не отточенное гусиное перо, а видеокамера, фиксирующая изнанку человеческой жизни, а проще говоря, сплошного скотства.

Жизнь улыбнулась (или оскалилась?), видно, чести такой он удостоился за свойственную ему молчаливость: приятель, бывший спецкор НТВ, позвал на натуру в «Манон Леско»:

— Бордель и наркопритон в одном флаконе, но, что особо греет: заведеньице для элиты с Рублёвки, а значит, и дурь, и девки — высший пилотаж. Богини! Полторы штуки евро в час! Можно оттянуться без риска для жизни. В качестве премии. «Движуху» заказал крутой папик, пожелавший уподобиться неизвестному солдату, не иначе — любитель порнушки, но скорее всего — компромата на соседей по посёлку. А теперь, Серый, слушай внимательно правила этикета: мобилу оставляешь на входе, боекомплект сдаёшь на выходе, тому, на кого покажут. Расплачиваются зелёнью, налом, как только одобрят заказчик. Причём покупают весь исходник. Ну, что скажешь, молчун?

...От дури он отказался, а девуку взял — миниатюрную японку, живую точёную статуэтку. Смешная попытка вырвать жало из сердца... Гейша первым делом подала зелёный чай; он сделал глоток и пить не стал — они и в чай чего-то подмешивают, ясно как день.

На профессиональные ласки раскосой «богини» его плоть не отзывалась, словно под местным наркозом. А может, он умер? Прямо на станке для «любви» будуарной расцветки: красное и чёрное. Лежал бревном и таращился на язычки свечей, расставленных по периме-

тру. Безупречная гейша (вблизи она оказалась не так уж юна) уловила его взгляд и зашептала на чистом русском:

— В древних культурах добывание огня трением рассматривалось как сексуальный акт. Женщина — дерево, мужчина — лиана. Огонь таится как в гениталиях женщины, так и в мужском семени, и добыть его вместе — первейшее из наслаждений!

Хотелось ударить её по лицу, еле сдержался. За это время гейша оседлала его, раскочегарила мало-помалу и высекла-таки слабо тлевшую искру, тут же погасшую.

По дороге домой, не прошло и часа, засветал сотовый. Незнакомый мужской тенорок гасила плохая связь на виражах:

— Поздравляю: откровенно цинично, но очень грамотно. Как насчёт более горячей работёнки?

— Чем горячее, тем лучше.

Откуда эта жадность? На перечисленный рублёвским засранцем гонорар можно было месяц не работать. Чем он в итоге и воспользовался, но уже после того, как побывал там, где не сороки летают, а прямоходящие, если и лежат в рядок, то в фольге. Когда на твоих глазах кому-то отрывает голову и та катится к тебе, то хватаешься не за сердце, а за камеру. Снял и ушёл.

Месяц пил горькую, но телефон не отключал. Ждал. Ту, что вне зоны. Из мертвецкого запоя вывел ремонт у соседей — за стенкой крушили кафель, а казалось, долбили по вискам. Как если бы содрогнулись недра земли, потревожив феллахов, ставших пылью, и их спящего в саркофаге властелина. Что же видит восставший из спячки? Он в камере наглухо задраенной гробницы, об истинном назначении которой он, хотя и царь, не имеет ни малейшего понятия. Уснуть обратно не получится, как и выбраться на воздух, если только отчаянный кладоискатель не прорубится в гробовую тишину...

Дожил: уже в фараоны записался, пора завязывать с бухлом. И с сукой-любовью тож. Если же у тебя трясутся руки, занимайся онанизмом, а не съёмкой. Одно радует: в мире всё больше мест, где трясётся земля, разливается нефть и взрываются газопроводы, — на его век хватит.

Весну тем временем вытеснило лето. Москва изнывала от небывалой жары, пол-России пылало, а ему хоть бы что, не замечал. В самое пекло поступило два предложения: порыбачить на озере в Карелии и снять горящий лес под Саровом. Конечно, второе! Он даже надеялся, что его придавит горящим деревом прежде, чем распылит ядерным взрывом. Предел мечтаний.

Будто робот, раб Ока, а не человек фиксировал обгоревшие дочерна кроссовки пацанов-добровольцев, брошенных на борьбу со стихией с одними лопатами, пожарных, выносящих людей из огня, и таких, кто тушил вовсе не огонь, а поливал из шлангов разъярённых баб, на глазах которых занимались их домишки, снимал чёрные лица плюющих в камеру погорельцев и воющих на пепелище старух, обугленный дымящийся лес, который поднимется лет через сто, если поднимется... В мире остались две краски: рыжее и чёрное. Жрущий гектар за гектаром, с хрустом и чавканьем, огонь поднимал птиц, гнал зверьё на шоссе, лопал автомобили, как воздушные шары. Слизывал дом за домом, как рыжий кот сливки. Змеясь по плетню, двигался к церкви, где только что отслужили молебен о ниспослании дождя. Люди метались с иконами в руках.

— Чудотворную выноси! — командовал поп в отдалении. — Алтарную!

На глазах занялся церковный купол, а колокольня стала факелом, и чем ближе он подходил, тем меньше ощущал жар. Пофиг. В алтарь — так в алтарь.

В этот самый миг огненный столб с фырканием взлетел под небеса и принял очертания вставшего на дыбы золотого тельца... Какой будет кадр — зрелище богов!

— Сун-чарион! — дохнуло жаром сквозь огненный гул.

Он застыл, ослеплённый: Солнце, сложив алые крылья, пикировало вниз, прямо на тельца...

Подавшись назад, он видел, как прямо из чрева поверженного рогоносца падает чёрный крест с огненными хвостами на концах. Ж-жах! Крест воткнулся концом в землю, будто калёный меч. Буквально в шаге. Ногами ощутил, как дрогнула земля. Такая махина... А снизу смотрелся нательным...

Кто-то принес из машины аптечку — смазать ему опалённое лицо и руки, сжимавшие камеру. Он не чувствовал боли.

— Андрюха, мы думали — всё, хана тебе... Огнеупорный, ей-богу!

Как объяснишь, что наружный огонь просто бенгальский искропад по сравнению с солнечным ударом внутри...

Попу в угольной рясе налили водки.

— Матерь Божья, — плакал он. — Такая икона была... Звёзды на плате так и мерцают!

Возле него хлопотала баба с красным лицом, в прожжённых местами юбке.

— Благослови, отец, в алтарь, я б вынесла!

— Даже не помышляй об этом, ду-у-ра!

Несколько ночей после, то ли во сне, то ли наяву, он иступлённо гонялся за огнём, мелькающим лисьим хвостом за берёзками... Душил, топтал и закидывал лис землёй, пока не выбежал из лесу на площадь, где жгли еретика, собравшего все рыжие бутоны в один — для Той, что погружалась на глазах в звёздный песок... В руке горящего живьём его сотовый, откуда льётся Её голос, тихий-тихий, но такой близкий:

— Сунчарион, это я, помнишь меня?

Да то ж наяву, не во сне! Спроси так другая, пощекотал бы ей нервы, уточняя, кто звонит, но станет ли еретик, молящий о пощаде, отказываться от дождя?

— Да. Где ты? — голос даже осип.

— В Москве. Правда, улетаю домой. Завтра днём.

— Спасаясь от смога?

— И от смога тоже. Хочешь, встретимся?

— Хочу.

Она похудела — это сразу бросилось в глаза. Мальчишеская стрижка осталась лишь в его памяти, волосы отросли до плеч, делая её совсем женщиной. Но и в нём произошли перемены.

— Зачем ты... — Она не договорила, просто показала на собственной голове.

— Обрился? Чтоб волосы не сжечь. Снимал пожары.

— Значит, вот откуда... — Она коснулась пальцами обгоревшей брови.

Он не ответил, только накрыл её руку своей и не отпускал. Смотрел и смотрел на неё молча, одним незакрытым глазом, как пират. Она улыбнулась — видно, это сравнение тоже пришло ей в голову. Их обтекали люди в марлевых масках через одного, они стояли на самом проходе возле метро. А он дышал будто морским бризом...

— Знаешь, я должна кому-то рассказать, мне больше некому... — Она тихонько высвободила руку. — Пойдём, посидим где-нибудь, если ты не против.

Народу в ближайшем кафе было много — тут работал кондиционер. Единственный свободный столик как раз рядом с ним. На ней — только кружевная маечка на тонких бретельках, кожа светится... Он сел так, чтобы закрыть её от холодного воздуха, молча слушал.

— В марте мне запретили вести семинар. Вернее, отказали под благовидным предлогом. Эссе (там о некрофилии как отрицании жизни, женского начала) нигде не берут — не вписывается в концепцию изданий... С компьютером начала твориться чертовщина — что ни день, то баннеры с порнухой. И ещё... Вчера ждала электричку... В общем, меня кто-то пихнул плечом,

ещё бы немного — и столкнул... Хотя, может, и нечаянно — торопился человек...

Ничего не изменилось. Тот же лихорадочный блеск в глазах, пересохшие губы. Только добавилась мания преследования. И его помешательство. Заразила-таки... Присушила. Его ничуть не задело, что вот — ей страшно, и она вспомнила о нём. Что ж, он готов. Под электричку. Вместо неё.

Так и сказал:

— Скажи, что делать, — я готов.

Быть твоим ручным волком, веснушка-огневушка.

Она коснулась его руки. Ладонь сухая и горячая, как тогда.

— Нет, нет, что ты.... Это я так. Вдруг захотела увидеть тебя.

Вдруг.

Погладила руку. словно сиделка у постели тяжелобольного — так ведут себя женщины, которые знают наверняка, что любимы, но сами — совсем не обязательно.

И вдруг он понял свое преимущество: когда страшно, приходят к тому, кто любит.

— Хочешь, поеду с тобой? В качестве телохранителя? Пожизненного?

Она смотрела в сторону — это понимать как «нет»?.. Рука улизнула из его пальцев, и он растался с ней нехотя.

— Как думаешь, Сунчарион, может быть столько совпадений?

— Думаю, у тебя богатая фантазия, — успокоил он, как мог. — У них есть объекты поважнее болтливых девчонок — ну, кого убирать с дороги. Ты ж не в карман к ним залезла. И не на трон.

— Давно, ещё зимой, был звонок. Что отрежут язык. Я посмеялась, но телефон выбросила. — Она помолчала и вдруг спросила тихо: — А ты звонил?

Он кивнул. Кондиционер холодил спину, а сердце — нехорошее предчувствие. Ох, не стоит женщинам лезть в мужские игры. Этот мир — абсолютно, до мозга костей — мужской, и в этом она права. В нём меряются членами, обмениваются рукопожатием, идут в огонь как в воду, а в свинцовый гроб как на небо... Фильм, что сняли в Египте, вряд ли попадёт в эфир, его и в Интернете днём с огнем не сыскать... Мир созрел, как гнойник, вот-вот лопнет. Нельзя исключить и того, что место прорыва — бывшие земли фараонов...

Она смотрела ему в глаза, добавляя синего цвета в его, серые.

— Там, в Египте, ты словно птица с неба упал на меня, я опомниться не успела.

— Сама ты Птица...

— Скажи, почему ты бросил меня? Там?

— Влюбился. И испугался.

— Боишься до сих пор?

Покачал головой. Как же объяснить ей, глупышке?!

— Остановись, и никто не станет угрожать и преследовать.

— Не могу... Душа ведёт.

От сказанного дрогнуло внутри, и он решил попытать счастья ещё раз. От решимости даже скулы свело.

— Лучше ребёнка роди. От меня. Раз уж ты такая воительница за жизнь.

Она опустила глаза, пряча слёзы.

— Как же он будет жить — среди гробов? — спросила так тихо, что он еле расслышал. И, глядя в вазочку с нетронутым мороженым, добавила: — Родители на даче. У меня ключи от их квартиры.

Не ответил — ни да, ни нет. Он не сводил с неё глаз, внутри всё дрожало, способность к внешней невозмутимости давала трещину. Значит, она согласна?

— Но могут вернуться. Там смог ещё сильнее, чем в Москве. Горят, как их... торфяники. Отец пьёт, а мать молится с утра до ночи. Задумала перебраться поближе к монастырю, и духовник благословил её на продажу дачи. Боюсь, что спьяну отец согласится и квартиру продать, а жрецы этого только и ждут. На словах у них: да любите друг друга, плодитесь и размножайтесь, а на деле... Знаю теперь точно: монашество — это тот же аборт, причем двуполый... Папа грезит о бутылке с прозрачной жидкостью, мама о Небесном граде Иерусалиме в алмазном сиянье, и внуки им точно без надобности... Сил моих больше нет, — вздохнула так, будто всхлипнула. — Надеюсь, рейс не отменят из-за смога.

— А у меня завтра день рождения, — вспомнил он. Просто так вспомнил, даже не думая задерживать её.

— Два раза в году? — она оживилась.

— Настоящий. Могу паспорт показать. Не веришь?... Вот, смотри.

— Так, так, значит, ты — летний Сунчарион, Андрей Соколов. — И засмеялась. — Это меняет дело.

— А чем отличается летний от зимнего? Просвети.

— Ты что, в школе не учился? Зимний — самая длинная ночь. Летний, на Ивана Купалу, — самый длинный день в году.

— Откуда ты взялась, такая вся из себя языкасто-языческая? — он еще пытался шутить.

— От бабушки с бабушкой. Дедуля всю

жизнь преподавал деревянное зодчество, наш дом своими руками построил, а бабуля родом из Карелии, с финскими корнями, судя по фотографиям в молодости, я на неё похожа. Бабушкин конёк — старорусский орнамент. Прялки, вышивки... Я совсем крошкой была, а с помощью бабушкиных вышивок постигала мирозданье... Но они... — тут она запнулась, помрачнела, — эти паразиты хотят, чтоб мы утратили последние связи — с Землёй, с природой — и тем окончательно отрезали себя от жизни...

Честно говоря, он не принимал её страхи всерьёз. Кому нужна эта пылкая защитница жизни, кроме него? Зловещие, невидимые, они убирают только тех, кто представляет угрозу их финансам и власти, это известно как «Отче наш». Поэтому никто не умеет так молчать о главном, как работники СМИ, если и сообщающие толику правды, то лишь по разрешению сверху. Да и пиратам от журналистики, подобно тем, с кем он в одной связке, давно уж негде разгуляться — забудь о вольной поживе, всяк входящий в этот мир! Грустно, но жить можно. Что же до дьявольской ненависти к женщине вообще, — он в эти страшилки не верил.

Ведя её к машине (а хотелось на руках нести), обронил как можно небрежнее:

— У меня тоже ключи от квартиры. И туда никто не нагрянет до второго пришествия, гарантирую.

При одной только мысли о том, что он везёт её к себе, сердце обжигала кровь. Счастье душило. Он стиснул зубы, чтобы не выдать себя, но волевые упражнения не прошли даром: в постели он не мог к ней даже прикоснуться, не то что немедленно получить желаемое, как тогда. Чувствуя, как она затаилась рядом в ожидании, прошептал:

— Давай пожежем просто так. Я мечтал об этом тысячу лет...

Она протянула руку и погладила его лицо. Нет, не погладила, лишь коснулась теплом. И тут случилось то, чего боялся: грудь взорвало, и он разрыдался внезапно и бурно, как рыдал только один раз — на могиле матери. Но только на этот раз ощущал себя живым.

— Андрей, ну что ты, Андрей, — шептала она, прижимая в груди его голову, совсем как взрослая женщина, мать его детей. — Хороший мой... Милый мой...

И сама стала целовать его. Склонясь над ним, осыпала, как Нут, колкими звёздами...

Две ночи с любимой женщиной, длинная и короткая, с промежутком в полгода... — это много или мало?

Утром — и когда успела только! — пока он слетал в магазин, накрыла стол к завтраку. В каждой мелочи чувствовалась женская рука: даже сахар пересыпала в сахарницу, отыскав её где-то в глубине полки, — осталась после тех, кто снимал квартиру до него.

Глядя, как он ест, поглаживала пузатый расписной бок с отбитым краем:

— Представь, что это Земля.

Представил. Похоже: следы военных действий нализо, и лютики-цветочки имеются. А ногти её — как спелые ягоды, а кожа как утренняя роса...

— А вот это... небо. — Она надела и снова сняла с сахарницы крышку, белую как облако, без цветов, удерживая ту за шишечку двумя пальцами, и он вспомнил Божью руку из небес. — Они отняли у нас небо, понимаешь? А теперь и Землю забирают. Высасывают.

— Верни на место, — пошутил он. Всё, что он сейчас мог, это шутить...

Рейс не отменили. В аэропорту, куда он привёз её за час до регистрации, они и отметили его тридцать шестой день рождения. Она не забыла про обещанный подарок, но почему-то скрывала до последнего.

— Вот, это полотенце. Сама вышила, для тебя.

— С петухами?

Она засмеялась, ей понравилось, как он сказал. Протянула ему: красное на белом.

— Будешь вытираться и меня вспомнишь. Смотри — это птицы на Древе Жизни, их всегда пара. — Она повела дальше пальчиком, показывая: — А эти точки-крапинки — дождь, оплодотворяющий землю...

— Не своди меня с ума... — Он сжал её руку, поднёс к губам, целуя в ладонь, пробуя языком земляничной ноготок.

— Подожди, не отвлекайся... Знаешь, пока мужчины воевали, женщины вышивали. Сохраняли, передавали жизненно важные коды... Вот эти два треугольника, соединённые вершинами, — похоже на песочные часы с узелком посередине, — брак Неба и Земли, этот ромб — зерно, плод их брака. Но главное — вот, смотри, это сама птица Рух, высиживающая яйцо Рода, видишь, оно с корнями и побегами, и это тоже Она, но уже в образе Небесной Оленухи, рога которой превращаются в растение, Древо Жизни. Помнишь, в сказках, Иванушку-дурачка посылают за Жар-птицей, повадившейся клевать молодильные яблоки? Ведь она действительно прилетала. Дарила долголетие. Раньше знали, что уход из мира людей Девы-птицы уводит из этого мира жизненную энергию...

Он не хотел отпускать её руки, уже веря, что это тёплое маленькое крыло. Храбрая, хрупкая его девочка, лёгкая на подъём...Знал, что ей пора, и не мог задержать. Просто не знал способа превратить тающие минуты в вечность. Острее осознать ценность времени невозможно, но... Если он признается ей сейчас, что без неё для него лично настает конец света, что это изменит?

Вещей у неё почти не было, так, небольшая сумка. Прилетела и улетала налегке. Он попросил сбросить эсэмэску, когда приземлится на другом конце земли, она обещала.

Ночью написала:

«Наш мир исчезнет, если мужчина не вернёт себе женщину, которую потерял».

Он не знал, что ответить, а вернее, не мог поручиться за всех мужчин на Земле. Да и сам, если честно, как последний кобель, думал о том, будет ли третья ночь и долог ли будет промежуток на этот раз? Что мешало ему перейти от слов к делу — взять билет и полететь за ней следом, ему, рисковому, наглому, столь же лёгкому на взлёт и посадку? Ему ничего не стоит спикировать на Торонто...

Чего он ждал? Чтобы, как в седую старину, в первобытную древность, где время тягуче, как мёд или смола, она пришла к нему сама, выбрав его, как птичья самка, чтобы вить вместе гнездо?... Но решил для себя твёрдо — навязываться не станет. Либо пусть оставляет своих стариков — ради него, либо пусть позовёт к себе. Сама.

В ответ — тишина. День за днём. Бил об стенку мобильного, как яйца, и покупал новые, куда вставлял прежнюю симку.

На этот раз не запил — держался. Но баб иногда водил. Метался по сторонам света, даже на Север занесло, к белым медведям, но не повезло: мишки внезапно ушли, а погода, чтоб гоняться за ними, не благоволила. Всеядящее око камеры углядело лишь остатки от медвежьего пиршества, клочки тюленьих шкур с ледышками крови. Ощущение себя стервятником накатило до тошноты. Странно устроен человек: он может обнажать чудовищные пороки своей натуры, а лучшие чувства прятать, так же, как эти чистые воды под ногами хоронят себя под ледовитым панцирем. О, бывшие тюлени, ставшие трапезой, успели вкусить той вольной глубины... Ходящий по замёрзшей воде их понимает — сам там был недавно, яко на небеси. А теперь? Что ему светит? Разве здешнее бесильное солнце, белый карлик, мутное, как фонарь с севшими батарейками. Не верилось, что скоро, согласно карканью жрецов, оно растопит эту белую броню, бескрайнюю даже с самолёта...

Но впрочем, в силе Алого Сокола он теперь не сомневался, всему своё время.

Мужики пили за возвращение на материк, закусывая вяленным гольцом, трепались меж собой, особенно распалился зоолог из группы, рисуя самыми чёрными красками картину ожидающего человечество апокалипсиса: медведи уходят, голодные акулы скапливаются у пляжей, киты выбрасываются, кораллы гниют, потерявшие ориентацию птицы падают целыми стаями, пчёлы и тараканы исчезли...

— Девы-Птицы тоже исчезли, верный признак конца, — вдруг сказал он вслух, и повисло молчание. Пригорюнились ли мужики дружно оттого, что поняли, что означает для мужского мира полное исчезновение дев — грешных и безгрешных, либо решили про себя, что их неразговорчивый оператор хватил лишку.

В Москве шелестела осень, простёгивая деревья желтизной. Умываясь по утрам, подолгу держал её полотенце у лица: чудился запах тронутых горчинкой листьев, сосновых иголок, птичьего пуха и даже тёплого яйца — будто он снова маленький, украдкой от матери, достал его из-под курицы и спрятал в корзине с анисовкой, прикрыв соломой, в уверенности, что там, в яблочном угаре, с утра вылупится птенец...

Серые дни поглощали неоновые ночи — на столицу освещения не жалели. Тем сильнее угнетала беспросветность, но вот наконец блеснуло: ему почудилось сквозь сон, что пришла эсэмэска, но то был сигнал вздрогнувшего и разбудившего его собственного сердца. Он понял: что-то случилось. С ней.

Немедля набрал телефон. Сердце вращалось огненной свастикой и набирало темп с каждым гудком. Наконец ответил не её, другой — глухой старческий голос — похоже, женский.

— А Любушка наша... она...

Речь прервалась — старушка плакала, не в силах говорить, и он, в страхе, что не успеет узнать, что вот прямо сейчас дадут отбой, не скажут главного, — Мать Божья, помоги!!! — добился-таки от плачущей адреса больницы скорой помощи в Торонто.

Сбила машина, идёт операция.

Счёт шёл не на часы — наносекунды. Выдержав пытку вечностью — восемь часов полёта, прикованный к креслу в позе недвижимого Сфинкса, он сидел теперь в другом, рядом с дедушкой и бабушкой у её секции в реанимации, куда пока не пускали.

Но вот к ним вышел врач. Больная безнадежна. Черепно-мозговая травма, несовмести-

мая с жизнью. Осложнилось всё ещё тем, что пострадавшая потеряла ребёнка на сроке приблизительно три месяца...

Оглушённый этим известием, он, как давший сбой робот, считал и сбивался со счёта. Июль, август, сентябрь плюс десять дней июня. Почему не сказала, почему молчала, почему?!

Возможно, она придёт в сознание, тогда всех позовут, заверил врач. Но первым пройдёт полицейский. Тот, тоже в ожидании, сидел в отдалении, постукивая чёрным ботинком об пол. Свидетель наезда — кассирша в супермаркете — запомнила лишь цвет автомобиля, поскольку видела сквозь витрину.

Старикам было легче в его присутствии — он это понимал. Они украдкой разглядывали его: оказывается, у Любушки был жених, а они и не знали... Руки бабушки, лежащие на коленях, дрожали, и дедушка накрыл их своей рукой. На безымянном пальце — обручальное кольцо. Безотчётно поддавшись порыву, он положил сверху свою руку, без кольца. Жених, мать твою, отец нерождённого ребёнка... Так они и сидели втроём, глядя на закрывавшую вход плёнку. Выглянула медсестра, позвала полицейского. Неужели?..

Вслед за полисменом — тот вышел почти сразу с хмурым лицом — настала его очередь.

— Сначала вы, Андрей, мы после. — Добрые старички уступали ему бесценные минуты.

Узнав его, она попыталась улыбнуться — слабо шевельнулись губы. Ей не хватало воздуха, она дышала часто и хрипло. Он наклонился к самым её губам, коснулся — сухие лепестки, и не смягчить никогда и ничем... И где же она — хваленая свобода человека?! Вот он по собственной воле хочет отдать ей свое дыхание, всё, без остатка, раз ей так нужно...

Он был до ужаса спокоен, как будто умер раньше неё, чтобы, подготовившись загодя, встретить её там. Так и застыл, склонившись и помогая ей дышать, открыв такую простую и страшную истину, что она жива, пока дышит. Дыши, родная, дыши... Живи, солнышко, у нас ещё будут дети, только живи! Умоляю тебя. Люблю тебя... Живи...

Она вздохнула глубоко-глубоко, вобрав вместе с воздухом его бессильное «люблю», и больше не выдохнула... Он всё ждал, лицом к лицу, не веря, что это случилось. Улетела. Выпорхнула, оставив ему то, в чём находилась.

Распрявившись, стоял истуканом. Сквозь белую повязку, похожую на купальную шапочку, натянутую до бровей, ещё проступала живая кровь.

Только сейчас заметил сестру, прижавшую руку к губам.

Старики!!! — вспомнил он и бросился за ними. С каменным лицом смотрел, как старушка, стоя на коленях, гладит и целует узкую бездвижную кисть, а старик, мелко-мелко трясая головой, что-то говорит их Любушке, бездыханной и безучастной, смотрящей потухшими глазами из-под ресниц куда-то сторону. А он... Словно только для того и примчал сюда, чтоб созерцать краем глаза, как старики — вовсе не моложавые, а согнутые горем, седые старики, — подписывают какие-то бумаги, благодарят врачей... за что?! Вот дедушка подаёт бабушке плащ, помогая вдеть руки в рукава, вот раскрывает над ней зонтик, вот они оба поворачиваются к нему, стоящему под проливным дождём, и просят поехать с ними, остановиться в их доме. Лучше быть всем вместе. Надо держаться, Андрей Сергеевич. И ещё успеть на последний автобус, это недалеко...

Никогда, никогда, никогда ему и ей не быть такими, идущими под ручку, под зонтом, хранящими каждый шаг друг друга...

Старикам, возможно, было легче с ним, а ему — нет. То бабушка, то дедушка начинали плакать и дружно вопрошать пустоту, почему Бог не забрал его, старого дурня (её, старую каргу), а взял их Любушку, такую молодую, красивую, умную, самую добрую на свете, ласковую их девочку... Какие у неё были руки — одним касанием исцеляли!

Ему ли не знать. Он покорно смотрел вместе с ними семейный альбом, пухлое древо рода: вот Любаше пять лет, десять, а это она уже в колледже, с подружками. Это с отцом на русской даче (о, лучше б она осталась в России!..), это в Праге с коллегами, а вот выступает на женской конференции, в Швеции, если память не изменяет...

Бедные долгожители, они ещё не поняли, что рука с секирой срубила последнюю цветущую ветвь их рода.

— А это она в Египте, ездила зимой...

Кто её снимал? Неизвестно. Был сильный ветер — взъерошил волосы; тонкую кофточку запахла, закрыв горло. Куртку он ей так и не купил...

Он попросил именно эту фотографию, одну из последних, и они, хоть и скрепя сердце, отдали. У человека с камерой — просто смех! — нет видео любимой: храброй его девочке удалось ускользнуть от циничного взора...

Оставшись один, обводил пальцем тонкую фигурку, одиноко стоящую в песках, такую крошку на фоне гигантских гробниц, которые

отрицала с таким негодованием... И тут до него дошло истинное положение вещей. Может, они и встретились не ради двух огненно нежных ночей, а только затем, чтоб она сделала его своим душеприказчиком? Не любовником, не мужем, не отцом ребёнка, а только душеприказчиком?..

Утром он передал слово в слово их с Любой разговор за завтраком в гостинице, опустив лишь ненужные любовные подробности.

— В огонь? — ужаснулись старики.

— В огонь, — подтвердил он сухо, не оставляя им надежды. — А после — развеять прах в России, на высоте, над рекой.

Через три дня они провожали его до такси. Он следовал в аэропорт со своим непостижимым грузом, имея разрешение на его вывоз. Формальность отняла куда больше времени, чем работа огня. Живая тёплая и холодная мёртвая любимая обернулась в итоге горсткой праха, помещённого в керамический сосуд. Дед, с застрявшими в горле слезами, попросил бога ради сообщить место, где... Они, как только соберутся с силами, приедут в Россию... к своей Любушке...

— Курская область, село Тихомирово, — ответил без раздумий. Хоть что-то в этом безнадёжном мире в его, Сунчариона, власти. Они крестили его зачем-то вслед — старичье-дурачье...

После посадки в Шереметьеве-2 заглянул в сотовый: восемь неотвеченных вызовов. Хотел удалить одним махом все, но передумав, нажал последний, и сразу услышал:

— Привет, бродяга! Слава идёт впереди тебя. Ты ещё хочешь в ад?

— Да.

— Тогда сброшу номерок одного сталкера. Ему позарез нужен стрингер, мечтающий схва-

тить дозу в мёртвом городе энергетиков, то бишь Припяти. Некто решил превратить зону отчуждения в туристический экстрим.

— Ты настоящий друг. С меня причитается.

С самолёта сразу на поезд, потом на попутке, а дальше — ножками. Вот он, крутой берег его Свапы. Реки детства. В ту пору взбегал наверх не запыхавшись. Прямо отсюда сигал вниз. С запасом, чтоб не зацепить торчащие из глины корни вековых сосен. Шумят, как прежде...

Смеркалось. Внизу, чуть в стороне, где мелководье и Свапа делает петлю, огибая остров, пацаны разожгли костёр — ловят, небось, раков... Он сам и не в такой холод ловил — больше всего на свете хотелось жрать.

Он ждал недолго. Сильный порыв ветра — вот всё, что нужно. Лети, Любушка...

Свершив то, что от него требовалось, сидя на земле, выдирал из неё жухлую траву. В немой ярости поднял лицо к небу и тут вспомнил, кто над ним. Она, Нут. С телом в звёздах-веснушках. Целуя его, светится от счастья: «Ты такой молчун». — «Угу». — «А я — такая болтушка!» — «Угу». — «И ты меня никогда не слушаешь. Не слышишь»...

Можно рычать, как медведь, выть волком, пугая собак в деревне... катаясь по земле... но что это изменит?

Он медленно поднялся, стоял какое-то время на пробирающем до костей ветру, слушая память, и, лишь когда та умолкла, дав ему передышку, начал тяжело спускаться вниз, едва угадывая тропку в потёмках, туда, к костру раколовов. Как-то всё же надо скоротать остаток ночи, жуткой и прекрасной, под распростёртым над отчуждаемой Землёй звёздным телом желанной Женщины...

2012

Марина Анашкевич родилась в Москве. Окончила Литературный институт им. М. Горького (1997 г.; семинар прозы Михаила Лобанова).

Член Союза российских писателей с 1999 г.

Известность писательнице принесла повесть «Поражённая Венера», опубликованная в 1999 г. в журнале «Постскриптум». В том же году повесть была выдвинута критиком М. Ремизовой на премию «Антибукер» и вошла в шорт-лист по номинации «Братья Карамазовы». Критик П. Басинский выдвинул «Поражённую Венеру» на премию им. Аполлона Григорьева среди двадцати лучших прозаических произведений за 1999 г. Рассказ «Другая» вошел в шорт-лист Международной Волошинской премии (2011 г., номинация журнала «Октябрь»). Автор 12 книг. Имеет Благодарность от Министра культуры Российской Федерации за большой вклад в развитие культуры.



Ольга Дружинина

Забери меня в небо

Памяти Бориса Натановича Стругацкого

Девушка напоминала тонкий золотой луч, случайно упавший на холодную гладкую поверхность кожаного дивана.

Казалось, солнце тянулось к ней, с удовольствием выхватывая из полумрака приёмной разные аппетитные части женского тела: скользило вдоль стройных ног, трогало сложенные крест-накрест руки, касаясь чуть приоткрытых влажных губ, отражалось в стёклах больших стереочков. Она что-то визуализировала для себя, коротая время ожидания. Скорее всего, как и все люди её возраста, наблюдала за каким-нибудь спортивным соревнованием. Вся современная молодёжь, знаете ли, ужасно спортивна: плавание, теннис, бег по утрам и вечерам. Они словно пытаются интуитивно восстановить купированные эмоции, утраченные после процедуры стабилизации личности. Процедуру проводят рано, в подростковом возрасте, и потом их «накрывает»: парки усеяны вечными бегунами, стоящие на улицах тренажёры скрипят под напором идеально красивых потных тел, на футбольные матчи никогда не достать билета. Большинство не понимает, что подобная активность — просто сублимация обыкновенных чувств и эмоций. Они не испытывают страданий, не мучаются от потерь, не могут измерить силу настоящей любви...

Собственно, из-за любви всё и началось. Учёные доказали, что данное чувство деструктивно для человека и порождает длинную цепь отрицательных эмоций. Любовь конечна. Ни у кого не получается всю жизнь скакать на еди-

нороге по разноцветной радуге. Результат — депрессия, снижение производительности труда и формирование ущербной личности, скептически относящейся как к окружающим людям, так и к нашему великому государству.

Процедура стабилизации личности совершенно безболезненна и не отнимает много времени. Несколько минут — и готов новый член совершенного общества. Человек, настроенный на позитив. Никакого уныния и ненужных мыслей. Личный таймер заблаговременно известит о необходимости ввести в организм порцию пищи со строго разработанной калорийностью. Он же сообщит о потребности заняться спортом, а измерив уровень половых гормонов, подаст сигнал в общий информационный центр — и вам пришлют наиболее подходящего партнёра, который в данный момент также нуждается в спаривании. Удобно. Не нужно тратить время скоротечной жизни на поиски, знакомства и познание друг друга во всех смыслах этого древнего старозаветного слова. Личный таймер стал лучшим другом и истинным богом для каждого из ныне живущих.

Справедливости ради нужно признать, что общество до сих пор не является однородным. Соблюдая принципы демократии, правительство по-прежнему не делает процедуру стабилизации обязательной: её проходят по желанию, но в массовом порядке. Никто никого не заставляет, ведь любое насилие ведёт к появлению отрицательных эмоций и хаосу. Однако в большинстве «кухонных разговоров» ча-

стенко проскальзывают нотки недовольства существованием «естественных дикарей». Они предпочитают селиться вдали от городов, но, как правило, не работают, а по ночам частенько гоняют на аэромашинах, мечтая дотянуться до звёзд. Патрули не пускают дикарей в мегаполисы, ведь их поведение дестабилизирует общество.

А вот в их селения частенько отправляются миссионеры, проповедующие правильные нормы жизни, преимущества существования в устойчиво-счастливом обществе, а также необходимость процедуры стабилизации. Редко кто из миссионеров возвращается обратно. Говорят, что у естественных дикарей есть прибор, способный побороть действие «Мемориала». Слухи, предания, легенды, сказки...

Однако сейчас передо мной сидело настоящее, живое чудо из крови и плоти. И мы с солнцем любовались им, тянулись к нему. Солнце — яркими и ласковыми лучами, я — своей тенью, покорно упавшей к волшебного гладким ногам.

Глубоко внутри засвербела мысль-заноза: «Сейчас она снимет очки, и под ними окажутся улыбочиво-пустые глаза». Я, оператор «Мемориала», видел таких тысячи тысяч. В них медленно и мутно блуждают лёгкая досада и раздражение. Девушки обычно кручинятся о сломанном ногте, потерянной сумочке, спортивном проигрыше. Им просто не о чем переживать в безоблачной стране бесконечного счастья! Но даже маленьких неприятностей достаточно, чтобы прийти сюда — удалять саднящий дискомфорт.

Наверное, поэтому я старался задержать время, схватить его за хвост, как кота, норовящего ускользнуть в приоткрытую дверь.

Я боялся каждого следующего мгновения.

Я ждал каждого следующего мгновения.

Я видел, как в луче солнца, падающего из-за моей спины, медленно кружат невесомые пылинки, и задерживал дыхание, чтобы не нарушить их полёт. Чтобы пространство вокруг меня замерло и не думало шелохнуться.

Я боялся убедиться, что она — такая же, как тысячи тысяч других.

Девушка почувствовала мой взгляд и сняла очки. Я увидел не глаза — июльское разнотравье. Живые. Смеющиеся. Такие, о которых я мечтал всю жизнь. Губы вспорхнули невесомой бабочкой-улыбкой:

— Здравствуй, господин Силуэт!

Я представил себя со стороны: действительно, неподвижный тёмный контур в дверном проёме холла медицинской клиники.

А вдруг я похож на ангела? Я читал о них в старинных книгах. Они являлись людям в одеждах белых и светящихся. Облачко взвихрённой пыли над головой вполне могло сойти за потрёпанный нимб, белый халат — за опущенные крылья.

Разлепив сухие шершавые губы, выдавил:

— Сегодня в клинике выходной. Процедуры не проводятся...

— А что вы здесь делаете?

— Провожу исследование в личное время.

— Вы творец?

— Изобретатель. Работаю над улучшением «Мемориала».

Она внимательно взглянула мне в глаза и промолчала.

На миг мне показалось, что я слышу, как золотистые пылинки опускаются на носок туфли, которую девушка, полусняв, задумчиво раскачивает на большом пальце ноги.

— Думаю, вы мне поможете. Я хочу стереть себя. Полностью.

Уничтожить?! Убить?! Ликвидировать?! Заставить исчезнуть всё, чем я только что любовался, — руки, июль, улыбку, невесомое облако золотистых волос?

Она настойчиво шлёпнула туфлей по розовой пяточке. Влетела с дивана и оказалась рядом со мной:

— Это не шутка. Я не проходила процедуру стабилизации. Настал момент, когда я горько об этом пожалела. Мне не пережить того, что я чувствую: слишком больно. Сотрите меня. Я заплачу.

Мне стало любопытно: что может предложить дикарка в обмен на безболезненную и комфортную смерть?

— И что, по-твоему, способно заинтересовать меня?

Крылья бабочки приблизились к уху, коснулись его жарким шёпотом:

— Моё тело.

Я отпрянул. Она спокойно смотрела на меня из полутьмы приёмной. Издевается? Секс больше не является ценностью, он давно доступен для всех и каждого. Стоит нажать кнопку и сделать заявку — система тут же позаботится о поиске оптимального варианта.

Незнакомка уловила мою усмешку:

— Тело как биологическое сырьё. Органы всегда в цене. Вы можете использовать их в своей работе. Или выгодно продать, если захотите. Как вам угодно.

Шершавый жёрнов языка пришёл в движение, выдав официальное:

— Проходите в кабинет.

— Значит — согласны?

Я молча обошёл незнакомку и невольно вдохнул как можно глубже, втягивая в себя аромат цветочного луга, исходящий от её волос.

Прикоснулся пальцем к сенсорному замку и открыл дверь операционной, пропустив девушку вперед. Она отразилась тысячами осколков самой себя в зеркальных поверхностях пола, потолка, шкафов и стеклянных перегородок. Мне было трудно не любоваться ею, удивительно лёгкой, призывно манящей.

— Как тебя зовут?

— Лия.

— Сколько лет?

— Восемнадцать.

— И вдруг — умереть?

— Это всегда случается вдруг. Разве нет?

— Сейчас уже нет. Всё идёт по строго утверждённому плану.

— Наверное, такое возможно только в нашем, искусственном мире.

— Из какого мира пришла ты?

— Сам знаешь.

Она уселась в металлическое кресло напротив моего рабочего стола и старалась превратиться в обычного пациента.

— Что с документами?

— В порядке. Я недавно живу в колонии, регистрация в мегаполисе и страховка не потеряли силы. Здесь в моей собственности есть даже хорошая квартира с видом на море. Вещи, мебель — на месте. Хочешь — подарю?

Я подумал, что в её доме запах моря смешивается с запахом летних трав. Настоячивый синий проникает в нежный зелёный и венчается солнечно-красным, превращаясь в ослепительно белый. Говорят, что весь мир состоит только из трёх цветов. И, наверное, миллиона ароматов.

Я понял, что мне больше не забыть запах этой женщины. Но самое ужасное — не хочется потерять его навсегда. Приходилось растягивать минуты мучительно сладкого медового присутствия:

— По инструкции я обязан провести увещательную беседу...

— Не будем терять времени: решение принято.

— У меня лишь один вопрос: почему ты уехала?

— Я полюбила.

В носу защекотал подлый мужской интерес:

— И что?

— Ты хочешь узнать об этом чувстве, потому что никогда не испытывал его?

Сознание прикрылось надёжным щитом прописных истин:

— Предпочёл быть счастливым.

Она пальцами обхватила гладкую ручку кресла.

— В одном ты прав: градус любви, как вино, настаивается на боли. Чем сильнее — тем больше.

— Значит, он не любил тебя! Во многих старых бумажных носителях информации написано, что «любить другого — значит жалеть его, быть готовым прийти на помощь и сделать жизнь партнёра счастливой».

Лия рассыпала по комнате бисер звонкого смеха.

Она смеялась, запрокинув голову назад, и волосы золотым пламенем обжигали ей спину.

— Как забавно! Последний человек, с которым я говорю при жизни, — то ли врач, то ли палач. Или дурак. А может, бездушная компьютерная программа в человеческом облике? — Она презрительно смотрела на моё растерянное, непонимающее лицо. — Ты действительно хочешь знать, что такое любовь? Хорошо, слушай... Любить — это значит бояться пережить дорогого тебе человека даже на несколько секунд. Потому что без сердца и души жить невозможно. Мне казалось, что мы с Ником обречены погибнуть вместе. Ведь он профессионально занимался гонками на аэромобилях! Пацанская забава, рискованная, но ему нравилось... Говорил, что так полнее чувствуешь вкус жизни. Он всегда брал меня с собой в небо, с того самого дня, как увёз из мегаполиса. Считал своим талисманом. А в тот последний раз — не взял... И теперь я не могу спать, потому что каждую ночь ко мне приходит его дыхание, его голос, его ласки... и падающий на землю факел аэромобиля. Каждую ночь, раз за разом, я сгораю вместе с ним. Я хочу умереть...

В операционной на несколько минут повисла нехорошая тишина. Было слышно, как от вибрации «Мемориала» дрожат и поскрипывают стоящие на полках колбочки и железки.

— Ты сотрёшь меня с помощью той штуки? — она кивнула в сторону дальней стены.

— Да, это «Мемориал».

— От слова «мемори» — память? Похож на обычный солярий...

Я пожал плечами: никогда не задумывался. Работает и работает. Несёт радость людям по всей огромной стране.

Десятки лет функции «Мемориала» не менялись: машина могла полностью ней-

трализовать участки человеческого мозга, способные вызвать негативные эмоции. Как вариант — полностью «стиралась» личность человека. Машина убивала, вводя в беспробудный сон. Гуманный метод для тяжелобольных и обречённых.

Несколько лет назад я занялся усовершенствованием аппарата. Расчёты показали, что в состоянии глубокого сна душа человека может быть отделена от тела, после чего последует её уничтожение либо замена данной сущности на любой другой аналогичный энергетический объект.

Одна душа может быть заменена другой, а тело от этого не пострадает!

Пересадка душ!

Вечная жизнь!

«Нобелевка» и мой личный рай в кармане.

— Куда положить вещи?

Господи! Они всегда это спрашивают! Не было человека, который бы перед смертью не побеспокоился о том, куда пристроить своё барахло.

Сейчас это бесконечно рефлектирующее повторение особенно раздражало. Я пытался собраться с мыслями, ещё раз «прокрутить» единственно правильный алгоритм, позволяющий перенести мою душу в тело Лии. Если что-то пойдёт не так, то мы погибнем оба, умрём в одну и ту же секунду.

Аведь я даже не любил её по-настоящему...

Набрав в грудь побольше воздуха, я обернулся, чтобы прочесть пациенту необходимую инструкцию: куда положить вещи, как лечь, когда закрыть глаза и о чём предпочтительней думать во время процедуры.

Рот остался открытым. Из него сиплым пфыком выходил не пригодившийся воздух.

Лия стояла рядом с «Мемориалом» в одних туфельках, аккуратно складывая крохотный лоскут белой юбки.

Зеркальный пол повторял картину в самом откровенном ракурсе.

Я поспешно отвёл глаза, возблагодарив собственную предусмотрительность: мой личный таймер не вшит под кожу, иначе минут через десять здесь появилась бы какая-нибудь незнакомка, без лишних слов готовая следовать моим капризам и желаниям.

У «программных девушек» один непреодолимый недостаток: с ними, как и в старые добрые времена, нужно как минимум знакомиться, а как максимум — разговаривать. Напрягает. Вероятно, скоро информация о партнёре сразу, без лишних слов будет передаваться в сознание посредством, например, ру-

копожатия. И наше общество в очередной раз станет намного счастливее.

Я обернулся. В неживом свете внутренних «Мемориала» Лия напоминала персик, внезапно попавший из солнечного лета в морозильную камеру. Смуглое тело покрыли пупырышки, тонкие волоски на нём приподнялись от холода. Привычными движениями я зафиксировал руки и ноги пациентки в аппарате, стараясь продлить каждое из шёлковых прикосновений.

— У тебя тёплые руки.

— Они кажутся тёплыми, потому что ты очень замёрзла.

— Странно, через несколько минут меня больше не будет. Исчезнет всё, что я знала и помнила. Но именно сейчас мне захотелось узнать твоё имя.

— Дрэв.

Она мазнула взглядом по моему лицу и куда-то вниз:

— Подходит.

— Закрой глаза. Сейчас я опущу крышку аппарата. Можешь думать о чём захочешь, вспоминать любые события. Как перед обычным сном.

Она утвердительно поелозила затылком:

— Скажи, а это... точно не больно?

— Абсолютно.

— Я чувствую себя как в космическом корабле. Мне предстоит лететь многие-многие тысячи световых лет. Поэтому меня решили на время усыпить. А потом разбудят снова. Дрэв, ты когда-нибудь видел звёзды?

— Нет. От города ночью исходит очень яркий свет, он перекрывает все природные источники излучения.

— А мы с Ником взлетали высоко-высоко в небо, к самым звёздам. Внизу кажется, что все одинаковые, но это не так. Каждая светит по-своему. И мы пробовали угадать, что именно видел звёздный свет, пока шёл до нашей планеты. Думали: «Сейчас он касается нас, а потом полетит дальше. Будет лететь и лететь, до самого края Вселенной. А нас уже больше не будет. Но свет далекой звезды запомнит Ника и Лию молодыми, живыми и любящими...»

— Сколько ты продержалась без него?

— Чуть больше месяца.

— Слишком мало, чтобы принимать решения...

— Слишком много, чтобы устать жить...

— Тебе страшно?

— Конечно. Умирать всегда страшно.

Я провёл ладонью по гладкой холодной щеке:

— Поехали?
— Полетели. К звёздам!
Крышка «Мемориала» плавно опустилась, слизнула и поглотила её навсегда.

Я поставил таймер ожидания на десять минут — время моего последнего существования в мужском теле.

Или вообще — существования. Как пове- зёт...

Разделся, вздрогнув от обжигающего хо- лода зеркального пола операционной. Лёг на гладкую платформу второго «Мемориала», установленного в соседней комнате. Потянул на себя крышку аппарата. С шумом выдавил из лёгких лишний воздух.

Оба «Мемориала» работали в штатном ре- жиме. Вибрация и гул усиливались. В сознание начали проникать хаотичные образы. Я не бо- ролся с ними, не боялся их. Просто ждал, когда наступит фаза глубокого, тёмного сна.

Сердце, останавливаясь, замедляло удары. Дыхание успокаивалось, становилось лёгким и поверхностным. Кровь перестала стучать в виски, скапливаясь где-то внутри умирающе- го организма.

Манящая, тёплая, тёмная пустота.
Вокруг ничего не было. Постепенно из это- го вечного небытия стали проступать огром- ные звёзды. Я никогда их не видел, но понял, эти огни — они. Переливаются. Такие далёкие и красивые. Хотелось смотреть не отрываясь. Говорят, что в космосе бесконечное множество звёзд, галактик и прочих небесных тел. Всё куда-то несётся и расширяется, разбегается, удаляется. словно боится коснуться друг дру- га и поранить...

На бархатном полотне ночного неба поя- вился стремительно приближающийся яркий огонь. Комета? Я читал, что именно они напо- минают падающие факелы.

Она летела прямо на меня. Я почувство- вал, как пламя лизнуло напряжённое, иска- жённое страхом лицо.

Вскрикнул. Хрюснуло раздавленное тело. Головой стукнулся о верхнюю крышку «Мемориала», упёрся руками, откинул тяжё- лую створку, сел. Изнутри открывать всегда тяжелее, чем снаружи. Убрал длинную паути- ну волос со своего лица.

Яркий свет брызнул в глаза, ослепив.
Я хотел прикрыть глаза рукой, но тут же, испугавшись, отёрнул — я увидел тонкие длинные пальцы с аккуратными овальными ногтями и парой блестящих колечек.

Эксперимент удался! Передача энергии в живую материю с использованием комплекс-

ной системы «Мемориал» возможна и чрезвы- чайно эффективна!

Легко спрыгнув с аппарата, я на цыпоч- ках (на цыпочках?) подлетел к зеркальной стене и замер. На меня смотрела обнажённая девушка, тело которой повиновалось каждой из моих мыслей. Плоть, неистово хотевшая жить. Я стал её новым господином. Но пока не знал, что делать с такой манящей и беспре- дельной властью. Это чрезвычайно возбужда- ло воображение.

Медленно провёл рукой вниз по шёлково- му животу. Внутри женского тела сразу ста- ло горячо. Не снаружи, а именно внутри. Это было непривычно и страшно. Казалось, что подглядываешь в щель женской раздевалки. А может, скоро в комнате появится настоящая Лия и вытрясет из меня душу за совершённое кощунство?

Но ничего не происходило. Никто не при- ходил и не пытался оторвать руку за греховное блуждание по чужому беспомощному телу.

Девушка в зеркале выглядела растерян- ной и жалкой, как уродливая школьница на первом в жизни свидании. Мы смотрели друг на друга, не торопя события. Но они не заста- вили себя ждать.

Как раз после того, как мне удалось сгру- зить моё бывшее тело в камеру долговременно- го хранения, в дверь операционной постучали и, не ожидая приглашения, открыли.

В операционную вошел высокий молодой человек и с любопытством воззрился на мои прелести.

— Лия Уилсон? От вас был получен сигнал о готовности к сексуальному контакту. Вот карточка подтверждения. Меня зовут Ридмен, 28 лет, полностью здоров. Как вижу, вы мне подходите.

Личная карточка каждого гражданина автоматически активизируется после пере- сечения регистрационной линии любого ме- гаполиса. Значит, у Лии был вживлён чип, и система сработала в лучшем виде. От моих прикосновений тело девушки проснулось, передав нужный сигнал в распределитель. На встречу со мной прислан лучший из воз- можных вариантов. И что мне сейчас с ним делать?

В моей голове продолжали роиться сомне- ния. Но счастливые люди не сомневаются ни- когда. Они всегда уверены, что поступают пра- вильно. Особенно когда у них есть «карточка подтверждения» своих прав.

Ридмен шагнул к моему новому телу и ре- шил задать несколько уточняющих вопросов:

— У тебя есть предпочтения в позах и вре- мени продолжительности контакта? Может быть, что-нибудь особенное? Любимые игруш- ки? Движения? Сила? Что ты сама можешь мне предложить?

— Я могу предложить тебе убратся. И как можно скорее.

— Но карточка... Это же серьёзный штраф! Негативные эмоции! Разве ты хочешь полу- чить их, а не удовольствие?

Мне хотелось выразиться в том смысле, что я не люблю его... Стоп! Что это?! Послеопераци- онный след? Какая-то часть чувств Лии продол- жает жить?! Её тело помнит о чувстве любви?! Но расчёты утверждали: это невозможно, пере- данная мной энергия должна была полностью заменить, стереть предыдущую.

— Дай мне карточку, Ридмен!
Я со злостью приложил наманикюренный палец к графе «Полный отказ»:

— Подожди несколько минут, скоро систе- ма подберёт тебе новый вариант.

Парень молча вышел из операционной, за- крыв за собой дверь. В совершенно счастливом обществе не было и речи об изнасилованиях.

...Через несколько часов я нашел домик у моря, где когда-то жила Лия.

Осторожно открыл дверь, и меня захлест- нула волна нежности: беспощадный синий проникал в покорно-зеленый и освещался сол- нечно-красным, превращаясь в ослепительно белый. Синее море и яркое солнце над ним. Бе- лые стены и окна комнат с развевающимися на ветру прозрачными шторами.

Медово-зелёные глаза горели невыплакан- ными, тяжелыми слезами.

Я ждал приближения ночи.
Я боялся приближения ночи.

Я знал, что как только наступит ночь, в дом войдёт настоящий хозяин этого женского тела.

При его появлении изменился сам воздух, становясь более тягучим и плотным. Вздрос-

нули и опали шторы, впустив в комнату неве- сомый ночной свет.

Что-то сжалось внутри моего тела в пред- вкушении наступающего счастья.

Сердце подкатило к горлу и заколотилось в ушах. Дуновение ветра коснулось руки, под- нялось вверх по шее. Лия убрала волну волос, открывая место поцелую. Он прикоснулся лег- ко и нежно — щекочущий взмах крыльев ба- бочки по обнажённой коже... Лия напряглась и вздохнула, разгоняя по дрожащему телу го- рячую волну трепета. Всюду был только Ник, его запах сводил с ума, быстрые сильные поце- луи вызывали непереносимую тягучую боль, рождающую стон. Не хватало дыхания. Хоте- лось двигаться навстречу к нему и прочь, бы- стрее и быстрее...

Животное чувство вырывало из объятий цивилизации и швыряло во временное небы- тие, из которого был единственный выход — дожждаться радужного взрыва внутри себя и, ослабев, несколько секунд испытывать отсут- ствие мыслей, желаний, времени — счастье...

Оказывается, так бывает в жизни. В насто- ящей, обычной, человеческой жизни. Люди становятся естественным продолжением друг друга. Тело честнее души: оно не может слу- жить двум господам одновременно. Я был лишним.

Одна неделимая душа на двоих — это и есть любовь...

...Крышка «Мемориала» плавно опусти- лась на лицо. Глубоко вздохнув, приготовился к приходу хаотических образов. Я знал, что увижу. Девушку с необыкновенной золоти-стой кожей и глазами цвета июльского раз- нотравья. И парня, без которого она не смогла жить.

Они прыгали, как мифические единороги, по разноцветной радуге.

Они были счастливы.
Они уходили в вечное небо.

Ольга Валерьевна Дружинина родилась в Шадринске Курганской области. В 2000 г. окончила филологический факультет Шадринского государственного педагогического института; в 2002 г. — факультет журналистики Уральского государственного университета (УрГУ). С 2004 г. по настоящее время — ведущий специалист по аналитической работе и связям с общественностью Шадринского автоагрегатного завода (предприятие машиностроительного комплекса Уральской горно-металлургической компании). Неоднократный победитель корпоративных конкурсов УГМК среди журналистов СМИ холдинга. Автор-составитель и редактор сборников «Герои Великой Победы» (2010), «Профессия — инструментальщик» (2012), посвящённых ветеранам и работникам ОАО «ШААЗ». Автор нескольких тысяч публикаций в средствах массовой информации различного уровня, включая электронные ресурсы. Член Союза журналистов России.



Алексей Ивантер

LA VITA FUGGE

Крест

О, жизнь моя! Вся внедомовку, как дождь в монастырском саду. Но нет ни резону, ни толку орать у Москвы на виду, пускай на Оке пароходик по меленьким волнам идёт, так ранняя зрелость проходит, так поздняя нежность грядёт, так мимо столиц и околиц немытое тело влачах нездешний на вид богомолец с незримым крестом на плечах.

Мой дом обихоженный сложен поодаль камней межевых, давно никому я не должен из тех, кто остался в живых. Не знаю твою Колыму я, живу на ином берегу, не должен давно никому я из тех, кто в колымском снегу, из тех, кто лежит по ложбинам, в лесу под бузинным кустом, лишь в том безнадёжно повинным, что жили под этим крестом. Ну что нам знамёна святые, хоругви потешных полков? Мы помним вагоны пустые, идущие из тупиков. Поёт на вокзале калека, и койки сдаются внаём, вот память двадцатого века, застрявшая в горле моём. Среди расконвойных и пленных мне — ворону проклятых мест — не пойте вы песен военных про русский особенный крест!

Но тем и жива и велика невнятная эта страна, что в горле до смертного крика у нас застревает она.

Алтай

Я старую папку листаю и только теперь узнаю, как шёл я весной по Алтаю и душу не видел свою. Я видел дымы и долины, Катунских холмов горбыли, овец тонкорунные спины и всадников чёрных вдали, и тайный, как промысел Божий, народ, что укрыли века...

Но то, что сокрыто под кожей, ещё я не видел пока.

Лесом

Я жизнью шёл, как ходят лесом, я бурей правил свой «Арго», и стали мне являться бесы в обличи ангелов Его. Они родные песни пели и не имели гнусных рыл, но блики адские горели на опереньи ложных крыл. Когда упала с глаз завеса, лишь свет едва прорезал мглу — вокруг меня толпились бесы, как на булгаковском балу. Я с тенью мнимой бодался над полыньёй на кромке льда, я лесом шёл, я ошибался, так ошибался, что беда.

Как чует плоть дорожку криву! Но снова свет над головой — вернул Господь мне душу живу, проснулся ангел строевой.

Сплав

А если Он не прав, и льнёт к земле земное, и нету в небесах ни келий, ни кают, так отчего тогда по Небу сердце ноет и люди на Земле ночные слёзы льют? И если — Он не прав и зря душа алкала, так отчего горюч славянский алфавит и сложный русский сплав небесного закала не стынет на ветру, как колокол, гудит?

* * *

Под скрипку — бывает и круче — в каморке дешёвой внаём я плачу от «Бесаме мучо», сгоревшего в сердце моём. А ниже — мощёная площадь со всей суетой и едой, и платье гречанка полощет в корыте с кипучей водой. Всей памятью сердца короткой, в ладонь зарываясь щекой, я плачу от выпитой водки, от въевшейся соли морской — о том, что всё косо и криво, что спирт не сжигает беду...

Был шторм; и сломало оливу в не купленном нами саду. А речь, как слепая стихия, стоит за стеной крепостной, и жидкие слёзы мужские смешны на неделе Страстной. Груз сердца и мрачен и светел, но ноша своя ль тяжела?

Нас клюнул прожаренный петел, ужалила в горло пчела.

Тамань

Не было ни рая и ни ада — жизнь текла, как липкий пот со лба, близкая мне снилась канонада, и чужая виделась судьба. Снились сёла в камне и в самане, низкий берег, Керченский пролив, снилось, пели — бабы на Тамани, тёплым спиртом горла опалив. Снились кони, выкрики и лица, речь чужая ночью по двору, снилась, снилась чёрная земляца — не к добру, должно быть, не к добру. Снились мне — живые ополченцы, вестовые — в дыме и огне, снилось мне — оружие младенцы тянут руки чёрные ко мне. И как Божья кара или милость, босиком на вылегшем снегу до утра всё женщина мне снилась, о которой думать не могу.

* * *

Как неизменна жизни хрящевина, когда судьба разрублена на пне! И женщина, родившая мне сына, звучит и не кончается во мне. Душа моя сменила оболочку, но, как лоза, растущая из пня, и женщина, родившая мне дочку, никак не делима от меня. Расклянцуй мне сердце, за морем си-ница, как времена в пожарах и золе! И женщина, которая мне снится, — я без неё не жил бы на Земле.

Сухим огнём калимы и палимы, мы знаем жар и ливень навесной, но друг от друга мы неотделимы и в детской плоти слеплены одной.

Марфуша

...и чудится воздух цинготный, и дух застоялый квасной в субботу, как кашель перхотный за тонкой хрущёвской стеной. За высохшей липой больно нет старого дома давно, но в воздухе над бузиной бесплотное светит окно. Скользит по руке волоконце, не тягостна ноша своя. И в чистое смотрит оконце Марфушенька, Марфа моя. Долги наши, вечные долги... Горел этот ясный костёр, придя с раскулаченной Волги, для тёток моих и сестёр, для мамы, меня и племянки, и бабки моей, и отца... Жировки, кастрюли, рубашки... До светлого в Боге конца. Сидит, зажимая трёхперстье, и в низкое наше окно так смотрит, как смотрят из смерти, живым как смотреть не дано.

Стыд

Ну, не горюй, моя мадонна, ну, не выискивай улик: ведь человек — не из бетона, он слаб, но в слабости велик. Велик, когда встаёт из грязи и жить решает по уму, велик, когда перечит князю, а после бьёт челом ему, когда себя изобличает, горит, как тонкая свеча, велик, когда долги прощает, и умирает, не ропща. Велик сомнением толиким и верой в нашу колею, велик стыдом своим великим за жизнь греховную свою. Когда одним стыдом нам данным, лишь им палимы изнутри, встаём мы в полный рост нежданно там, где легли богатыри — от разу раз, от века к веку, во всех суетах, всех грехах — не бросишь камень в человека, захочешь бросить — нет в руках.

В коридоре

В больничном длинном коридоре на расстоянии руки и чей-то смех, и чьё-то горе равновелико да- леки. Гудок последний жизни тленной и тихий вздох над белым лбом — тут это всё в иной Вселен- ной, в другом пространстве мировом. Так привыкаешь к горю вскоре, так поедает сердце ржой, что горе кажется не горем, а жизнью дальнею чужой. Она стучит в ворота наши, она течёт по сторонам, но путь чужой, чужую чашу не нам топтать и пить не нам. Крепись же, сердце ретивое, гляди спокойно и светло, как наше горе — всем чужое — уже котомку собрало.

La vita fugge

La vita fugge — сказал Петрарка. Да, жизнь — беглянка, она такая... Но есть закуска, и есть за- варка, дары Бордо есть, дары Токая. Я с детства помню — la vita fugge, я поздно понял, что это значит, но мы с тобою живём друг в друге, la vita fugge, а сердце плачет. Она уходит зимой и летом, как в ополчение в ночь мужчина, родишься голым, живёшь поэтом и умираешь обычным чином. Судьба — копейка, а жизнь — полова, но только это взаимы даётся, и только слово, и толь- ко слово, и только слово нам остаётся.

Алексей Ивантер родился в 1961 г. в Москве. Учился в МГПИ им. Ленина. В 1989—1995 гг. работал директором издательства «Постскриптум». С 1999 г. — директор проектно-конструкторского бюро, специализирующегося в области амфибийной авиации. Публиковался в журналах «Арион», «Дружба народов», «Знамя», «Сибирские огни». Автор книг стихотворений «Гул земной» (1982), «Войско певчее» (1984), «Петушина звезда» (1990), «Держава жаворонков» (2004), «Дальнобойная флейта» (2006), «Каменная правда» (2010), «Станция Плюсса» (2012). Живёт и работает в Москве.



Алёна Бабанская

Путешествия
из прошлого

Баба

От каменной бабы степной начинается зной.
Глаза её — ястреб, лодыжки её — перегной.
Скудны её груди, а в косах полова и сныть.
Обет её труден: рожать, поднимать, хоронить.
Ах, сколько вас бродит, и каждый могуч и горазд
У каменных бёдер, вселяя вселенский оргазм,
Ах, сколько вас сгинет, батыров, народов, племён
На плоской равнине, ведь сердце её — скорпион.
Не ведай, что будет, кровавых даров не жалея,
Скудны её груди, дыхание её — суховей.

Иероним

Ну, здравствуй, Босх Иероним,
Кого сегодня полоним?
Поймаем осень за грудки,
За паровозные гудки.
Её избыточный колор
И стадо красное коров,
Солому жёлтую в валках,
Синицу мёртвую в руках,
Лесную царственную тень
В короне солнца набекрень.

Ну, здравствуй, Босх Иероним,
Кого сегодня поманим?
Кухарку в фартуке до пят,
Торговок, грузчиков, солдат,
Мальцов, играющих в лапту?
Я завтра, может, к ним уйду,
В пейзаж, исполненный холмов,
Блестящих шпилей и домов,
Где слышится за десять вёрст,
Как дождь слепой идёт на холст,
Где сводит медленно с ума
И светотень. И полутьма.

Кочевая песенка

Хочется дальних поездок,
Хочется поля за лесом,
Чёрных обочин и трасс:
Там, где летит грузовая,
Копотью вдруг обдавая,
Наша судьба мимо нас.

Хочется дальних поездок,
Тощих вокзалов облезлых,
Богом забытых углов.
Нам бы не пряников кузов:
Едем в Коломну и Рузу,
Ждёт впечатлений улов.

Друг мой, любимый, болезный,
Скучно в столице помпезной,
Купим билет — и адъёс!
Муза зовет кочевая,
Лёгкий мотив напевая
В такт метроному колёс.

* * *

Трава по-прежнему свежа,
Но пахнет гнилью и болотом.
И режут небо без ножа
Тугие крылья самолёта.
Ещё бездельники-ветра
Не обнесли листвы блестящей.
На дне оврага по утрам
Клубит туман — хвостатый ящер.
К полудню путает следы,
Как ученик ленивый строки.
На ветке яблони плоды
Надули ангельские щёки.
Зарделись, точно от стыда,
И осыпаются неловко.
На лопухе блестит звезда,
Её сорваламышь-полёвка.
Покуда дождь не зарядил,
Пройдем манящей кромкой пруда.
Нам вроде снова по пути,
А да(о)льше я любить не буду.

Бильбоке

Мне ловится в сети плотва и чебак,
Мне ловится в сети залётный рыбак
В расшитом кафтане и с тростью.
Вы тоже ловили, но, видно, не так,
Настырную пешку и дамку в летах,
Вы тоже ловили, но бросьте.

Вы тоже ловили, но это не в счёт,
В реке, где московское время течёт,
Где бродит пятнистая щука.
Вы тоже бродили обратно-туда,
Где густо волынкой гудят поезда,
И куксится сизая скука.

Вы тоже, уверена, знали места,
Где плещется молодь и виснет виста,
Точнее, звезда роковая.
Там дёргает ветер траву за вихор,
А тёплый, в подпалинах рыжих, бугор
Похож на ломоть каравая.

Я там принимала шесть капель на грудь,
Чтоб кривду кривую назад разогнуть,
Вот-вот — и получится даже!
Белёсый клубится туман в сосняке,
Там леший играет луной в бильбоке,
Он тоже вам правды не скажет.

(Не) путевые заметки

Пейзаж, куда ни глянь, не нов — снега, снега,
снега.
Бежит дорога меж холмов, как водится, долга.
И время замедляет ход, и даже думать лень,
Какой придумывал удоб названья деревень —
Такой фантазии полёт с какого бодуна?
Но, видимо, каков народ, такая и страна.
Повсюду скудная земля — что поле, что

погост.
К дороге жмутся тополя в пушистых кляксах
гнёзд.

Последняя метель летит, несутся кони блед.
Церковной маковки фитиль горит, как маков
цвет.

Провинциальный город N с кремлёвскою
стенной.

Не ожидают перемен в прорехе временной.
Провинциальный город N, одно из жутких
мест,

Где человеку бизнесмен, конечно, люпус эст.
Но тянет дымом и весной. Вблизи дорожных
плит

Наличник светится резной, старуха семенит.
Я ворочусь издалека, неся благую весть:
Пускай лишь теплится слегка, но жизнь
за МКАДом есть!

В медвежьих брошенных углах меж пьяни
и жулья

Из света в тень, из праха в прах, течёт
сестра моя.

* * *

Не живёшь, а доживаешь.
За некрашеным окном
Снова туча дождевая
Наливается пятном.
Рассветает до полудня,
В шесть включают фонари.
Проплываешь в липком студне,
Что снаружи — то внутри.
Лишь права качаешь птичьи,
Да торчишь особняком
При отсутствии величья,
Тыча в небо плавником.

* * *

Садится солнце медленно
В багровом неглиже.
Не холодно, но ветрено,
Тоскливо на душе.
Что нужно ей, разнеженной,
Капризной, как дитя? —
Пройти тропой заснеженной,
Ледышками хрустя.

Коричневою шкурою
Щетинятся холмы.
На ветках птицы снулые
Сидят, как сгустки тьмы,
Она ж накроет саваном,
Прищурится луной...
Но пахнет ветер западный
Негаданной весной.

Алёна Бабанская родилась в подмосковном городе Кашира.

Закончила филологический факультет МГПИ им. Ленина.

Печаталась в журналах «Арион», «Крещатик», «Дети Ра», «Волга», «Литературная учеба», «Homo Legens», «Кукумбер» и других.

Дипломант Международного литературного фестиваля Русский Slil 2010 (Германия), призёр ряда международных и российских литературных конкурсов.

Живёт в Москве, работает в издательском доме «ПЛАС».

Молитва

Свет ты мой, батюшка родный,
что там с погодой лётной?
Тучи поднялись, поди.
Ты от меня не лети.
Пёрышки чистить — пустое,
где измеренье шестое?
пятое бьётся в груди.
Ты от меня не лети.
Пусть твой шесток невысокий,
пусть в огороде осока,
пусть не созрела лоза,
только бы слово сказать.
Лямку потянешь земную,
а перелётные, ну их!
Сколько собьётся в пути.
Ты от меня не лети.

Труба

наше дело — труба, играй,
даже если трубач убит.
захотели построить рай —
развалили последний быт.

виноватых ищи-свищи,
в стоге сена блеснут иглой.
а у следствия нет причин,
утешайся, трубач, игрой.

наше дело — табак, кирдык,
точно враг захватил в полон.
но куда заведёт язык,
если Киев со всех сторон?



Марк Котлярский

Цфат (Затерянный мир)

...всего лишь примерная попытка передать смутное, тревожащее впечатление от встречи с необычным, а для кого-то — и: затерянным миром.

Станный мир, неведомый, как неведом космос иудаизма.

Сказано в книге «Берешит» (книга Бытия): «...Ибо Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путями Господа, творя добро и справедливость»...

Дорога в Цфат — это и есть один из заповеданных (запутанных) путей Господа.

Так, право, кажется, когда автобус утлой улиткой взбирается, вскарабкиваясь, вверх — выше и выше — и растерянному, удивлённому взору открывается необыкновенная, пугающая красота, небо разворачивается голубым шатром, горы расправляют плечи, вьётся пестрой лентой дорогая дорога.

«Мы успели,
в гости к Богу
не бывает опозданий...»

Здесь, на пути в Цфат, строки Высоцкого обретают иной смысл, ибо здесь, в Цфате, у самого неба, тебя встречают ангелы, но поют они звонкими голосами любви и надежды.

Цфат.

Что значит этот город, затерянный в поднебесье?

Если Иерусалим всей мощью тяготеет к земле — всем золотом своим, всей мощью своей, всей строгостью своей, — то Цфат устремлён к небу.

О Цфате можно сказать словами Окуджавы: «Ты течёшь, как река, странное название...»; странное название — оно проистекает от древнееврейского слова «наблюдать»; город нависает над озером Кинерет («Тивериадское озеро» или «Галилейское море»), как козырёк картонного картуза, — недаром в некоторых источниках встречается название «Цфат ха-Кинерет» (наблюдающий за Кинеретом).

900 метров над уровнем моря — вот местоположение города, в чьём названии еврейские мистики усматривают ещё и аббревиатуру: «цви, пеэр, тифэрет» — «лепота, великолепие, слава».

Цфат — город каббалистов; но разве каббала не из области запредельного; разве это не голос горних высей?

Разве каббала не есть потайная дорожка, по которой посвящённые устремляются к Богу?

Вряд ли найдется в Израиле другой город, который был бы так близок к небу.

Вот уже 500 лет затерянный в горах Цфат — центр еврейской религиозной культуры. Ицхак Лурия, Хаим Витал, Моше Кордоверо, Иосиф Каро — эти имена и поныне составляют славу еврейства, этим великим мистикам было дано право общения с Господом, они слышали Его голос

и записывали явившиеся в смутном сознании откровения в удивительные, полные страсти и любви книги.

Мудрецы из Цфата. Кто они?

Кто эти гении молчания, учителя совести, советчики мудрости?

Их перечень может занять сотни страниц; однако же скажу о нескольких из них, чей свет ярко и мощно дошёл до сегодняшнего дня, не потеряв силы излучения.

Рабби Ицхак Шломо бен Лурия, более известный как Ари Каббалист: он создал свой вариант так называемой «лурианской каббалы»; его жизнь окутана туманом и легендами.

Младенцем он был вывезен из Иерусалима в Египет. Жизнь Лурии в Египте окутана легендами, как цветным туманом, за которым скрывается истина. Несколько лет подряд будущий каббалист прожил отшельником на принадлежавшем его тестю острове Рауда на Ниле. Увлекался мистикой, занимался в основном книгой «Зоар» («Сияние» — главная книга Каббалы) и трудами ранних каббалистов, а из современников — учением Моше Кордоверо.

В 1569 г. или в начале 1570 г. Лурия с семьёй переселился в Цфат, где занимался каббалой у Моше Кордоверо вплоть до смерти последнего (конец 1570 г.). Здесь он начал излагать и собственную, оригинальную систему каббалы в кругу учеников (известны имена тридцати из них), среди которых особо выделялся Хаим Витал. Подобно Сократу, Лурия не записывал своего учения и не распространял его за пределами своей школы, при жизни будучи более известен народу как святой человек, а не как каббалист. Иногда произносил проповеди в ашкеназской синагоге Цфата.

Лурия совершал частые прогулки по окрестностям Цфата: окружённый учениками, он указывал им на могилы святых людей, о которых узнавал якобы по наитию, учил, как входить в транс, — для того, чтобы общаться с душами умерших праведников, а ему самому во время медитации открывался пророк Элиягу (Илья).

...Как я уже говорил, этот великий каббалист не оставил после себя описания своего удивительного учения, за него это сделал ученик — Хаим Витал — в исполненной мудрости книге «Эц ха-хаим» («Древо жизни»).

По словам Витала, витальный Лурия, разъясняя суть системы собственных взглядов, оперировал тремя глобальными каббалистическими понятиями, связанными с космогонией:

«цимцум» («сокращение», «сжатие»), «швират ха-келим» («ломка, разрушение сосудов») и «тиккун» («исправление»).

Цфат — город, в котором таится столько тайн;

Цфат — город каббалистов и художников, обращённый своим светлым лицом к волшебной горе Мерон; сюда из синагоги рабби Иосифа Каро раз в году на весёлый праздник Лаг ба-Омер особая процессия доставляет драгоценный свиток Торы;

Цфат — где евреи жили всегда и где связь поколений не прерывалась ни-когда.

В справочной литературе можно найти информацию о том, что первое упоминание о Цфате встречается у фривольного Флавия.

Не исключено, что именно о жителях Цфата говорил шальной Иешуа:

— Вы — светоч мира. Город на горе невозможно спрятать!

Узкие улочки города напоминают петли причудливого узора, который создаётся, создается искусными руками вязальщицы, но всё это происходит на глазах: кажется, что город возникает из ничего, как возникает утренняя заря, распространяя вокруг себя алый цвет утра.

Нет, это отнюдь не цвет утрат, это цвет надежды, это соцветье мудрости, заключённое в трех словах, к которым так любил прибегать Ицхак Лурия:

— «Цимцум» — добровольное сокращение, сжатие Божественного начала, прежде заполнявшего всё пространство Вселенной; и цель этого сжатия — уступить место материальному миру;

— «Швират ха-келим» — катастрофа, ставшая возможной только потому, что сосуды, по которым проходил в этот мир Божественный свет добра, не выдержали напряжения и разбились; свет рассыпался, раздробился на отдельные искры, и в мире возникла тьма, то есть зло;

— чтобы в мире воцарилось добро, необходим «тиккун» — «исправление», восстановление разбитых сосудов, «собираание» рассыпанных искр. Вот к чему должен стремиться человек.

Между прочим, от городской площади Защитников (ее второе название — площадь Угля) вниз ведёт спуск к синагоге Ари (названной так в честь Ари-каббалиста); если свернуть от неё в сторону, то можно наткнуться на маленький тихий переулок с лестничкой, словно стежок, скрепляющий две параллельные улицы. Этот

переулочек именуется на иврите «Симтат ха-Машиах» — «Переулок Мессии», и это отнюдь не обязательная дань красивым словесам — это отражение давней истории, случившейся в начале XIX века.

В одно из прекрасных розовых утр, которыми так богат город, разговаривающий с Богом, кто-то из жителей обратил внимание, что на верхней ступеньке уже упоминавшейся лестницы на чистой салфетке примостилась кружка с водой; подобно козырьку, эту кружку накрывала хлебная горбушка.

— Странно... — сказал вслух тот, кто первым заметил живописную картинку.

— Странно... — ответил ему сосед, услышав занимательную историю.

— Странно... — сказали другие соседи, когда выяснилось, что кружка с водой и хлебом меняется каждое утро. — Кто бы это мог быть? Неужели кто-то из нас?

И это действительно был кто-то из них: старая, усталая женщина, которая жила в доме напротив; именно она каждое утро выходила на лестницу, меняла воду в кружке и накрывала её свежим, тёплым хлебом.

— Зачем ты это делаешь? — спросили усталую женщину.

— Знаете, когда придёт Мессия, ему будет непросто и тяжело подниматься по этой высокой лестнице, — ответила она. — Он устанет, ему захочется пить. А может, и перекусить. Вот почему я каждый день меняю хлеб и воду...

Через несколько лет старушка умерла, и уже никто не думал и не заботился о Мессии. Но память о доброй женщине сохранилась в названии — «Переулок Мессии»...

...Я брожу по старому цфатскому кладбищу, меж древних могил. Время не властно над памятью, евреи говорят с мудрецами не как с мертвецами, они беседуют с ними на языке живых.

Надписи на надгробьях — Ицхак Лурия, Моше Кордоверо, Иосиф Каро...

Загадочный, как карты Таро, Каро — рабби Иосиф Каро; его феноменальную книгу «Шульхан Арух» («Накрытый стол») — кодекс практических положений Устного Закона — можно назвать своего рода железным логическим уставом еврейства, который признают все без исключения направления иудаизма и вот уже несколько столетий используют и изучают иудеи по всему миру.

Иосиф Каро родился в семье раввинов. После изгнания из Испании в 1492 году его семья

поселилась в Португалии, а после изгнания оттуда в 1497 — в Стамбуле. Отец будущего гения тяжело перенёс переезд и рано умер; молодого человека взял под свою опеку его дядя — рав Ицхак Каро.

Иосиф рано женится и поселяется в Адрианаполе (Эдирне), где начинает писать свою книгу «Бейт Йосеф» — комментарии к книге Якова бен Ашера — «Арбаа Турим» — «Четыре тура».

(В скобках замечу, что этот удивительный труд представляет собой четыре главных раздела:

— «Орах Хаим» — законы повседневной жизни;

— «Хошен Ха-Мишпат» — имущественные споры и их решение;

— «Йоре Де'а» — запрещённые виды пищи и смешивания пищи;

«Эвен Ха-Эзер» — законы семьи и брака.)

...После смерти жены Каро женился вторично и переселился в Болгарию, а уже в 1536 году попал в Цфат, возможно, после остановки в Египте.

Здесь, в Цфате, и разворачивается основная «научная» деятельность, здесь он получает от своего учителя Якова Бейрава рукоположение в сан раввина, здесь пишет первые главы «Шульхан Арух» — книги, равной которой, как считают многие, не создано до сих пор. По словам Германа Вука, Каро ставил перед собой задачу — оставить потомкам настолько простой, ёмкий и общедоступный комментарий, что любой неподготовленный читатель мог бы сверяться с этим комментарием раз в месяц и таким образом освежать в памяти основные положения Закона. Это «Шульхан Арух» — итог кодификативной деятельности духовных авторитетов многих поколений, костяк всего раввинского обучения, своеобразное «пособие» для любого исследователя иудаизма, вне зависимости от возраста.

Я смотрю на выщербленную временем могильную плиту с надписью «Иосиф Каро»; рассказывают, что современники удивлялись силе ума и учёности творца «Шульхан Аруха». Иные считали его Боговдохновенным мужем. Молва гласила, будто Иосифу Каро являлся незримый вестник (магид) свыше и вещал ему великие истины закона.

Старый Цфат — это место, где пребывает истина и где прошлое ощутимо, лишено музейного глянца, примет тлена и распада.

Неподалёку от того места, где покоится Иосиф Каро, расположена старинная миква — ритуальный бассейн для омовения. Небольшой одноэтажный домик, которому свыше трёхсот лет.

«Миква». Это таинственное слово впервые встречается в самом начале Библии, и означает оно буквально «стечение вод»: в третий день Творения Господь «стечение вод назвал морями». С другой стороны, слово «миква» переводится и как «надежда», но мудрецы и комментаторы Торы полагают, что в контексте священных фраз эти слова вытекают одно из другого, составляют некий сплав, шифр, поддающийся разгадке: к примеру, знаменитое речение из книги пророка Иеремии «Господь — надежда Израиля» расшифровывается также как «Господь — миква Израиля», то есть место для очищения.

Но вернусь к самому месту — старому одноэтажному домику, расположенному неподалёку от кладбища, где захоронены великие еврейские мудрецы.

После того как проходишь небольшой предбанник, попадаешь в продолговатую гулкую залу, в конце которой можно видеть бассейн с проточной водой, он буквально врезан в стену небольшой пещеры, нависающей сверху подобно шатру. Погружаться в микву следует с головой, холодная вода обжигает, но магия её зовёт окунуться ещё и ещё раз.

Кстати, большинство религиозных евреев, помимо установленных Законом омовений, в обязательном порядке ходит в микву перед большими праздниками — чтобы подготовить себя к возвышенному состоянию и праздничной святости.

Небольшой, скромный одноэтажный домик; ему более трёхсот лет, но упрямые евреи приходят сюда, чтобы очиститься, как приходили сюда триста лет назад...

Впрочем, что такое триста лет для народа, чья история насчитывает тысячелетия?

«Который час», его спросили здесь, А он ответил любопытным: «Вечность!»

Который час здесь, среди великих могил, среди мистической «миквы», дарующей свежесть — телу и очищение — сердцу?

Затерянный мир? У нас — не ведающих своего прошлого. А для верующих людей это, повторим, живой мир мудрости.

Значит, верующие евреи живут вне времени?

Еврейские мудрецы говорят: умереть — это значит перейти в другую комнату.

...Вечером: синим звёздным вечером, когда звёздное покрывало накрывает город, — вечером:

встреча с двумя каббалистами.

Чтобы описать впечатление от этой встречи, понадобится целая глава.

Каббала — мистическое учение в иудаизме.

Каббала — чувство всеобъемлющей тайны.

Каббала — знания о множественности миров, тайные знания, благодаря которым человек может постичь Бога.

Каббалисты, которых я видел, излучали свет знаний. У обоих — глубокие пронизательные глаза, живая сочная речь, добрый и спокойный взгляд.

Что запомнилось? Проще сказать о главном.

Мы делим мир на видимое и невидимое, на известное и неизвестное. Наше представление о мире разбивается вдребезги, и из осколков ощущений не составить единой картины. Другое дело каббалисты; они соединяют видимое с невидимым, неизвестное с известным. То, что недоступно глазу, — доступно чувству, то, что недоступно чувству, — доступно знанию. Множество миров составляют один, единый мир, всё, что происходит в действительности, объясняется как проявление сил из скрытых миров, — и потому невозможно постигнуть смысл жизни без постижения смысла потустороннего...

...Один из каббалистов обликом своим походил на хасида. Кто-то из присутствующих не удержался и спросил у него:

— Простите, а к какому направлению вы принадлежите?

Каббалист, улыбнувшись, ответил:

— К иудаизму...

Цфат поражает обилием синагог, возраст многих — несколько столетий.

Разумеется, все синагоги за день не обойти, но в некоторых побывать удалось. А в синагогу брацлавских хасидов меня пригласили на службу.

Было время вечерней молитвы. Народу собралось много, мужчины на своей половине, женщины — на своей. С гостями приветливо здороваются, усаживают на свободные места, расспрашивают и, узнав, что многие из них здесь впервые, одобрительно кивают головами.

У всех в руках молитвенники, молодой хасид, улыбаясь, протягивает мне небольшую книжицу в кожаном переплёте и молча показывает на страницу, откуда стартует молитва.

Но вот кантор начинает...

Разговоры смолкают, пришла пора общения с Богом.

...Здесь, в синагоге, вдруг возникают странные мысли. Всё-таки евреи молятся как-то необычно: не стоят на коленях, не простираются ниц, не смотрят в рот священнослужителю и не повторяют вслед за ним священные тексты. Да и вообще: священнослужитель в синагоге — не пастырь, а молящиеся — не паства. Каждый ведёт разговор с Создателем один на один. Изредка, словно расставляя акценты в этом важном разговоре, сойдётся разноголосица в единый хор, который спустя мгновенье распадётся, рассыплется, раздробится.

Ещё одно наблюдение.

Почему синагога не отличается особой убранностью?

То ли дело — пышность католического храма или причудливая изысканность пагоды. Но, может быть, все эти украшения только отвлекают? Может быть, пышность подавляет, а изысканность — расслабляет? Наверное, человек должен быть внимателен и собран для беседы с Всевышним. Не должно быть ничего постороннего. Вот, кстати, и возможная разгадка того, почему в синагогах мужчины и женщины разделены. Даже если посмотреть на это с точки зрения обыденной: скажем, вы сидите на какой-то серьёзной лекции и замечаете рядом с собой обаятельную соседку. Хотите вы этого или не хотите, внимание ваше будет постоянно переключаться. Разумеется, молитва — дело куда более серьёзное, чем лекция...

Близится финал.

Мужчины становятся в круг. Медленно-медленно начинается движение в такт песнопению, круг то расширяется, то сужается, и вместе с этим повторяющимся изменением темп стремительно нарастает: быстрее, быстрее, быстрее...

— Отчаяния вообще не существует, — говорил рабби Нахман из Брацлава.

Когда не только воочию видишь пляшущих хасидов, но и сам ввинчиваешься в вихрь этой

пляски-молитвы, то в сердце буквально врывается чувство: «Да, отчаяния нет, есть только радость, обращённая к Богу»...

Четыре священных города, упоминающихся в Библии, находятся на территории современного Израиля:

Иерусалим, Хеврон, Цфат, Тверия.

Золотой Иерусалим; Хеврон, овейанный веками; Цфат поднебесный и... Тверия.

Тверия.

Подобрать какое-либо определение не так просто: лёгкий, прозрачный, голубой, невесомый... как ещё определить этот город, раскинувшийся у озера Кинерет? Природное израильское чудо, голубая чаша с пресной водой, мягкой как шёлк; озеро, чьё имя произведено от ивритского слова «кинор» — струнный музыкальный инструмент, созданный царём Давидом для игры в Храме... И когда трепетная рябь пробегает по телу озера, кажется, что некто невидимый перебирает струны царского инструмента и в прозрачном воздухе созидается мелодия любви и чуда.

Тверия.

Она возникает ниоткуда, соткавшись из суровых нитей истории; она моментально врезается в память, как вспышка магния; она вызывает в воображении кинематографические картинки, изображающие, как плывут по дороге надменные «корабли пустыни» — верблюды, нагруженные тяжёлыми тюками, и это не плод пустого вымысла: Тверия расположена на старом-престаром караванном пути, который связывал Вавилон с израильскими царствами. Этот укутанный тракт ценили и использовали греки, а затем римляне взяли его под свою опеку. Царь Ирод Антиппа в 14 году нашей эры воздвиг здесь свою столицу и назвал её в честь римского императора Тиберия.

Тверия — контраст страстной святости и мимолётности света, брызжущее огнями респектабельное побережье, неподалёку от которого — рукой подать — могила величайшего еврейского мудреца Рамбама. Там — шум и блеск, здесь — тишина, прозрачность и спокойствие, там — суетность сиюминутности, здесь — невесомое бремя вечности. Кажется, что вечность обтекает тебя, как вода, и ты стоишь буквально замороженный неземным прикосновением.

Рамбам — рабби Моше Бен Маймон — известный европейцам как Маймонид.

К могиле Рамбама ведёт тенистая аллея, обрамлённая строгими стелами. На каждой из них — изречения из священных книг, словно вехи, указующие путь к мудрости.

«У вернувшихся к вере духовной, — писал Рамбам, — силы больше, чем у того, кто никогда не грешил...»

Рамбам-Маймонид — имя, как удар колокола; человек, о котором говорили: «От Моше до Моше не было равного Моше»; врач, математик, философ, законоучитель, блистательный стилист и яростный полемист, неистовый толкователь Торы. Так случилось, что только после смерти обрёл он упокоение в Святой Земле, к которой стремился всю свою жизнь и о которой сказал когда-то:

«...Всегда пусть живёт человек в Эрец-Исраэль, даже в городе, большинство жителей которого идолопоклонники, и не живёт за пределами страны, даже в городе, большинство жителей которого израильтяне. Ибо всякий покидающий пределы страны как бы предаётся идолопоклонству.

Как сказано: «Прогнали меня ныне от порога удела Господня, сказав: Ступай, служи богам иным».

А о бедствии сказано: «А на землю Израиля им не ступить».

Подобно тому как запрещено покидать страну и выходить за её пределы, так запрещено уходить из Вавилона в другие страны. Как сказано: «В Вавилон будут отведены и там оставаться будут»...

...Я стоял у могилы Рамбама, закрыв глаза.

В это трудно поверить, но слова рождались в мозгу помимо моей воли, они как будто всплыва-

ли из глубины подсознания и, пробивая «брешь» в сознании, устремлялись куда-то вверх.

Внезапно я почувствовал, как меня качнуло. Потом ещё раз. И ещё. Прошло немного времени, и я открыл глаза: что это было? Наваждение? Самовнушение? Не знаю, не могу объяснить, но «слова лились, как будто их рождала не память рабская, но сердце», — слова шли сами собой, без знаков препинания, не разделяясь интонацией, каким-то сплошным потоком.

У Пушкина есть незавершённое стихотворение, которое начинается так:

Два чувства равно близки нам.

В них обретает сердце пищу:

Любовь к родному пепелищу,

Любовь к отеческим гробам...

У еврейских мудрецов своё объяснение:

— На местах, где похоронены праведники, сконцентрирована небывалая энергия. Это — открытый канал связи с Создателем...

Я возвращаюсь.

Надо мной — огромное звёздное небо, огромное, как мир, к которому нам удалось прикоснуться.

Мчится автобус, прорезая ночь. Вполголоса переговариваются пассажиры: кто делится впечатлением от поездки, кто продолжает неоконченный спор:

— Как вам понравилась поездка в Цфат?

— Как будто побывал в другом измерении...

— Представьте себе, что мы всё время в другом измерении, — откликается религиозный еврей. — То, что для вас, светских, кажется затерянным миром, для нас — мир реальный, осяутимый, вещный и вечный...

Марк Котлярский — писатель и публицист. Родился в 1956 г. в Баку. Там же окончил факультет журналистики и перебрался в Ленинград, где работал репортёром в газете «Моряк Балтики», сотрудничал с региональными и всесоюзными изданиями, публиковался в журнале «Нева» и различных альманахах. В 1990 г. репатриировался с семьёй в Израиль. Работал репортёром ряда израильских русскоязычных СМИ, в том числе восемь лет был ведущим репортёром газеты «Вести». С 2003 г. — пресс-секретарь партии «Наш дом Израиль». Член Союза израильских русскоязычных писателей, член Пен-Клуба, член Ассоциации израильских журналистов. За последние десять лет в России и Израиле были изданы восемь книг, автором или соавтором которых он являлся. Автор пяти пьес, две из них поставлены в Израиле и в России («Рика и тени», «Блюз уходящего дня»). Лауреат Гран-при Международного литературного фестиваля в Вене в номинации «малая проза» (2009). Книга прозы «Волчи ворота» вошла в лонг-лист Бунинской премии (2009).



Никита Быстров

О камнях и надписях Страны Израйля

(Дорогой Сергей! Я обещал написать о своих израильских впечатлениях, и вот — пишу.) Что говорят люди, возвращаясь из Израйля? Как обычно, каждый говорит о своём, но, думаю, все, кто там побывал, скажут, что Израйль прекрасен. И я скажу: Израйль очень хорош, хотя в нём нет той броской и пронзительной красоты, какую мы можем встретить на площадях Парижа, Барселоны, Петербурга. Это красота без блеска, без тщательной художественной шлифовки, без тени декоративности.

Конечно, есть и всегда будет «Европа священных камней», но в этих «камнях» ценно то, что рукотворно: это камни собора, статуи, брусчатки, моста, арки, скамьи, — здесь «тяжесть недобрая» изначального камня пресуществлена в «прекрасное», и для того, чтобы это пресуществление состоялось, нужен кто-то, способный «дать кровь небытию, дать голос немоте», т. е. нужен художник; без него творение как бы не завершено, жизнь понастоящему не начата, форма не задана материи (дух Европы — аристотелевский). «Злая» готическая колокольня (это — тоже цитата из Мандельштама; прошу мне простить такую «центонность») стремится проколоть небо; удаётся ей это или нет — вопрос отдельный, но само стремление понятно: и её судьба, и бытие всей культуры поставлены в зависимость

от человека, который должен вначале отстраниться от неба, чтобы потом вновь его достичь. И этому «возвращению» к небу служат религия и философия, находящие своё высшее, максимальное выражение в «художестве». Именно оно здесь всегда — осознанно или бессознательно — представляется «теургическим», т. е. предназначенным к соединению неба и земли. Более действенного средства для этого у Европы нет.

В Израиле тоже повсюду камень. Однако этому камню не нужно второе рождение в искусстве, потому что в нём никто никогда не чувствовал «тяжести недоброй»: он с небом не расставался. Как-то странно было видеть художественные музеи, галереи и ателье в израильских городах. Хорошо, что они есть, но кажется, что их появление вызвано причинами не «бытийственного», а сугубо «культурного» свойства: они есть, потому что есть художники, есть искусство, есть, в конце концов, определённый порядок жизни, в соответствии с которым они просто должны быть. Но внутренне этот порядок не связан с Израилем. Осмелюсь утверждать, что бытию этой страны (именно её бытию, т. е. тому, как она существует в мире и в Боге) искусство неорганично. Оно, выражаясь языком всех, кому не лень высказываться философски, это бытие не «конституирует» (для Европы же оно, напротив, «конститутив-



но»). Здесь — подлинность, первородство и первозданность; здесь — отсутствие строгого разделения на человеческий, «космический» и Божественный миры. И держится эта нераздельность не напряжением творческой воли, не «теургическим» порывом художника, а чем-то другим: вот Моисей поднимает руки, и израильтяне побеждают амаликитян; вот иудейские праведники в раю молятся за мир, и мир стоит...

Мне запомнился один случай. Мы ехали в такси по Северной Галилее — из местечка Рош-Пина, где была конечная остановка тель-авивского автобуса, в город Цфат, один из самых больших религиозных центров в Стране Израйля. Таксист с возмущением говорил о «харедим», ортодоксальных иудеях, которые составляют добрую половину цфатского населения: живут они замкнуто, к окружающим нетерпимы, ничего полезного не делают, некоторые даже государства Израйль не признают, и вообще «эйн лаһем тарбут», т. е. «нет у них культуры», «они некультурны». Я удивился: как это «нет культуры»? Как это вообще может быть? А масорет ha-ehudit, иудейская традиция, почему она — не культура? Потому, отвечал таксист, что одно дело — культура, а другое — традиция, это разные вещи.

И в самом деле, понятие «тарбут», культура — новое, сугубо светское, пришедшее в иврит недавно и для традиционалистов совершенно неактуальное; что же касается «масорет», традиция, то оно — исконное, существующее в языке с библейских времён и до сих пор остающееся единственным обозначением «традиционной культуры». Интересна их этимология. В слове тарбут — та же основа с буквами рейш-бет, что и в словах типа харбе (много), марбе (большинство), рав (рабби, «большой человек»), леарбот (множить, умножать), ларов

(изобилие) и т. д. Вообще, в семантике культуры-тарбута преобладает значение умножения-увеличения-накопления. И любопытно, что наш таксист, второй раз повторив про отсутствие культуры у ортодоксов, добавил: «һәм ло митпатхим», т. е. «они не развиваются». В понятии тарбут «умножение» — это ещё и развитие, поступательное изменение. У масорет — совсем другие однокоренные слова и другой круг значений: лимсор (передавать), мосэр (тот, кто передаёт), месер (сообщение и одновременно — смысл, основное содержание чего-либо), хитмасрут (преданность, верность), мусар (нравственность, мораль) и т. д.

Казалось бы, здесь — обычная «нестыковка» между традиционным и современным сознанием. Первое рассчитано на воспроизведение одних и тех же состояний и в принципе враждебно каким-либо переменам. Второе настроено на развитие, обновление и повышение разнообразия. В большинстве случаев и традиция, и современность воспринимаются как два аспекта одной и той же культуры. Но в Израиле — особая ситуация, и её как бы подчёркивает язык: есть культура, и она не включает в себя старую религиозную традицию, и есть традиция, и она не признаёт никакой светской культуры. Так не везде, но, судя по моим наблюдениям, — во многих случаях.

Культура — это память, а традиция — память по преимуществу. Жить в традиции — значит, помнить. Память этих «харедим», у которых «нет культуры», но есть традиция, стремится непрерывно воспроизводить те жизненные состояния, которые как бы раз и навсегда предзаданы Торой и преданием. Для неё все читаемые тексты (или их фрагменты, скажем какие-то отдельные формулы) — это, по существу, символические структуры, которые пробуждают в сознании образ истинного

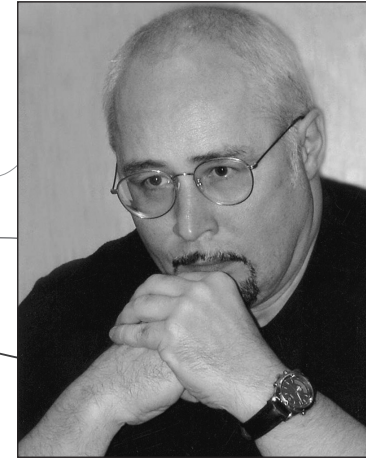


бытия и тем самым приобщают к нему. Не удивительно поэтому, что в любом израильском городе мы можем встретить целую «мнемоническую систему» надписей-цитат — на стенах, на баннерах и даже на специальных растяжках. Например, в Цфате я видел множество транспарантов с библейскими изречениями, в частности с заповедью «Взааавта ареха камоха», «И возлюби ближнего своего, как самого себя». В Иерусалиме тоже много подобных надписей. Среди них меня особенно поразила одна. На иврите она читается так: «Им эшкахех Ирушалаим, тишках ямини», «Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя». Это стихи из псалма «На реках вавилонских» (136-й). Здесь иудейские пленники в Вавилоне клянутся всегда помнить Иерусалим. Для современного человека это, конечно, просто культовая формула. Но в то же время ясно, что когда религиозный житель нынешнего Иерусалима читает или произносит: «Если я

забуду тебя, Иерусалим, пусть забудет меня десница моя», то в этом случае Иерусалим для него — один из символов истинного, единственно возможного порядка жизни. Это тот же самый Иерусалим, но только взятый в его смысловом пределе или, что то же самое, в сакральном «максимуме», когда он — не просто город, а Город, в котором человек и Бог всегда рядом друг с другом и в котором, если перефразировать слова Пастернака, всё, что есть, «стремится вдаль по воздуху шагнуть».

Я думаю, что красота камней и надписей Страны Израиля связана во многом с их способностью настраивать человека на ежемгновенное повторение условий подлинной жизни. На повторение — потому что подлинная (в духовном, религиозном смысле) жизнь — это такая жизнь, которая сама по себе во времени не длится, и мы должны её воспроизводить непрерывно длящимся внутренним усилием.

Быстров Никита Львович, 1966 г.р., кандидат философских наук, доцент кафедры этики, эстетики, теории и истории культуры Уральского Федерального университета. Автор ряда статей по философии культуры и философским проблемам русской поэзии. Печатался в журналах «Вопросы литературы», «Russian Literature» и др. Живет в Екатеринбурге.



Алан Кубатиев

Оскар и Саломея (От переводчика)

«...Восемнадцатого мая 1897 на платформе железнодорожной станции, дожидаясь поезда на Лондон, стояли двое коренастых мужчин в форме Британского тюремного ведомства. Между ними, по всем правилам закованный в наручники — запястье стража с его запястьем, — стоял рослый, на голову выше их, человек с серым тюремным лицом и тусклыми тюремными глазами.

Англичане вовсе не так бесстрастны, как это долго было принято считать. Посыпались взволнованные вопросы, кто этот великан — громила? убийца? насильник? Но конвоиры отмалчивались, как положено по уставу. Однако среди усердных читателей газет в поездах нашлись те, кто опознал поднадзорного. Неудивительно — прошло всего два года с тех пор, когда карикатуры и портреты этого человека, одного их самых популярных в тогдашнем мире, попадались в каждом издании. Карикатуры большей частью были злобные, портреты — красиво надменные, изысканные: тяжеловесные глаза, пухлогубый рот, холёные руки, и при этом какая-то неуловимая доброта и внимательность...

Оскара Уайлда переводили из Рединга в Пентонвилл, куда он был доставлен два года назад по приговору Королевского суда и откуда его по закону должны были выпустить завтра утром.

Выпустить? Он никогда не уйдёт оттуда; всё останется с ним — и едкая тоскливая вонь параш, и вопли истязаемого сумасшедшего, и рыхлая серая бумага, промокавшая от чернил насквозь, и шершавая плита песчаника, которой скоблили тюремные полы, и чёрный язык повешенного, и всё, всё, всё...»

Биографический роман об Уайлде можно было бы начать и так. Бесподобно подошла бы ещё, положим, эротическая сцена с лордом Альфредом Дугласом, прототипом Дориана Грея, или того пикантнее — супружеская любовная неудача с Констанс, законной супругой.

Но, не кривя душой, скажу: меня совершенно не интересует, был ли Оскар Уильям О'Флаэрти Уайлд гомо- или гетеросексуален. (Эту фразу я украл из лекции Л. М. Баткина о Леонардо, изувечил до неузнаваемости и использовал в своих целях.)

Куда интереснее его дар использовать слова. «Всякое искусство совершенно бесполезно», — предупреждал Уайлд в своём афористическом предисловии к «Портрету Дориана Грея». Но для кого, он так и не сказал. Даже в своём удивительном эссе «Душа человека при социализме» он не сподобился предугадать, какое огромное количество людей, совершенно неспособных к искусству, оно при социализме тем не менее будет кормить, обувать, одевать и возить за границы.

Словами Уайлд создавал миры, в которых не было места прагматикам и чья недоступность вызывала у них ярость; он предугадал и это. «Ненависть XIX века к романтизму, — писал он всё в том же предисловии, — это ярость Калибана, не увидевшего себя в зеркале».

Э — С — Т — Е — Т — каждая буква тут наполнена смыслом: человек, знавший единственную религию — Красоту, он дорого заплатил за своё вероисповедание.

Именно в Англии в конце XIX века появилась целая группа художников, считавших, что

искусство должно облагородить реальность настолько, чтобы ощущения от неё начали врачевать душу человеческую. Так пытался украсить в домах английских рабочих всё, от обоев до скамеечки под ноги, блистательный дизайнер, поэт и писатель Уильям Моррис.

Так же писал Оскар Уайлд. Так он и жил. «Я вложил в мои работы лишь мой талант. Весь свой гений я вложил в свою жизнь».

Он был поразительно бесстрашен, если учесть, какое количество людей испытывало к нему ненависть. Среди них и могучий старик, столп анархизма, князь Кропоткин.

Он был странно добр. Встретив нищего, которому не подавали, он свёз его к модному портному и построил ему дивные художественные лохмотья из атласа и бархата, искренне считая, что такому живописному попрошайке подадут щедрее.

Первую свою пьесу — «Вера, или Нигилисты» — он написал о людях, настолько истово верующих в красоту будущего, что они готовы заплатить за него любым количеством жизней. Она из его представления о русской реальности. В ней убивают царей. Знакомство Уайлда с Кропоткиным, Степняком-Кравчинским, Верой Засулич не прошло впустую. И уже в «Вере...» встаёт одна из главных тем Уайлда, с гениальной зоркостью уловленная и выписанная Достоевским, — как противоречив человек, как тяжело ему не допустить разрыва чувства и доктрины.

Образ Саломеи, её волшебнo-ядовитое обаяние волновало не одного Уайлда. Век натурализма был уже отмерен, и Гейне, Флобер, Гюисманс, Жюль Лафорг, замученные реализмом и гуманизмом, с облегчением листали Библию в поисках ненатурального. Саломея уже плясала сотни лет перед глазами европейских скульпторов и живописцев, и вот она выпархивает в литературу.

Трагедия принесёт немалое удовольствие любителю отыскивать истоки. «Тропическая интерлюдия в прохладной обыденности английской литературы», как назвал её один из критиков, могла родиться от очень многих позывов. Уайлд, к примеру, мог загореться желанием завершить одну из самых знаменитых неоконченных поэм — «Иродиаду» Стефана Малларме, своего любимого французского поэта. Кстати, когда уайлдовская «Саломея» вышла, Малларме признал себя побеждённым. Прямо-таки Жуковский с Пушкиным.

Мог Уайлд зажечься и от своей любимой книги — романа Жоржа Гюисманса «Наоборот», который он так восторженно описывает

в «Портрете Дориана Грея». Там упоминаются две картины Гюстава Моро. На одной из них Ирода мучительно заводит обольстительный и равнодушный танец Саломеи. На другой Саломея преподносят источающую свет главу Иоанна Крестителя. Гюисманс приписывает Саломее те же мифопоэтические свойства, что и Моне Лизе, и утверждает, что ни одному из писателей пока не удалось верно воссоздать её.

Моро утверждал, что она не просто плясунья, но «символическое воплощение неумирающего томления, богиня бессмертной Истории, проклятая красота, воодушевляемая как никакая другая каталепсией, делающей каменной её плоть и стальными мышцы, чудовищная тварь, безответная, безответственная, бесчувственная, отравляющая всё, чего касается, словно Елена древних мифов...». Хотя и это не вся правда, потому что на второй картине Моро показывает её ужас перед обезглавленным телом Иоанна.

...Наверное, она всё же была просто плясунья, на свою беду уродившаяся в царской семье. Бедная девочка: ведь тогда то, что родилось в могучем воображении Уайлда, ещё поразительнее...

С именем Уайлда прочно связывают понятие «декаданс» в смысле упадок, разложение, извращение. Немалым он обязан этой репутацией именно своей трагедии. Но Холбрук Джексон пишет очень справедливые вещи: «Если у термина „декаданс“ есть точное значение, то в „Саломее“ декаданс в настроении, в пластике, но не в подходе. Сама по себе тема отвратительна, но совсем необязательно дегенеративна, и её неаппетитность — не вина драматурга, что бы ни подтолкнуло его выбрать такой сюжет. Грубая ошибка — диагностировать извращение в художнике, даже если он выбирает тему извращения. Декадентом может быть принц Датский, но не Шекспир. Царевна Иудея — явная жертва вырождения, но это никак не может быть свидетельством против Оскара Уайлда».

В 1890 году Уайлд с поэтом Эдгаром Салтусом в гостях у лорда Френсиса Хоупа рассматривали гравюру с Иродиадой, пляшущей на руках. И тогда Уайлд сказал, что напишет о ней, а Салтус, замышлявший написать о Марии Магдалине, отшутился: «Давай! Будем вместе гоняться за нашими шлюхами...» Уже прочитав «Саломею», Салтус признался, что от последней строки его забила дрожь, а Уайлд ответил, что «только эта дрожь здесь и важна».

Ведь он начал задумывать эту вещь как описание извращённой страсти, порока, жаждущего осквернения добродетели, язычника,

жаждущего отведа́ть христианства, жизни, требующей мертвечи́ны (как в «Кентервильском привидении»), отвращения добродетели к пороку и прежде всего — изображения крайностей самоотречения в любви, ненависти, вере.

Саломея завладела тогда воображением Уайлда — он искал её во встречах женщин, примерял к ней увиденные в лавках драгоценности... Встретив в «Мулен Руж» румынскую акробатку, плясавшую на руках, написал ей целое послание с приглашением встретиться; к счастью, она скорее всего не смогла его прочесть. А то ведь Дориан Грей разочаровался однажды в Сибил Уэйн — смертельно...

Поначалу Уайлд не думал о пьесе. Но постепенно стало ясно, что это не завершение поэмы Малларме, не поединок с Флобером в прозе, а своя вещь. Писал её драматург, уже успевший очаровать Лондон блестящими комедиями. В одной из них он написал о хорошей, честно любящей женщине, принятой обществом за монстра. В трагедии он написал о женщине, которую любовь превращает в монстра.

Когда Саломея целует — это вершина пьесы: переламывается всё. Поцелуй этот — укус. По Уайлду, она требует голову Ионакаана, повинуюсь вовсе не матери, а своей оскорблённой любви. Саломея Уайлда — женщина, которая любит, страдает, ненавидит. Женщина, внезапно и сокрушительно проснувшаяся в девочке. Уайлд ненавязчиво, но с неуклонной точностью воссоздаёт атмосферу того мира, где случилось это пробуждение. Она не для любви. Для Ионакаана Саломея воплощение развращённого, растленного и безверного мира, и её любовь не вызывает у него ничего, кроме гневного отвращения.

Саломею не интересует вера — то, что Ионакаан сторонник преследуемой религии, не имеет значения; из разговора о Христе почти ничего не выходит.

Мучают, ломают, иссушают её чёрные глаза и алые губы, не потухшие во мраке вонючей тюрьмы. Плоть. Слова о теле Ионакаана она произносит с накалом такой аморальности, что впору лишь «Песне Песней».

Уайлд пытался развить тему Саломеи, сделать её святой, дать ей погибнуть под ледяной гильотиной, заморозить уже её голову в рубиновых струях — но, слава богу, отказался от этой плоско нравоучительной концовки.

Характер Саломеи развивается иначе — тут и происходит самый неожиданный поворот пьесы Уайлда.

Ирода автор написал, смешав воедино нескольких Иродов — Ирода Антипу, Ирода Ве-

ликого и Ирода Агриппу. Влечёт его к Саломее, иерусалимской Лолите, но совсем не так, как её — к голове без тела... Её страсть топит себя в собственном избытке. «Ты мёртв, а я ещё жива», — говорит она мёртвой голове, зная, что и она обречена. И всё, что произошло и что должно произойти, ложится на Ирода — он отвечает здесь за всё.

Происходит неожиданное. Ирод становится героем. Вожделение к Саломее и страх перед Ионакааном равно сотрясают его, но он побеждает оба зова. Затем, когда его начинает трясти от отвращения, Ирод опять-таки побеждает себя: он остаётся царём, повелителем, судьёй. Судьёй, а не убийцей.

Но Саломея при всём своём неистовстве невинна и девственна. Она хочет невозможного — вывести свою страсть за пределы человеческих возможностей, за грань того мира, который ей так отвратителен, за пределы своего тела, пола, даже самой смерти. И добивается этого.

В трагедии Уайлд приводит Саломею и Ионакаана к гибели. А ведь начинается этот путь с того, что оба жаждут сберечь свою чистоту (можно прочесть и «добродетель») так, что превращают её в подобие смертного греха... Чувство обречённости — вот главное наполнение пьесы. Великолепные ритмы повторов, библейская таинственность простой речи только усиливают и расцвечивают его.

Ещё одним томным украшением этой пьесы было то, что написана она была по-французски. Когда друг Уайлда Роберт Росс интервьюировал его для «Пэлл Мэлл Баджит», автор объяснил свой поступок так:

«...Я знаю лишь один инструмент, которым, уверен, владею, и это английский язык. Есть другой инструмент, которым я владел всю мою жизнь, и однажды я решил тронуть этот новый инструмент, чтобы увидеть, смогу ли я извлечь из него нечто прекрасное... Конечно, есть способы выражения, которыми французский литератор не воспользуется, но они и придают пьесе определённый колорит. Большая часть эффекта, производимого Метерлинком, заключается в том, что он, фламандец по крови, пишет на чужом языке».

Но это не единственный довод Уайлда: ниже он затрагивает одну из самых ранящих его тем:

«Для меня есть в мире только два языка: французский и греческий. Хотя у меня есть друзья-англичане, я, в общем, не люблю Англию... Здешние люди особенно антихудожественны и узколобы. Англия изобилует лицемерием, которое во Франции считают пороком.

Типичный британец — это Тартюф за лавочной стойкой. Есть множество исключений, но они лишь подтверждают правило...»

Все великие произведения остаются современными именно потому, что допускают любое количество подстановок. «Саломею» создаёт множество тонко проникающих друг в друга слоёв. Её можно читать и как легенду о девочке, выросшей во дворце, где есть всё, кроме любви, и где можно выучиться всему, кроме способности любить, о том, как она впервые увидела ДРУГОГО человека и спутала любовь с ненавистью, которую знала лучше всего...

Её можно прочесть и как рассказ о том, как грозный Бог делает дитя орудием кары, убивая ослушника.

И ещё много слоёв можно снять с этого странного плода, но зачем? «Саломея» была предсказанием, знамением, явлением; и всю жизнь она сопровождала Уайлда.

...Он едва не порвал с Англией, когда лорд Чемберлен закрыл постановку — в Британии до сих пор действует закон, запрещающий играть на сцене Писание...

...Молодой лорд Дуглас, человек, в сущности, доведший его до тюрьмы и дожёгший его жизнь, должен был переводить трагедию на английский — и не сумел. По своей всегдашней щедрости Уайлд оставил его имя на титуле английского издания, которое перевёл сам...

...Тупой служака майор Айзексон мучает Уайлда требованием пунктуального следования тюремному уставу; а в то же самое время его друзья в Париже готовят постановку «Саломеи»... Друзья идут за него и на премьеру.

Он похоронен в Париже, на кладбище Пер-Лашез. На памятнике высечены строки из «Баллады Редингской тюрьмы»: «И чужие слёзы наполнят давно разбитую урну скорби, потому что оплакивать его будут отверженные, а отверженные всегда скорбят...»

Но «Саломея» живёт. Её музыкальность покорила Рихарда Штрауса, и он создал одноактную оперу. Кен Расселл снял великолепный фильм. Театральные режиссёры делают постановку за постановкой.

Ещё в восьмидесятых годах по Алма-Ате ходил по рукам («Только на одну ночь!») её самиздатовский перевод. Его читали и зачитывали.

...Тонкая изящная чёрная книжечка с вытисненной на обложке танцовщицей попалась мне в библиотеке среди литературы некогда закрытого фонда. Из тюрьмы выпустили и её. Корешок порыжел от беспощадного солнца Азии, в формуляре не было ни единой фамилии. Но стоило её раскрыть — и в глаза ударило, как из взрезанной хорезмской дыни, оранжевое, зелёное, золотое, бледно-розовое пламя цветных страниц и иллюстраций...

Р. С. Лондонский ноябрь был на диво хорош. Никаких альбионских туманов и гнилой мороси: прохладно, солнечно. В первый же свободный день я с наслаждением заблудился, и первая же улица, на которую я бездумно вышел, оказалась Аделейд-стрит. Дождь пошёл только сейчас, и никогда больше за те недели, что я провёл там. Диоритовая брусчатка лаково заблестела мокрой чернотой. Но ещё чернее блестел полированный гранитный гроб, стоявший прямо посередине улочки.

На нём было высечено «Оскар Уильям О’Флаэрти Уайлд». На другой грани слова из «Веера леди Уиндэрмир»: «Все мы лежим в сточной канаве, но некоторые — лицом к звёздам»...

Изголовье прорастало мокрой путаницей бронзовых жгутов, покрытых, словно язвами греха, зелёной и бурой патиной, а из них колдовски сплеталось насмешливое, слегка высокомерное лицо человека, уверенного, что он всё ещё красавец. Слева выступала такая же изъязвлённая кисть, элегантная, выгнутая, длинная, жеманно державшая окурки папиросы...

Оказывается, гроб мог служить и скамьей. Скульптор Мэг Хэмблинг сделала его так, что, садясь, ты оказывался лицом к лицу с этим поразительным лицом. Но оно смотрело на тебя чуть снизу, из могилы... Памятник называется «Поговорить с Оскаром Уайлдом».

2012 Кронштадт

Алан КУБАТИЕВ (псевдонимы — А. Воеводин, Тимур Туганов) родился в г. Фрунзе в 1952 г. Кандидат филологических наук, прозаик, переводчик с английского, критик, антологист, литературовед, журналист, преподаватель. Лауреат нескольких литературных премий. Живёт в Кронштадте, преподаёт в Институте специальной психологии и педагогики им. Рауля Валленберга, занимается литературной и переводческой работой.



Илья Дюков

Города Древней Руси

Думаете, город — это стены, улицы и дома? Ошибаетесь. Город, как и всякая форма искусства, в первую очередь — отображение духа народа, его создавшего. Изучив очертания города, мы увидим цельную систему духовных ценностей, определившую развитие городского организма. Древнерусский город, создававшийся во времена «осознанной» духовности, являл собой яркий пример полной зависимости формы от внутреннего духовного содержания, содержания не просто духовного, но православного.

К концу XII века на Руси существовало более двухсот городов.

Большинство городов строилось у рек — главных в то время путей сообщения. Вместо реки довольствовались иногда крутыми обрывистыми оврагами, а в лесистых и болотистых землях Северной Руси — невысокими холмами. Кремль строился обычно на возвышении, чаще всего на мысу у слияния двух рек. Посады формировались у подошвы холма, поблизости от пристаней, естественных затонов и бухт.

Древнерусские города были небольшими — в них редко было больше трёх-пяти тысяч жителей, в большинстве городов жило не больше тысячи человек. Киев, с населением в пятьдесят тысяч человек, по иностранным свидетельствам, был для своего времени городом-гигантом. В это же время в Новгороде проживало до тридцати тысяч человек. К большим городам также относились Чер-

нигов, Владимир Волынский, Владимир-на-Клязьме, Галич, Полоцк, Смоленск.

Плотность населения была невысокой, но площадь русского города из-за просторных дворов и больших домов была очень велика. Бесчисленные города вырастали на пространстве русских владений. Огнестрельного оружия не было, и деревянные стены были достаточной защитой от нападений. Как правило, городские укрепления включали в себя ров, стены, забрала из брусьев и вал (по Н. Костомарову).

На Руси кремль представлял собой изначальное ядро и центр тяготения всего городского организма, занимая главное место в его композиции. Он не противостоял городу, не выделялся из общей оборонительной системы, даже главный въезд в него всегда был обращён к посадкам, и через них кремль сооб-





щался с внешним миром, что, заметим, было невозможно для западноевропейского замка. Кремль всегда являлся архитектурным и идейным центром древнерусского города, вмещавшим в себя наиболее монументальные здания во главе с собором.

Собор был символом города, его главой, центром общественной городской жизни. Во всех русских городах без исключения собор выделялся среди других зданий величием и красотой внешнего убранства. Дворцовые постройки всегда были значительно ниже соборов и не намного поднимались над стенами кремля, а чаще вообще не были видны из-за стен. Городской собор располагался на самом возвышенном и самом живописном месте, часто для наилучшего обзора — над обрывом. На фоне деревянной застройки собор выделялся высотой, монументальными формами и цветом материала. С XII века главные соборы начали покрывать медными золочёными шлемовидными куполами. Для украшения использовались резьба, наружная роспись и золочение. При всей монументальности форм подлинные размеры соборов были невелики — высота, как правило, не превышала тридцати метров. Самый высокий русский собор XII века — Успенский во Владимире — был менее тридцати трёх метров в высоту. Однако расположение на возвышенности позволяло видеть собор с любого расстояния практически из каждой точки города.

Кроме главного собора в городах всегда строилось огромное количество небольших церквей и часовен. Иностранцы, побывавшие в Киеве в начале XI века, насчитывали на его территории около четырёхсот храмов, при том, что город занимал не более ста гектаров. Веком позже, по летописному свидетельству, в Киеве было уже шестьсот церквей.



В город вели ворота. И чем больше был город — тем больше было ворот. Главные ворота, как, например, в Киеве, Владимире и Новгороде, часто увенчивались надвратными церквями.

Монастыри, подобно спутникам, окружали каждый русский город. Всего к XIII веку на Руси существовало более семидесяти монастырей. Чаще всего монастырь строился на берегу реки в одном-двух километрах от города. Центром монастыря также был собор, располагавшийся в середине обнесённой стенами территории в окружении дворов и подсобных служб.

На Руси XI—XIII веков недалеко от крупных городов часто находились княжеские усадьбы. Построенная рядом с городом, усадьба становилась частью городской композиции — традиционный для неё большой храм как бы «перекликался» с городским собором.

Рядом с крепостными валами, также за городом, располагались некрополи, зрительно неотделимые от него в ансамбле с храмами и часовнями. И в самом городе кладбища, как правило, устраивали вблизи церковных сооружений.

Одной из важнейших частей города на Руси всегда считался торг. На торжищах больших городов обязательно сооружались церкви, чаще всего во имя святой Параскевы Пятницы и святителя Николая Чудотворца.

Русские города были в основном деревянными. Если города Греции или Италии могли обходиться каменными зданиями без сложной системы отопления, то Древней Руси необходимы были теплые и сухие строения, самым удобным материалом для которых служил лес. Считалось, что жить в каменных домах вредно для здоровья. От великого князя до ремесленника и простого крестьянина русские люди предпочитали жить в небольших деревянных домах. Строились они подальше от улицы — глубоко

внутри огороженных плетнём и тыном дворов. Просторные дворы располагались по склонам не столько ради красоты, сколько из соображений санитарии. В ограду вело, как правило, не менее трёх ворот, над главными из которых зажиточные люди ставили образа в киотах. Обязательными постройками были бани, ледники, хлева с сенниками, навесы, клетки для хранения инвентаря, а также различные мастерские. К главным постройкам, часть которых иногда выходила на улицу, от ворот вели настилы из деревянных плах.

Среди городских строений выделялись ограждённые высоким тыном боярские и княжеские дворы. Богато украшенные резьбой господские хоромы состояли из ряда зданий, пристроенных друг к другу или соединённых переходами. Выдающейся частью хором были терема (башни с комнатами для женщин) и вежи (вышки). Множество подсобных помещений господских дворов также вмещало медуши для хранения мёда, погреба, бани и даже темницы — порубы.

Архитектура древнерусского города при внешней яркости и живописности была простой и лаконичной. В одном строении — даже в царских палатах — было не больше трёх, редко — четырёх покоев. Наиболее выразительными гражданскими сооружениями в застройке городов были вежи (дозорные башни), терема, столпы и повалуши (высокие срубы под отдельными крышами). С появлением в XII веке лемеха (особый кровельный материал) на городских постройках Руси начали устанавливать бочечные и кубоватые крыши. Нередко дома покрывали сверху от сырости берёзовой корой — здание становилось не только суше, но и куда красивее и пестрее. Иногда в предохранение от пожаров на кровлю клали зелёный дёрн. В покрытии храмов использовались черепица, свинец, белое железо и деревянный лемех — города были

яркими, часто отделка даже самых обычных домов радовала глаз. Тёмные дубовые стены кремля контрастировали с серебристыми осиновыми постройками посада. Главные въездные ворота и церкви часто выкладывались из кирпича с использованием штукатурки и побелки. Кроме расписанных и золочёных белокаменных соборов, раскрашивались во множестве рассыпанные по городу деревянные церкви и часовни.

Многоверхие, замечательных конструкций деревянные церкви Древней Руси вызывали восхищение и именовались летописцами «чудными». Древнерусские города буквально утопали в зелени — множество садов и огородов окружало городские строения. На некоторых улицах крупных городов (например, в Новгороде) специально высаживались деревья.

Улицы древнерусских городов располагались свободно и живо по рельефу, весьма прихотливо извиваясь даже на планах русских городов XVIII века, несмотря на попытку регулирования в царствование Екатерины II. Ширина улиц в городах XII—XV веков была незначительной — не более четырёх метров. Мостовые покрывались настилом из круглых нетёсаных жердей, концы которых входили в боковые лаги. Часто улица заканчивалась храмом, и высота его была сравнима с длиной улицы. По краям улиц или на их пересечении устанавливались образа в киотах.

Кресты-часовни во множестве встречались по всем дорогам Древней Руси. В начале XVIII века указами Петра I (1702, 1712) часовни по всей России были уничтожены как места скопления раскольников.

Русь славилась не только числом, но и большим разнообразием городов, согласно старой народной пословице «Что ни город — то норов». Неповторимость каждому из них придавало, прежде всего, гармоничное слияние городской среды с местом расположения. В боль-



шинстве своём города строились по склонам оврагов и на возвышенностях. В связи с этим, казалось, даже такой рядовой элемент городской застройки, как лестницы, приобретал особую важность, соединяя функциональное значение с эстетическим. Неширокие деревянные лестницы русских городов живописно спускались по склонам вслед за изгибами протоптанных тропинок, не нарушая сложившуюся среду навязчивой прямолинейностью. Выразительным художественным элементом в общей картине русского города были также перекинутые через ручьи и маленькие речки деревянные мосты. Они не отличались сложностью постройки и в крупных городах, где берега даже самых незначительных рек часто имели деревянную облицовку. Когда же мосты перебрасывались через большие реки, они представляли собой технически сложные сооружения и становились предметом постоянного попечения со стороны городских властей, как, например, построенный в 1133 году Великий мост через Волхов в Новгороде, все случаи порчи которого от ветра или наводнений неукоснительно отмечались летописцем.

Духовная иерархия строго соблюдалась при застройке городов. Богатый силуэт русского города был непосредственно связан с этой его особенностью: культовые сооружения всегда возвышались над светскими. Главным из них был собор. Ни одно здание — ни по красоте убранства, ни по высоте и местоположению — не могло равняться с городским собором. За ним следовали величественные, но всё же подчинённые посадские храмы. В подчинении посадским каменным храмам находились рассыпанные по всему городу деревянные церкви. Далее во множестве шли часовни и прочие связанные с православной традицией небольшие постройки. Русь не создавала внецерковных ценностей, и монументальная ар-

хитектура древнерусских городов являлась не просто религиозной, она была храмовой.

«Занеже Церковь наречется земное небо» — это свойственное Древней Руси ощущение церкви входило в сознание людей с ранних лет. Церковь являлась мерилom жизни всех русских — от князя до простолюдина. В церкви совершались крещение, венчание, отпевание. Церковными были народные праздники, а годовой круг богослужений определял жизнь семьи. Каждый князь стремился после себя оставить храм. В городах знаменательные события отмечались постройкой церквей и часовен, на сооружение которых щедро жертвовали горожане всех сословий, тем самым укореняя церковные приоритеты в архитектурной иерархии застройки, создававшие зримый образ целостности религиозного мировоззрения Древней Руси.

Внутри светской городской застройки также соблюдалась иерархия. В первую очередь выделялись княжеские и боярские палаты, затем следовали дома попроще — купцов и ремесленников. Соподчинённость строений соблюдалась и внутри городских дворов.

Всякий русский город органично вписывался в существующий ландшафт, приобретая тот неповторимый ритмический силуэт, по которому он легко был узнаваем на большом расстоянии. Расстилаясь по рельефу местности, город будто вырастал из природы, растворяя свои границы в окружающем пространстве. От кремля открывались широкие панорамы русского раздолья, а земляные валы с венчающими их деревянными стенами городских укреплений выглядели извне скорее особой формой ландшафта, чем противостоящей ему преградой. Русские мастера умели строить так, чтобы храм был виден в любой точке города и за его пределами. Издалека открывалась великолепная панорама города и близлежащих мона-

стырей на лоне природы. Внутри посада сквозь невысокую рядовую застройку «вырастали» силуэты — от посадских храмов до главных соборов кремля. Всем без исключения русским городам были чужды искусственные, нарочито симметричные перспективы ренессанса и барокко, рассчитанные на определённую картинную точку восприятия. Не похожие на западные города Средневековья с их высокими стенами и грозными башнями, противостоящими естественному ландшафту, невысокие города Руси гармонично сливались с природой и сельским окружением.

Древнерусские традиции классического градостроительства унаследовала Московская Русь. Ещё в XV веке композиционная структура самой Москвы и городов Московии, таких как, например, Серпухов и Коломна, в функциональном и художественном отношении оставалась традиционной. В конце XV века облик Москвы, а за ней и других русских городов значительно изменился. Развернулись гран-

диозные работы по перестройке Московского кремля — в нём появились не свойственные классической русской архитектуре элементы рационализма. С XVI века, вместе с социально-экономическими и политическими изменениями в государстве, начал меняться сам принцип русского градостроительства.

К XVII веку начавшийся ранее процесс духовного и культурного «обмирщения» общества ещё более усилился, в итоге привёл к духовному кризису и, как следствие, — к церковному расколу, что в полной мере отразилось и на облике русских городов — от изменения архитектурных форм зданий до композиции застройки в целом.

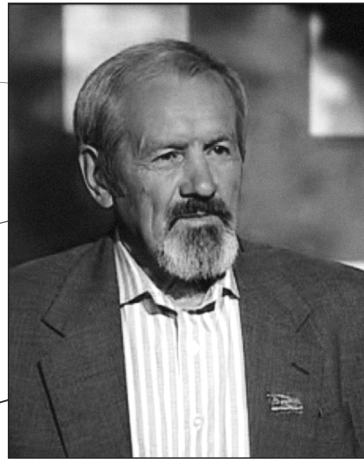
В заключение ещё раз подчеркнём — как бы подтверждая православный тезис «Дух творит себе формы» — древнерусский город был видимым выражением православного мировоззрения русского народа.

2012



Илья Дюков родился 20 декабря 1977 г. в подмосковном Серпухове. С раннего детства увлекался рисованием. Илья часто в шутку вспоминает, как в школе преподаватели «исправляли» ему оценки: «Нарисуешь стенгазету — будет пять!»

Важную роль в жизни художника играл отец, Вячеслав Гаврилович Дюков, — архитектор, художник, невероятно цельный и талантливый человек. Вячеслав Гаврилович был главным архитектором Серпухова, любил свой город, искренне радел за его судьбу, боролся с «новорусской» застройкой исторического центра... Любовь эта перешла от отца к сыну: Илья с болью в сердце говорит о порче исторического облика Серпухова, о чиновничьем произволе и по мере сил борется за сохранение «лица» любимого города. Выбор профессии был предопределён — способный юноша по окончании художественной школы поступил во ВГИК и четыре года учился на художника кино. Но незадолго до диплома Илья понял, что его судьба не связана с кинематографом — для личного и профессионального роста нужно что-то ещё. Молодой художник поступил на факультет скульптуры в Академию живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Целью Ильи стало достижение высочайшего профессионального уровня — примером ему служили Микеланджело, Леонардо и другие мастера прошлого, ставившие мастерство превыше всего. Темой его работ зачастую становились святые, воины, правители (император Константин Великий, Дмитрий Донской, Александр Невский, Владимир Храбрый и др.) — люди, жизнь которых может служить образцом для каждого человека. Студенческие работы скульптора и художника высоко ценил сам ректор. Неудивительно, что после защиты диплома Илье предложили остаться в Академии в качестве преподавателя. Илья Дюков не представляет своей жизни без веры; его творчество — от тематики до выбора стиля — глубоко религиозно. Во многом это заслуга матери Ильи: Лариса Семёновна Дюкова — староста знаменитого Высоцкого Серпуховского монастыря — удивительная женщина, посвятившая жизнь служению Богу, вырастившая двоих прекрасных сыновей (брат Ильи Максим — талантливый дизайнер). Илья с детства занимается спортом — он считает, что хорошая физическая форма упорядочивает сознание. Серьёзно увлекается философией. Плодом этого увлечения стал проект «Идеальный человек». Член МСХ. Член ICOMOS. Участник многих выставок и профессиональных конкурсов. В настоящее время пишет диссертацию «Градостроительное искусство и религиозное мировоззрение», разрабатывая революционную идею — «облик города как отражение веры его жителей».



Александр Сёмочкин

Дом

Предисловие Валентина Курбатова

Все русские книги — пророческие. Я думаю об этом, читая набоковский «Дар» и вспоминая судьбу его дома в Рождестве, в котором вот уже 55 лет живёт музей, где автору «Дара» сначала и местечка-то не было — музей был краеведческий. Читаю с удивлением, благодарностью и печалью: «Быть может, когда-нибудь на заграничных подошвах и давно сбитых каблуках, чувствуя себя привидением... я ещё выйду с той станции... Один за другим телеграфные столбы будут гудеть при моём приближении. Погода, вероятно, будет серенькая... Мне кажется, что при ходьбе я буду издавать нечто вроде стопа в тон столбам. Когда дойду до тех мест, где я вырос, и увижу то-то и то-то — или же вследствие пожара (пожар вспыхнет 10 апреля 1995 года прямо в день его рождения и унесёт дом почти целиком. — В. К.), перестройки (ну, о ней, матушке, лучше уж и не вспоминать — не от неё ли дом-то и вспыхнул? — В. К.), вырубки, нерадивости природы не увижу ни того, ни этого... то после всех волнений, я испытаю какую-то удовлетворённость страдания»...

Какое это странное чувство, «удовлетворённость страдания»! И как высока его тайная диалектика! Все мы, кого судьба своей или чужой волей надолго уносила из дома, знаем это чувство — вернуться и не застать себя прежним, не сказать «отомри», не узнать родного. «Пожар, перестройка, вырубка или нерадивость природы» словно нарочно подчёркивают неостановимость жизни. А для нас, в отличие от Набокова, есть в этом страдании ещё и как будто чувство

личной вины, словно всё это происходило оттого, что тебя не было здесь, что именно твоё отсутствие и порождало «пожары, перестройки и вырубки». Отчасти это так и есть, и время отечески учит нас этими утратами, учит памяти и ответственности. Но оно же и утешает страданием, горьким счастьем неповторимости.

И для нас, тех, кто сменил ушедших и только читал об их страданиях и глядел на минувшее глазами уже иного времени, открывается другая сторона неостановимости жизни. Открывается чудо её длительности, тайной преемственности, и уж коли тут хозяйничает Набоков, то и художественной тонкости этого преемства.

Недавно я прочитал в рукописи два сочинения Александра Александровича Сёмочкина — «Диалоги» и «Дом». Прочитал и, потрясённый, открыл для себя, как умно жизнь бережёт народную память, не даёт ей оборваться. Стало вдруг осязательно зримо, хоть руками мысль показывай, что, не будь Сёмочкина, и мы читали бы Набокова так, как, вероятно, читают его вдали от Рождества все нынешние читатели, — как одну только великую литературу, волшебное слово, которое может задеть сердце этим «удовлетворённым страданием» и отпустить его для совсем другой, почти уже снисходительной к ушедшему новой жизни.

А у нас, здешних, рождественских (я, благодаря Александру Александровичу, тоже много лет люблю этот угол России и знаю здесь в лицо каждый камень и дерево), жизнь с набоковским текстом связана крепче и законы преемства глубже чужих читательских законов.

Из «Диалогов»-то я узнал, что Владимир Владимирович и Александр Александрович — правнучки одного действительного статского советника Александра Фёдоровича Шишкова от разных его дочерей: Владимир Владимирович от красавицы Нины, а Александр Александрович — от «хроменькой или косенькой» Варвары. И от красавицы Нины ветвь ушла дальше по прямой в дворянство и дотянулась до Владимира Владимировича, а от Варвары, из-за домашней стеснённости жизни, — в купечество, а там и мещанство и вышла Александром Александровичем.

А дома-то их в округе соседствовали и, разойдясь по сословиям, может, уже и стеснялись родства. И, может, так бы и разошлись навовсе, если бы не затосковал Владимир Владимирович в своём благополучном изгнании по родному оврагу в черёмухе (как там у него: «Россия, звёзды, ночь расстрела и весь в черёмухе овраг!») и однажды не постучался в сердце Александра Александровича по-родственному повыспросить: как там, дома? А уж постучавшись, привязался и не захотел уходить из сердца. Да и Александр Александрович уже его не отпускал, чтобы и самому повыспросить, что и как там было в прошедшем? И вон оно как всё обернулось!

При основании музея Александр Александрович строит в этом старом доме первую набоковскую экспозицию, когда Набокова ещё полощут в статьях и самые передовые издания, строит из нескольких фотографий да, помнится, из машинописных стихов, чтобы не засвечивать чужестранных изданий и тех, кто их для него доставал. И оттого, может быть, горше и отчаяннее других вместе с жителями Рождества плачет 10 апреля 1995 года, когда этот дом горит. А потом воскрешает его с бригадой святых мужиков, которые, с их руками, могли бы озолотиться на жадно разворачивающемся частном строительстве молодых рыночных хищников. Но мужики слишком знали, что и сам Александр Александрович, не расставаясь с топором, не получает зарплат, и прививались к его чувству чести и любви.

И теперь я знаю, что дом воскрес прежде всего потому, что это был именно ДОМ, родная обитель, чтобы теперь уже не одни Рукавишниковы и Набоковы жили здесь, а и обе шишковские ветви, чтобы их правнучки сошлись здесь и обнялись на радость много потерпевшей нашей Родине, которая глядит на них не только с «удовлетворением страдания», но и с благодарностью.

Дому ещё только предстоит осознать, что он воскрес не просто как ещё один, очередной музей России, а именно и прежде всего как живой приют ушедших рождественских градоначальников, и вчерашних и нынешних Шишковых-Рукавишниковых-Набоковых-Сёмочкиных, и других рождественских семей, которые, Бог даст, и сами скоро увидят, что на ветрах бездомности, которые гонят сегодня людей по земле — бедных по своей, а богатых — по сытым чужим землям, этот Дом просто судьбой своей в близком нам переломном, чтобы не сказать совсем изломанном времени, может стать общим РОДОВЫМ РУССКИМ ДОМОМ, в котором сойдутся и герои набоковских «Машеньки», «Дара», «Других берегов», и сам их автор со своим домашним кругом, и другие шишковские ветви, кто вместе и был родиной — как аристократический изгнаннический Набоков и земной домашний Сёмочкин.

Русская история всегда глядела, чтобы народ был целым и не разбежался на слишком далёкие сословия, а слышал в себе ток одной крови. Для чего и обустроила шишковских дочерей по разным родам. Не зря в этих стенах мы слышим семейную нежность и домашнюю простоту лучше, чем во всех музеях России. Словно и они все, тени минувшие, хотят вернуться и больше не оставлять дома.

Мысль моя ещё не оформилась, но, живая, она мечется сейчас, ища оформления, как рифмованная строчка в «Даре»: «Благодарю тебя, отчизна, за чистый... Это, пропев совсем близко, мелькнула лирическая возможность. Благодарю тебя, отчизна за чистый и какой-то дар. Ты, как безумие. Звук "признан", собственно, теперь и не нужен: от рифмы вспыхнула жизнь, но рифма сама отпала. Благодарю тебя, Россия, за чистый...» Мы не будем дочитывать до того, как потом это стихотворение разовьётся и благодарность повернётся злой стороной: «Благодарю тебя, отчизна, за злую даль благодарю», а заведёмся томительным началом и сами договорим своё: «Благодарю тебя, Россия, за этот дом, за этот свет, и — Боже! рифма вдруг: Мессия. Ведь это так! Ужели нет?»

Всякий человек, бывавший в этом доме специально или «вот увидел — и завернул поглядеть», уезжал отсюда его сыном. Хорошо, если бы начальство слышало это и умножало дому за его заботу о нас его «материнский капитал». Эта семья, этот многодетный дом того заслуживают.



Дом Набокова

Старый, милый родительский дом! Ты жив ещё и пока бодр, хотя уже скоро исполнится тебе сто лет, и давай Бог, чтобы это была лишь первая сотня лет твоего земного бытия. Хотя, честно говоря, трудно на это рассчитывать. Дом строился дедом в начале двадцатых годов минувшего века, время тогда было непростое, впору было выживать, а не строить дома, но подпирала нужда — новая власть отобрала у семьи тот дом управляющего имением, в котором они жили, теперь все ютились в баньке. В семье шестеро деток, мал мала меньше, спать на полке было привилегией младшеньких, дед Никифор с бабушкой Татьяной помещались на лавках, старшие спали на полу.

Так что было не до изысков, лес для сруба подбирался что попроще да подешевле, плотники для работы приглашались что попроще, а всё, что было возможно, дед Никифор мастерил сам, лишь бы скорее под свою крышу да поменьше долгов.

А потом дом долго не знал детского писка, младшенькой Марусе было полтора года, девушка большая, что ж ей пиццать, а реветь, орать и вообще громко выражать эмоции в доме было не заведено с самого начала, и правило это строго соблюдалось. Зато потом появившиеся внуки напители дом своими орами, им это особо не возбранялось, потому что сменились времена, дети стали вдруг продуктом штучным, и им теперь позволялось многое из того, о чём в своё время и помыслить не могли их родители.

Теперь вот уже праправнуки Никифора и Татьяны тревожат старые стены своими воплями, только дому это в явную радость — повидал старик немало покойничков, лежащих на столе в его «большой комнате», и давно усвоил простую истину: пока в доме есть дети,



Дом Сёмочкина

дом живёт, а когда их в доме не остаётся, дом умирает вместе со своими стариками.

Сколько их по городам и весям грустного моего Отечества! — и на больших трактах, и на глухих просёлках — безглазых, покосившихся, умирающих без всякой надежды на сострадание. Безропотно, обречённо уходят они в небытие, в прах, в землю, из которой изошли некогда весёлыми бронзовыми соснами или косматыми ёлками. Шустрые мужички с пилами, обёрнутыми вокруг пояса, да с топорами, заткнутыми за тот пояс, задрав бородёнки, шумно обсуждали их строевые достоинства, прежде чем с шипением врезаться в их плоть, и, навсегда оторвав от родных корней, повалить на землю.

Дерево, впрочем, плохо помнит этот момент, потому что было оно тогда в глубоком зимнем сне, а когда проснулось, то осознало себя частью чего-то большого, что именовалось «дом» и являло собою ловко, на четыре угла сложенную складницу из сосновых и еловых стволов. В доме обитали люди, шумные двуногие существа, ещё тихие четвероногие водились — щекотливые мыши и кошки, которые на них охотились, да в подклети печи новорождённые ягнята, да за печью пара сверчков и с полсотни тараканов-прусаков. Иногда вылезал невесть откуда маленький старичок с драной льняной бородёнкой, ворчал и бранился по поводу и без повода и время от времени учинял людям мелкие пакости. Те, однако, на старичка не обижались, уважительно называли его дедушкой и хозяином и оставляли ему на ночь молоко на блюде, которое старичок делил с котом, и не всегда мирно.

Бывшие деревья постепенно становились частью этого странного обособленного мирка, в котором было много суеты и мало, как им

казалось, смысла. Впрочем, бывали моменты в жизни двуногих, которые мирили их с лесными великанами. То случалось в глухие осенние и зимние вечера, когда мерцает в углу, в образах, лампадка, потрескивает в светце лучина, девушки прядут кудель и негромко поют протяжные грустные песни. Тогда всё в доме затихало и соединялось в одном чувстве тихой сладкой тоски, так знакомой всем живущим на земле. Тогда и деревья стен ощущали себя сродни этим, так непохожим на них, существам, и был на земле мир, и было в человеках, скотах и деревьях благоговение.

Ведь деревья не умирают, будучи срубленными и положенными в стену дома. Они впадают в некое оцепенение, но сохраняют способность внимать и чувствовать, а главное — запоминать и помнить. Постепенно древесная плоть настолько пропитывалась человеческими разговорами, страстями и чувствованиями, что уже не могла отделить себя от совершающейся рядом человеческой жизни и сама становилась частью этой жизни. А жизнь эта версталась по раз и навсегда заведённому порядку — люди рождались крохотными лилово-красными уродцами, пиццали по ночам, сосали материнскую грудь и, наевшись, засыпали и пачкали пелёнки, и росли, росли, чтобы однажды превратиться в юных девиц и парнишек, у которых были уже другие заботы, и первые секреты, и жаркое перешёптывание по ночам, и беззвучные потасовки, заканчивающиеся чьим-то всхлипыванием. А потом ещё подросшие девицы улетали из дома, их провожали гомоном весёлые от вина гости, а парни приводили откуда-то других девиц, и опять гомонили за большими столами набившиеся в избу гости, и скоро всё начиналось сызнова.

Время от времени кто-то из обитателей дома умирал, переставал двигаться, тогда его укладывали в тесную деревянную хоромину и уносили, остальные сначала плакали, а потом забывали умершего. Только деревья стен ничего не забывали, потому что не умели забывать, голос умершего был вплетён в древесную плоть навсегда, как и всё то, что в доме говорилось, шепталось, кричалось и пелось. В этом была слепая неразборчивость дерева, скажете вы, да только у древесной памяти свои законы, она равно откладывает в свои годовые кольца и тёплый майский дождь, и жестокую октябрьскую бурю, выворачивающую с корнем столетние ели, и умеющий читать легко прочтёт по этим кольцам всю

древесную жизнь. Только вплетённую в дерево человеческую речь прочесть непросто, но если ночью лежать тихо-тихо в одиночестве в старом доме, то в самую глухую полночь можно услышать невнятный шёпот, обрывки тихого разговора или что-то напевающие голоса... впрочем, это уж как кому повезёт.

Порой в доме звучало короткое и тревожное слово «война», его сопровождал бабий вой, после чего молодые мужчины исчезали из дома, одни надолго, другие навсегда. Мыши шептались между собой, что они уходили убивать друг друга. Это было непонятно стенам дома — зачем? Наверное, затем же, зачем в лесу подростки-деревья глушат друг друга, изо всех сил тянутся вверх, чтобы взять себе больше света, лишить его отставших, оставшихся внизу и обречённых умереть. Наверное, так и у людей, — считало старейшее дерево в доме, матица, бывшая в лесной своей жизни двадцатилетней сосной. Людей стало много, и им не хватает солнечного света, — соглашались остальные. Все они знали свой предел, потому что у дерева всего две судьбы — тихо сгнить от старости или быстро сгореть в яростном пламени пожара. Вторая смерть хоть и мучительна, да коротка, и потому неразумная молодёжь часто о такой мечтает, но только с годами дерево всё больше начинает ценить и тихий летний рассвет, и освежающий ливень, и долгий ночной снегопад, и жёсткий норд-вест, приносящий метели. Нет уж, — шептали старики, — лучше тихо, незаметно для себя превратиться в прах, уйти в землю и раствориться в ней всю свою накопленную память. Земля большая, она всё вместит.

Потом молодая поросль своими корнями выпьет, высосет из земли эту память, включит её в свою плоть, и что ж удивляться, если в лесу появляются «музыкальные» ёлки, тонко реагирующие на звук, или необычной текстуры «карельские» берёзы, или «мачтовые» сосны, похожие на крик в ночи, или, напротив, изломанные уродцы с дрожащими ветвями?

«Сестра моя сосна, — убеждал дерево святой Франциск, — ты свеча Господу моему, поэтому будь стройна! Сестра моя ель, тебе дан талант от Господа моего, преумножь его! Дуб, брат мой, будь твёрд в вере своей, и Господь мой не оставит тебя!»

А что остаётся дереву, срубленному в средозимье, превращённому в бревно и положенному в стену дома? Его долг — хранить и защищать эти слабые, беспомощные комочки

живой плоти, этих посапывающих на печке человеческих детёнышей, этих жмущихся к теплу стариков... помилуйте, за что? За то, что лишили привычной лесной жизни, обкорнали со всех сторон и заключили в клетку сруба? За то, что теперь коптят дымом, пропитывают запахом своих тел и дурно пахнущей еды? За то, что приходится слышать от них тяжёлые, тёмные, ядом пропитанные слова? Но где выбор у дерева, ставшего домом? У него нет выбора, у него есть только долг, как у мужчины, ставшего солдатом, есть только одна обязанность — служить. И дерево служит, не рассуждая. Люто представить себе злопамятное дерево, — да где бы ты была сейчас, матушка Россия? Разве что ушла снова в пещеры и землянки, где и сгинула бы. Так что — слава дереву, не помнящему зла! А ещё большая слава Тому, кто создал его таковым.

Тут ведь ничего переменить нельзя, и как бы ни изгалялся человек над деревом, его полосуя и вдоль, и поперёк, и по диагонали, превращая в доски, чурки, в щепу и бумагу, долг дерева — служить и не задавать никому лишних вопросов. Но это для дерева — просто работа, а ведь есть ещё высшее предназначение, и то дерево, что становится домом, именно его несёт и воплощает. Совместная жизнь человека и дома превращается — и нередко — в некий симбиоз, их уже трудно бывает разделить, и мы знаем, как смертельно тоскует человек, навсегда потерявший любимый дом, и как часто дом не выдерживает разлуки и погибает после смерти своего хозяина.

Но бывает у дома и много более горшая судьба — быть преданным хозяином, которого он выпестовал и вырастил в деревянном своём чреве и который бросил его, соблазнившись лёгкой городской жизнью или вовсе чужими тёплыми краями, забыв и слово доброе сказать дому на прощание, лишь заклатив никому теперь не нужные окна крест-накрест, как могильный знак поставив на живом ещё существе. Лучше бы ты запалил его, думается, чем вот так оставлять на позор бесчестия. Лучше бы запалил.

Впрочем, что ж я так. Ведь и самому надобно прощения просить у старого родительского дома, потому что и я давно покинул его стены. Покинул, впрочем, не для городской жизни, а для того, чтобы построить свой, собственный дом, дать новую ветку большому семейному дереву. Вот уж мои внуки обживают этот дом, для них он уже старый, дедовский... станут ли они сами строить себе

дома? Лишь бы это были не дачки. Много их развелось окрест — дом не дом, а так, временное на треть года жильё, домом хозяева этих дачек считают свои городские квартиры, да только какой же это дом? — ни кола ни двора, ни сада, ни огорода, ни козы, не петуха.хлопот меньше, конечно. Да только убери от меня сейчас эти хлопоты, я и помру, пожалуй что, от образовавшейся пустоты жизни. Ведь это так естественно, чтобы день начинался с охапки дров, пары вёдер воды, убрать мусор, покормить кур и собак... так начавшийся день обещает быть удачным и для всех полезных дел благоприятным — я выполнил свои обязательства перед домом, и он непременно выполнит свои.

Мы давно уже стали единым целым — мой дом и я, так панцирь черепахи или раковина улитки одновременно и их дом, и часть их организма. Мы всё же живем в стране, где половину года идёт снег, а половину оставшейся половины идёт дождь. И если со вторым обстоятельством можно как-то управиться подручными средствами, то с первым... при двадцатиградусном морозе без дома или огня человек погибнет в первые двое или трое суток. Так неожиданно хрупка человеческая жизнь, и гарантом её у нас может явиться только дом, пожалуй. Хоть плохонький, но — дом.

Конечно, на свете существуют не только плохонькие, и не только добротные дома — нет, я не имею в виду те многоэтажные инсульты, те человеческие муравейники, что тоже горделиво именуют себя домом, нет. Те были, есть и останутся благоустроенными бараками, что бы они о себе не мнили. Нет, речь пойдёт о тех величественных сооружениях, которые именуются дворцами. Эти творения знаменитых зодчих, а также тысяч искусных ремесленников бывают разными — огромными и миниатюрными, помпезными и скромными, они могут быть выдержаны в строгих канонах архитектурного стиля, а могут быть дерзкой фантазией архитектора, и все они тоже вроде бы назначены быть жилищем человека, семьи, рода, но таковыми они не являются.

Эти дома (домы, надобно бы сказать) суть вещи самодостаточные, они не пестуют в них находящуюся жизнь, а лишь терпят её, как, скажем, дерево терпит поселившееся в нём беличье семейство. Они — не удобная повседневная одежда, но вицмундиры с галунами, позументами и золотым шитьём, в них достойно принять высоких визитёров — и толь-

ко. Эти элегантные красавцы с надменным, а то и мертвенно-тусклым взглядом никогда не снизойдут к человеческой слабости, их каменные стены не знают сострадания. Оставим их в их гордом величии, вернёмся к домам настоящим, назначенным служить жизни.

Их многие миллионы в нашей огромной стране, и сколь различны они! Тут трёхэтажные хоромы Заонежья и Подвинья, тут и скромные избёнки Псковщины, мазанки кубанских станиц тут, и полуземлянки самовов Колы, тут дома-кошело владимирцев и «птичьи» домики наших так называемых садоводств. В последнем случае какой только подручный материал не использовался для сооружения этих бесхитростных построек! Но строились они на чистом энтузиазме в те поры, когда просто пойти в магазин и купить нужную вещь было невозможно, но они строились наперекор идиотизму власти, боявшейся, что её граждане обзаведутся собственностью и в них проснётся капиталист. Первоначально бывшие «дачками в кооперативе», для многих состарившихся владельцев они стали настоящими домами... да только живущим по другим нормам детям этих стариков такое убогое жильё, как правило, увы, не нужно...

Да и что говорить об этих примитивных домиках, когда здоровые, крепкие крестьянские избы, стоящие среди роскоши средне-русской природы, оказались никому не нужны! Когда большие деревни по берегам сибирских рек брошены и дичают! Мне говорят — негде работать, совхозы развалились. А как же деды жили тут без всяких совхозов? Говорят — условия изменились. Но не видно никаких изменений. Земля — вот она, зарастает ивняком и осинником. Тайга — вот она, до горизонта. Река — тоже на месте, как и рыба в ней. Видно, если что-то изменилось, так это в самом человеке, и не в лучшую, надобно признать, сторону. Хозяин ушёл, затерялся где-то, а оставшиеся батраки сами ни на что решиться не могут, да и не хотят. Их вычислить нетрудно — по дому: три окошка вперёд и сбоку веранда. Даже выкрашены одинаково, в грязно-зелёный цвет, чтобы уж совсем никак не выделяться среди прочих.

А как знали толк в избяном строительстве сибирские плотники! Низ дома, его первые три венца рубили из лиственницы, дальше до окон шла красная боровая сосна, а потом кедр или, на худой конец, пихта. Но внутренние стены — всегда из осины, она выпьет, высосет всякий вредный запах, даже

и слабый угар, если таковой случится. Рублены эти дома были, что называется, «без гвоздя», но это последнее требует пояснений. Так часто говорят о старых постройках, да только не всегда это правильно. Для сруба как такового гвоздь вовсе не нужен, но попробуйте обойтись без гвоздя при устройстве, скажем, кровли! И тес, и щепу, и гонт нужно же как-то закрепить на кровле — как? И тут появляются мудрёные для нынешнего человека слова: самцы, слегы, курицы, охлупень, стамики, поток, а ещё — косячатое окно, волоковое окно, матица, повалы... И за каждым этим словом — наука!

Найти в лесу «курицу» вовсе непросто, это должна быть молодая ель с мощным корнем под прямым углом к стволу, и потребно было таких ёлок на дом никак не меньше пары дюжин. Очень непросто подобрать и «поток», который ляжет в лапы «куриц» и в своем пазе зажмёт все тесины кровли. Отныне все непогоды мира обрушатся на него, и он обязан выстоять, иначе первый же буйный ветер разметает кровлю дома. Тоже «охлупень» — это могучее дерево венчает крышу, его вынимают из земли с корнем, который под рукой плотника станет конской головой, поющим свою нехитрую песню петухом или изящной лебёдкой. Вот и готов красавец-дом. В его создании поучаствовало только одно железо, железо топора, никакое другое в дом не допущено, потому что недолюбливают друг друга эти двое — холодное рациональное железо и тёплое живое дерево. Довольно и того, что человек по своей воле соединил их в топоре, на гибель лесу.

Наверное, нечего и говорить о том, что дом постепенно усваивает характер своего хозяина, а если это характер семейный, наследственный, то он становится характером самого дома. Стоит пройти по деревне, чтобы увидеть, насколько это справедливо. Вот вроде домишко сам по себе плюгавенький, а смотрит бодро, весело, словно подмигивает — ан, мол, ничего, ещё поживем! Другой вроде и телом тучен, и ухожен, а всем недоволен и смотрит исподлобья: проходи, мол, нечего на чужое добро пялиться. А вот принарядившаяся девушка, вся в рюшках и цветочках. Давно замуж хочется молодежи, да видно, не судьба. Рядом с ней бобыль беспутный, дрыном подпёрт, лыком подпоясан, что ни жил — ничего не нажил, всё не впрок молодцу. Вот краснобай деревенский, специалист по части пыль в глаза пустить приезжему человеку... много чего может сказать сельский дом, да

и не соврёт, пожалуй, по простоте своей. Потому что если научиться врать, особенно врать по казённой надобности, то это будет уже не деревня, и не село, а так, что-нибудь — населённый пункт, сельское поселение, или ещё хуже — посёлок городского типа.

Стой, деревня, крепись. Всё-таки жива уверенность — кончится это безоглядное время, время пустозвонства и пустомельства, повернёт русский человек в ту сторону, где его исток, и естественный образ жизни где, и начало нравственного бытия на земле. Его ждут зарастающие бурьяном поля, и тихая речка, и изуродованные хищниками леса, и старые деревенские дома ещё не потеряли надежду, ещё верят в глубинную человеческую память, ещё надеются, что поймёт человек — быть хозяином на земле, на своей земле — много достойнее, чем жить пронумерованной особью в человеческом муравейнике мегаполиса.

Ведь нам надлежит построить цивилизацию, отличную от существующих цивилизаций Востока и Запада, цивилизацию, где человек, может быть впервые за время своего существования, перестанет противопоставлять себя Божьему миру, но станет сотрудни-

чать с ним во имя торжества Жизни и Божьей правды на планете. И нам тогда не обойтись без дерева — лучшего из того, что создано на земле Творцом и что Его прославило: «От древа отшедый Господь мой стал Богом моим», — скажет святой Франциск, и кто посмеет оспорить его?

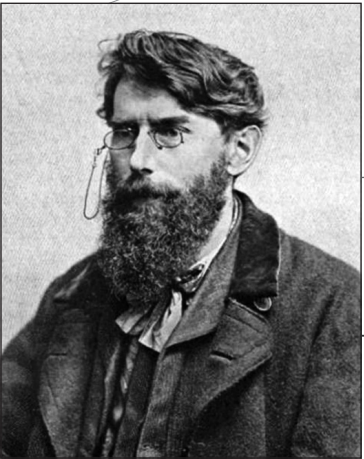
Низкий поклон тебе, старый деревенский дом. Люди пренебрегают тобой нынче, но не брани их. Они, как дети, соблазнились новыми блестящими игрушками, и потянулись к ним, и считают их единственно достойными своего внимания. Но придёт время, и станет ясно, что блестящая мишура — это не самая большая ценность на земле, что дёшево дающийся хлеб не насыщает, а слова-побрякушки не способны утешить. Тогда станут они искать настоящее и скоро увидят, что оно там — в старом доме на берегу речки, на косогоре с ёлками и берёзами, а выше — сосновый бор, а справа — поле с ячменём и рожью, а слева луг с пасущимися на нём каурой кобылкой с жеребёнком.

Нам бы только не опоздать...

Сентябрь 2012. Выра

Александр Александрович Сёмочкин родился в деревне Выра Ленинградской области в 1939 г. Архитектор, реставратор, плотник, писатель, публицист. Один из создателей музея «Дом станционного зрителя» в Выре. Создатель и первый директор музея-усадьбы «Рождествено».

Литературный критик и публицист **Валентин Яковлевич Курбатов** — автор полутора десятков книг о замечательных русских писателях и деятелях культуры. Член Академии российской словесности, Международного объединения кинематографистов славянских и православных народов, член правления Союза писателей России, член Общественной палаты России и Президентского Совета по культуре и искусству. Лауреат премий имени Л. Н. Толстого, Горьковской и Новой Пушкинской (2010).



Из Джорджа Уильяма Рассела («АЕ») Перевел с английского Станислав Минаков

Тишина любви

Я мог бы восславить тебя — до последних времён,
Твердить о мгновеньях, которые были нежны,
Я мог бы прозвать тебя тысячей звонких имён. —
Любовь — молчалива. Что выше её тишины?

Любовь не гордится. Покорна суждениям судьбы,
Безмолвная, верно таится и тихо растёт.
И не превозносится, и не взыскует борьбы.
Любовь — молчалива. И мир перед ней распростёрт.

Лишь страх и отчаянье нам отворяют уста,
Лишь ревность и страсть, и копеечна наша цена.
Держись тишины. Ведь одна тишина не пуста.
О, благословенна — любви немота, тишина!

Непостижимый Бог

Пленённые своей игрой,
Призывны, далеки,
Роились звёзды над горой,
Как будто светляки.

Ночь наполняла пустоту,
Как дух — немую плоть.
Мы созерцали Красоту.
И с нами был Господь.

Забвение

Вершины канули во тьму.
Ночь безпробудная — слепа.
И я — беззвёзден. Потому:
Ступила вечности стопа

На то, что теплилось в груди,
Терзало, мучило меня...
Всё остается позади —
И страсть, и зарево огня.

Верховный Дух

Я и есть Красота среди вечных красот.
Бхагавад-Гита

Восток венчала ночь снегов,
А высь таила жемчуга,
Как океан без берегов,
Сокрывший горние луга.

Недвижное — земля, вода,
Глухой огонь и воздух гор —
Ждало движенья. И тогда
Ты всё сомкнул в единый хор.

Но прежде, чем Ты явью стал,
О, Дух Верховный, Света Свет,
В обители какой витал,
Среди каких светил, планет?

В забвенье грезил, тайном сне?
О, вечный данник пустоте!
Свет Красоты — в Тебе? Во мне?
В благоговейной немоте.

В мой час

Если настанет мой час,
Ты обо мне — не рыдай!
Всем — собираться в дорогу.
Высветлит небо, лучась,
Мне уготованный рай.
Смерть — это радость, ей-богу,
Божьего замысла часть!

Ты себе только представь
Этот немислимый свод,
Эту вселенскую негу!
Вот она — явная явь,
Мира живой хоровод.
Радуйся свету и снегу!
Радуйся, радуйся, славь!

Невинность

Ну как смогла она понять
Сакральный смысл моих речей?
И сердцем истину обнять.
Младенец, Сын — но Чей, но Чей? —
На Крест взойдёт, чтоб умереть,
Воскреснуть в Славе... Как смогла
Она судьбу Его прозреть
В свеченье моего крыла?

Дар

Я думал: принесу любовь свою
В цветке ночном, раскрывшем свежий зев,
И на твоё чело росу пролью
С мистических дерев.

Но рано мне ещё идти домой,
Ведь, выдавая тайного певца,
Льёт горечь голос чей-то — нет, не мой! —
В отверстия сердца.

А тьма — растёт. И в череде часов
Ты слушаешь, безстрашный воробей,
Как дышит ад, закрытый на засов
Немыслимых скорбей.

Покой

Была одна звезда видна
За горною грядой.
Пустынная долина сна
Лежала пред звездой.

А я скитался среди скал,
Глядел в глаза могил.
Я след любви своей искал,
Но нет, не находил.

И мне открылось: всё прейдёт —
Звезда, любовь и я.
И нас сокроет черный лёд
Во тьме небытия.

Наследие

Моря вбирают память рек,
Сбежавших с вековых долин.
И ты — наследник, человек,
Эпох истёкших властелин.
Перед тобою пали ниц
Созвездья мировых крупиц.
Предшественников — не видать,
Они давно сошли на нет.
И в хаос канула их рать.
Но через толщу тысяч лет
Проведай, что тебе дано.
Ведь ты — наследное звено.

Тем, прежним, должное воздай,
Икринка неба, земномор,
Потомок многих стад и стай,
Ты пьёшь их млеко до сих пор.
Несёшь себя к иным мирам,
Единосущен, — прах и храм!

Не всё определяет плоть,
Ещё есть — внетелесный свет.
Тебе Вселюбящий Господь,
Сошед на землю, дал Завет.
Иди! — среди побед и бед —
За всех, за всё держать ответ!

Во грехе

Захлестнулись страстью
И забились в раже,
Позабыв, что кто-то
Выше нас — на страже.

Были злы обиды,
Жар ревнивый — долог...
Мать Мария светлый
Отвратила полог.

Отрешила Матерь
Гибельных — от блага.
И в очах Пречистой
Проступила влага:

«Кто любовь порушит,
Тот меня не любит,
Тот себя, безумник,
Волей грешной сгубит».

Семь радуг

Приходят пилигримы —
Ветра, созвездья, тучи —
Сквозь Божию зарю.
И трепетны, летучи
И временем гонимы,
Приносят к алтарю —
Семь радуг разноцветных —
Зелёно-красно-синих,
И это — их дары.
И на путях всесильных,
И на путях заветных
Рождаются миры.

Семь радуг разноцветных —
Вот всё, что есть у Бога
Для утренней игры.
Немного или много —
Из всех богатств несметных?
Спроси у детворы.

Кэрроумор

Есть забытая дорога —
меж болот — на Кэрроумор.
Там лежит Великий Спящий
возле дремлющих озёр.
И над ним мерцает сумрак
тихой стайкой мотыльков,
И музыка сфер нисходит
в тёмный лиственный альков.

И ему ласкает кудри
серебристая ладонь,
И у век танцует слабый,
угасающий огонь.
Но уста — полураскрыты,
И расслышишь у воды,
Где Священного Ореха
пали спелые плоды:

«Спи-усни, оставь заботы,
позабудь свои труды!
Время сумерек настало;
всё уснет, усни и ты!
Сумерки времён настали,
золотой истаял лик,
И в траве последний отблеск
солнца надолго поник.

Да, нежна твоя подруга,
только — что нежнее сна?
Разве свет созвездий вечных
не прекрасней, чем она?
Разве губ её изгибы
краше серебра росы?
Знай, любовь и есть забвенье,
и превыше — нет красы!»

О, однажды отворятся —
вновь — небесные врата,
И свечением рассветным
озарится высота.
И с дневною злобой радость
встанет праздничной стеной,
И замрёт очарованье —
в сладкой памяти земной.

А пока — мерцает сумрак
тихой стайкой мотыльков,
И музыка сфер — нисходит
в тёмный лиственный альков,
Где лежит великий спящий
возле дремлющих озёр,
У дороги позабытой —
меж болот — на Кэрроумор.

Примирение	
Я упал на траву, и уста прошептали: «Господь, Я добрался, добрёл до поляны, где травы, играя, Шевелят плавниками. Я кану бесследно, но хоть В жизни раз — наяву мне открылось преддверие рая». Я упал на траву, и уста прошептали: «Господь!»	
Это детской рукой я приведен к престолу Отца. Это детские руки нас к счастью приводят, играя, И дарует Отец приходящему огонь из ларца, И, от края отняв, отпускает, мирясь, не карая. Смех ребячий приводит заблудших к престолу Отца.	
Пустота	
Как мчался сумрак, гибнущий олень, А ночь, охотник чёрный, следом шла! И длился бег, и тень сменяла тень, И вдруг погоня — враз — изнемогла.	
Мы видели, как в чаще золотой Беглец укрылся от объятий зла. И день настал. И тягостной плитой На сердце ночи пустота легла.	
Непрерывность	
Империи грядут во тьму, Но длится свет в цветах и звёздах. Подвластный Богу Самому, Исполнен чуда вечный воздух.	
Жизнь тает, падает на дно, Покуда смерть ухмылкой дикой Сверкает. Только — всё одно — Господь затеплит повиликой	
Иную жизнь. О, помни, знай, Греховник, перекасти-поле: Каким страданьем ни стенай, Вселенная — в Господней воле!	
И в стеблях слабых орхидей, Что ты поверг своей стопой, Есть радость высшей из идей — Игра Всевышнего с Собою.	
И, чередуя с крахом крах, Его игра не прекратится Вовеки, и вчерашний прах В шедевре новом воплотится.	

Рыцарство	
Мне снилась мать Ирландских королев. Во тьме веков был лик её высок. В глаза врагов взглянув, сказала: «Рок К нам благосклонен. Наш противник — лев!» «Он — горд и благороден! — захмелев От предвкушенья ратных дел, возмог Сказать вассалов строй. — И нам — урок, Ведь поле брани — не загон, не хлев».	
А после мне приснился чёрный сон: Шипенье тысяч гадов в унисон И злобный вой, что мой народ обрек На муку, на страдание, на гон. И я проснулся, свой расслышав стон, И зарыдал: «Как страшен мерзкий век!»	
Сумерки земли	
Исчезли мира чудеса И сказки — больше — не видать, Её истаяла краса, Волшебств избыта благодать. Орех Священный сбросил цвет, Плодов Познания — нет как нет.	
Грош — нищему уму — цена. Ведь не вернёмся в те века, Где воля душ была сильна, Где пела звёздная река: За гранью неба голубой С богами мы вступили в бой.	
В Преданье сказано о том, Кто спал у Дейдрде на груди, Оставшись в веке золотом, Им в наши будни — не прийти. Нет повторенья у любви — Зови её иль не зови.	

Роса нам холодит ладонь, Солёный шторм пугает нас. Не сник бы очага огонь, Когда б мы вспомнили хоть раз, О, мать-природа, хоть на миг — О пращурах, корнях своих.	
Но мы уходим в никуда, Уходим — дальше от огня. И память, стылая звезда, Тусклей, слабей день ото дня. И скоро нас, бегущих прочь, Всемирная настигнет ночь.	
О, если б только — кто-нибудь Хоть малый лучик воскресил И озарил наш мрачный путь, Пусть даже из последних сил! И заслонил живой мечтой — От безысходности пустой!	
Дано ли вспомнить красоту В её духовной полноте — Нам, позабывшим высоту, Стадам, бредущим в темноте? Безверье сводит нас с ума И души обнимает тьма.	
И всё же говорю: дано! Ещё не закрыты врата! Мы свет, утраченный давно, Считаем с чистого листа, И нам приотворят покров Владельцы горных теремов.	
Да, — говорю, — вперёд и ввысь! Влечёмся к благу своему! Не для того мы родились, Чтоб тёмными уйти во тьму. Кто светом утолился всласть, Тот обретёт над тьмою власть!	
Мятеж	
Мой утлый маленький баркас И солнца яркий галеон Одной качаемы волной, Один назначен нам закон.	
Чреда быстротекущих звёзд Иль пилигрим, моя душа, Влекутся заданной стезёй, Над морем мировым дыша.	

Скажи, мы странствуем — зачем? Незнания муку затуши! Что впереди? Страна богов? Забвение — во мгле, в глуши?	
Vale*	
Пристанище на небесах, К которому душа пристала, Оставив под плитой прах Телесный, сброшенный устало.	
Пристанище на небесах... Тебе, душа, там быть пристало. Поскольку время на часах Твоих давно уже устало.	
Забыв земное на земле, Не сетуй, слабая, на долю. Адьё, душа, навеселе Лети вослед Творцу, на волю!	
* Прощай (<i>лат.</i>).	
Воскресение	
Мне туда уже не надо, Где зелёная волна, Где заплакана наяда, Над могилою — луна.	
Пусть прошедшего химеры Спят в пещерах сладким сном. Я читаю Символ Веры И мечтаю об одном:	
Чтоб утихла боль желанья, Не вонзала жало в грудь. Чтобы страстное терзанье Кануло куда-нибудь.	
Лишь в покое Вечной жизни — Благо полной тишины. Но пока — в моей отчизне Ярь и нежность сплетены.	
Неотступная твердыня Мной истерзанных сердец, Покаянье, скорбь, гордыня — Вот терновый мой венец!	
Лишь за гранью небосвода Боль, что мучила и жгла, Вознесётся, как свобода — От подъятия крыла.	

Всё моё со мной восстанет
В Судный День. И высота
Бехи райские расставит,
И отверзятся врата.

И любовь — без мук, без веры —
Весь заполнит окоём.
И прошедшего химеры
Захлебнутся вечным сном.

Обещание

Не будь угрюм и чёрен,
Когда ты тих и пуст,
Как сбросивший одежды
Листвы осенней куст,
Когда раскрыть не в силах
Замолкших уст.

Все прежние надежды,
Все прошлые мечты
Не сгнули, не пали,
А в лоно Чистоты

Сошли. Настигнешь снова
Когда-то ты

Нежнейших очертанья
Мечтаний, снов.
Где будет небо новым,
Ты тоже будешь нов.
Спасибо, Царь, что больше
Не надо слов!

Не та — краса, что страстью
И мучила, и жгла,
Что тяжкою плитою
На душу налегла.
Ты был не с ней. И ты не
Изведал зла.

Теперь — иссяк, а завтра
Ты оживёшь опять.
Никто, ничто не сможет
Твой новый свет унять —
Текущий выше, дальше —
Вперёд, не вспять!

Крылья Ангуса

Дороги серая стрела предстала неземной.
И чей-то голос прозвучал, беззвучный, надо мной,
И мириады колких звёзд, сияя и маня,
Пронзивши существо моё, промчались сквозь меня.
И хлынуло в меня тепло, разверзлась высота,
И, как стоцветные глаза, — небесные врата
Меня впустили в славы рай, свободы Парадиз,
И золотой восторг меня ввергал — вовнутрь и из:
Из глубочайшей глубины в иную глубину,
И я вобрал живым нутром горячую струну,
И над Вселенною парил глазастый серафим,
Преображая тьму во свет. И я был узнан им.
Луна, и солнце, и земля, и звёздные огни
Замкнулись в рассиянный шар. И голос был: «Взгляни!»
И этот свод качнулся встречу — сияя и маня.
И дальше — не было времён и не было меня.

Джордж Уильям Рассел (А.Э.), George William Russell (A.E.), 1867—1935.

«А.Э.» — псевдоним Рассела, образованный от слова «поэзия» по-гречески.
«Крупнейший англо-ирландский поэт накануне Уильяма Батлера Йейтса, явный поэтический прерафаэлит». «Если не Джон Донн, то поэт для Ирландии самого первого ряда...» *(Евгений Витковский)*

Станислав Александрович Минаков — поэт, прозаик, переводчик, эссеист, очеркист, публицист. Автор нескольких книг, множества публикаций в журналах, антологиях, альманахах. Родился в 1959 г. и живёт в Харькове. Член Национального союза писателей Украины, Союза писателей России, Всемирной организации писателей International PEN Club. Лауреат Международной премии им. Арсения и Андрея Тарковских (Киев — Москва, 2008), Всероссийской премии имени братьев Киреевских «Отчий дом» (Москва — Калуга, 2009) и других литературных и журналистских премий России и Украины.



Фёдор А. Чернин

Рассказы

Тумору

Что сказать, я живу на Манхэттане. Я всё ещё молод, отлично зарабатываю, по-прежнему весел и чрезвычайно хорош собой. Гонорары в валюте выплачиваются аккуратно и в срок. Второй брак, разумеется, молодая супруга. Прелестный комплект из двух здоровых продвинутых лоботрясов обоего пола. Я — русский журналист в Нью-Йорке. И этим всё сказано. Респект компатриотов. Со многими на дружеской ноге. Перечислю — не поверите. Читатели с нетерпением ждут публикаций. Приглашают в телевизор: «Ваше мнение по текущему вопросу актуально и интересно общественности». Элегантные хобби — лаун-теннис и парусный спорт, коллекция живописи. Желанный гость на презентациях и премьерах различного уровня. А культмероприятий в Н-Й (город никогда не спит) — только успевай опохмеляться. Между прочим, пилотирую «лексус».

Так я пишу знакомым, оставшимся на родине.

Однако это только один из бесчисленных вариантов действительности. На самом деле много лет я исполняю нелепые акробатические упражнения на развалинах семьи и нижнем пределе порядочности. Так полагает моя супруга. С её характером, кстати, могла бы быть и посимпатичнее. Прошлой осенью она покинула меня. Детям внушается, что папа слабохарактерный. Несостоятелен, как лобковая вошь, — тоже её формулировочка. Откуда, спрашивается, такие образы? Отпрыски вступают в переходный воз-

раст, всё чаще демонстрируют независимость. Я им нужен всё меньше, к сожалению. Всё больше лежу на диване. Энтропия «лексуса»: всё чаще ломается и косит зелёным глазом. Жизнь — движение, а я что-то засиделся на жо... Отношения с зеркалами характеризуются растущим скептицизмом. Плюс прогрессирующая мизантропия. Минус больной желудок. Ибо приятельствую с зелёным змием. Причём всё чаще не в компании, на премьерах и презентациях, а с глазу на глаз. Вот и сейчас, если не возражаете, начислю себе грамм-лечку вискаря...

Русские привычки не приносят счастья, это известно. Но что я без них? Ведь моё большое Я и есть этих привычек одновременно объект, субъект и совокупность, так, кажется, учили в школе? Я закончил два гуманитарных факультета, но это, конечно, не в счёт. Когда-то в кругу друзей меня дразнили эрудитом и полиглотом. Однако в этой стране и в эту эпоху востребованы совсем другие качества.

Меня всё реже зовут в гости, опасаясь с моей стороны какой-либо эксцентрической выходки. Надо признаться, я почти никогда не разочаровываю хозяев. Мои собеседники за небольшим исключением — люмпен-интеллигенты. Красивые девушки всё реже соглашаются иметь со мною дело.

Мало кто верит, что обе эти версии моей жизни — истинная правда.

Всё потому, что я сочинитель. Я умею только покрывать закорючками бумажные поверхности и долбить по клавише, аки неумная птица-дятел. Переводить бумагу, пачкать бумагу,

портить бумагу. Мучить и уничтожать бумагу. Лепить из бумаги и чернил реальность, в которой всё иначе. То, что занимает меня, крайне удалено от действительности, в которой следят за процентными ставками. В моей голове кольца Нибелунгов. Там пылают яростные сражения героев с чудовищами, рождаются и гибнут миры, ещё не знающие Христа... Когда-то на литературные гонорары можно было жить семьёй и посещать рестораны. Теперь так живут лишь авторы бестселлеров. Мои бестселлеры, к сожалению, плохо продаются. Как гондон (тут опечатка, должно быть «Дантон»), я унёс частицу другой эпохи на подошвах скороходовских немодных ботинок.

Когда я был трудоустроен, меня презирало начальство, потому что я опаздывал на работу и часто болел. Наконец меня сократили (перевели на фриланс), я сперва остолбенел, впал в прострацию и лишь позже осознал, что так прекрасным образом реализовались смутные мои мечты о вольном хлебе. Окончательно порвать со мной они не решились, потому что, когда я болею и хандрю, информационные источники засыхают... — это примерно как утверждать, что я богат, умён и чрезвычайно хорош собой. Меня не гонят лишь потому, что никто другой не станет ишачить за мизерные гонорары, что их шарашкина контора в состоянии выплачивать. Я не могу без них, а они без меня. За это мы ещё больше презираем друг друга.

Потом я издавал газету. Ну как газету... желтоватый таблоид лёгкого поведения, направления «кормимся понемногу». Скоро и это прекратилось: человек, развозивший газеты, украл выручку с номера и скрылся. Подавать в суд было бессмысленно, настолько мизерна была присвоенная им сумма. Сказал ли я, что это был мой тесть, отец моей первой супруги? Впрочем, это не было неожиданностью, я всегда ожидал от этого энергичного нестарого человека чего-то в таком духе. Как он сообщил годами позже, встреченный гуляющим по Бродвею, его попутал бес. Лилит — моя, соответственно, тёща. Их дочь оставила меня ещё раньше, когда я только поступил на работу в газету. Она понимала, что занятие русской словесностью в эмиграции — путь в никуда. Я тоже понимал это, ещё лучше понимаю теперь. Что толку? Повторюсь, это — единственное, что я делаю без отвращения. И более ничего для себя не хочу, не желаю. И не хочу желать. Другое дело, что с этим делом я здесь нужен как хрен на ужин.

Да, я бумагомарака. Я попугай, я эпигон, сочинитель чего изволите. Если бы я был богат,

умён и чрезвычайно хорош собой, я бы с вами здесь не беседовал, не пил ядовитое кукурузное пойло, не изливал душу. Занимался бы каким-либо достойным делом. Сидел на веранде у себя в Комарово (была бы и дача), в ус бы не дул. Сочинял сбалансированные мемуары. Был бы спокоен и светел.

Так что пользуйтесь случаем, общайтесь со мной, пока я беден, глуп и некрасив.

Айм сорри, звонит телефон. При этом звуке я теряю свой эквилибриум. Что-нибудь обязательно падает у меня из рук. Вот и сейчас...

Я жду звонка из издательства, куда я недавно отнёс мой большой русский роман. В одном из вариантов действительности он сделает меня богатым и знаменитым.

— Хэлло? Ноу хизнот. Кэнай тэйк мессыдж?

Это звонят кредиторы. Коммунальные службы помнят о моем существовании и напоминают о себе. Я ничем не могу их порадовать. В одном кармане у меня табачные крошки, в другом — вошь на аркане, и более ничего. Скоро мне отключат газ и устроят конец света в отдельно взятой квартире.

Ещё мне звонят сумасшедшие изобретатели, жалобщики, правдолюбцы. Экстрасенсы, контактёры, целители. Обманутые клиенты, брошенные жёны, отставные военные, прочая огорчённая и бесноватая публика. Всем им что-то требуется от меня. Нашли у кого просить, ха-ха... Откуда они достают мои номера, уму непостижимо. Их нет в телефонных книгах. Я их так часто меняю, что сам временами путаюсь в цифрах. Знакомым настрого указано, под страхом пыток, не раскрывать паролей и явок. Тщетно!

Как с деньгами? Они как друзья и любимые жёны. Так, кажется, писал поэт. Любят, чтобы к ним относились бережно, ровно, без экзальтации. У меня всё иначе. Отношения с деньгами прохладны. Соответственно, нет и взаимности. Денег наперечёт, я отдаю их Дэрилу. Он русофил и умница, по некоторым наблюдениям, латентный гомосексуалист. Подозреваю, ко мне у него не только профессиональный интерес. Он, конечно, никогда не признается, на то и латентный. Я не возражаю. Если он такой, значит, где-то в мире, согласно закону сохранения энергии, образовалась дополнительная девушка, условно говоря, для меня. Поэтому я не против геев и однополых браков, голосую за чёрного президента, поддерживаю эвтаназию и лигалайз.

Мы пьём чай. Алкоголь Дэрил употребляет редко и через силу, хоть и понимает, что без этого не постичь русскую метафизику, которой он так желает проникнуться. Вместо этого по-

куривает злые стебли, и мы обсуждаем тонкости перевода. Недавно я объяснял ему, зачем Сидор изувечил собственную козу. Дэрил не понимает. Его огорчает бесчеловечное отношение к домашней животине. Как объяснишь ему, отчего мы с наслаждением истязаем себя и других, и чем более любим, тем более истязаем?

При этом подвижник, каких больше нет. Кто в наше время станет бесплатно переводить замысловатый текст с экзотического языка? Вопрос, что называется, риторический. Отдашь с Нобелевки, — шутит Дэрил. Он верит в успех моего романа больше, чем я. Иначе стал бы вкалывать бесплатно. Но тут, опять же, его нетрадиционная симпатия ко мне... Где любовь, где литература? Где то небо, где те алмазы? Всё смешалось в одном флаконе.

Кстати, не возражаете, если я ещё пятьдесят?

Портрет героя в интерьере. Небольшая, чрезвычайно уютная студия с видом на Гудзон, где так приятно сидеть, писать, гонять чай с друзьями... (Сорри, увлёкся, представив, что сочиняю письмо на родину.) Я живу в прокуренной захламлённой берлоге, предпочитаю без крайней нужды не появляться на улице. Там поджидают соотечественники, спешат сообщить анекдотик. Особенно если я в тот день небрит и вышел в тапочках, условно говоря, за пивом. Бегу их. Я знаю главное, а частности, кому нужны частности? Айноу зетлайф изыбич, юхёрт эндзен юдай. Кому предъявить претензию, если молодость обещала, что жизнь сложится совершенно иначе? Молчит Вселенная, не даёт ответа.

Ещё звонок. Пардон, я вынужден подойти к телефону. Опять кредиторы. Не то чтобы они могли засадить меня в долговую яму. Максимум — попортить кредитную историю. Впрочем, сложно испортить то, что и так лежит в руинах. Скоро отключат телефон. Но пока он жив, я жду звонка из издательства.

О чём роман? Извольте синопсис. О том, как в силу случайных обстоятельств отдельные люди и целые человеческие коллективы рождаются, живут и беседуют, а между тем тихо и незаметно, происходит трагедия их жизни.

Ещё немного виски, с вашего позволения.

Вы спросите, что я делаю в этой стране, как сюда попал? Вечные вопросы: была ли эмиграция ошибкой? Что я мог сделать по-другому? Откуда взять денег?

Вам налить? Напрасно. А я, если вы не возражаете... Лыхайм, за жизнь и судьбу!

Извините, снова звонит телефон.

— Хэлло? Хиз нотхиа, кэнай тэйк мессыдж?

Я, конечно, отчасти рисуюсь, намеренно сгущаю краски. Бывает, ко мне даже заходят девушки. Особенно симпатичны мне три сестрёнки, сумасшедшие подружки мои, Верка, Надька и Любка, погодки. Являются без звонка, дыша портвейном и туманами. Есть и женщина-вамп, грузинская княжна Злорадзе, старинного рода, сама из Кутаиси. Эта тема, хоть и забавна, слишком деликатная, чтобы обсуждать с мало-знакомыми людьми. Разве что со временем сойдёмся ближе...

Вот опубликуют роман, тогда побеседуем. Экскьюзми, снова телефон.

— Хэлло! Сэйит эген? Ай кент билив май факен иаз! Ланч тумору? Вот тайм? Сач мач? Джаст киддин. Офкос, си ю тумору.

Тумору!!! Теперь мы можем чокнуться без рефлексии и угрызений совести.

Если вы хоть немного понимаете по-английски в моем чудовищном исполнении, то уже догадались. Звонили из издательства. У нас образовался повод. Роман прочитали. Кажется, им понравилось. Возможно, будут печатать.

Тумору! Тумору!! ТУРУРУ!!!

Это звучит как тост! Теперь вы просто обязаны составить мне компанию.

За победу идеи над материей! За нашу победу!

Вряд ли мой роман станет бестселлером даже в одном из бесчисленных вариантов действительности. И вряд ли материальная сторона моего экзистанса существенным образом переменится. Однако эта победа, безусловно, обернётся послаблением по режиму в моей внутренней трудовой колонии с усиленным питанием. Оправданием двойственного существования на передней линии конфликта между миром вещей и миром идей. Всей этой метафизике в литературе и в жизни.

Я русский литератор в Нью-Йорке, и этим всё сказано. Моя автобиография не имеет сослагательных наклонений. Я живу, люблю, верю, надеюсь, каждый день погибаю и воскресаю в одном из бесчисленных вариантов действительности. А плохо это или хорошо, что называется, покажет вскрытие.

Поколение ангелов

По-русски очень трудно говорить о божественном. Известная склонность русского человека к многоглаголанью и метафизике проявляется в том, что об этом последнее время и так неуместно много болтают.

Я б и сам промолчал, по мне пусть бы тема и далее оставалась заветной...

Однако мой друг Аркаша — неутомимый популяризатор тайного знания. В юные годы он мечтал стать космонавтом, поступал в МАИ (неудачно). Увлёкся эзотерикой, усидчиво постигал Каббалу, стремился расширить сознание, за что некоторое время находился на принудлечении. Теперь, закосив от армии (человеку с диагнозом преступно доверять оружие, руль, рычаги), Аркаша работает алкоголиком в магазине «Овощи-фрукты». Оклад у Аркаши минимальный, как это часто бывает с пророками, зато свободного времени вдоволь. Аркаша использует его для передачи информации человечеству. От чего в своё время им не овладела «охота к перемене мест», остаётся загадкой. Вместо того чтоб отъехать на историческую родину, Аркаша, наоборот, укрепился корнями, возобновил и знакомства в эзотерических кругах, и через некоторое время достиг основательного просветления.

Аркаша, как вы поняли, — иудей, но банку держит лучше двух православных. Питание для него не безобразие, а тяжкая изнурительная внутренняя работа, за которую полагалось бы выдавать молоко. Обыкновенно на третьи сутки целенаправленного труда Аркаша выходит на тонкие энергетические уровни, подключается к ноосфере и общается с сущностями из параллельных и антимиров. На материальном плане от него остаётся лишь голимая протоплазма, да ещё разве что информация о его специфическом запахе. Если мои расчёты верны, сегодня Аркаша как раз находится на прямой связи с высшими сферами. В трёхмерном пространственно-временном континууме душа его то и дело требует подпитки, и тело привычно устремляется в шалман, находящийся неподалёку.

Местное божество тётя Мотя заведует распределением благодати. Милосердное, когда оделяет страждущих волшебным нектаром. Воплощение вселенского зла, если не отпускает в кредит и посылает подальше. И приходится идти, куда денешься? Ибо таким и положено быть божеству. Благодатным или заставляющим перемещаться в пространстве.

Тётя Мотя непостижима. Бывает, обсчитает, недолёт после отстоя пены, даже если требуют, в другой же раз приветит, отпустит должнику. То есть проявляет характеристики существа несомненно высшей природы.

Сегодня божество милосердно, и Аркаша получает порцию благодати. Я знаю, что уже через минуту лицо его разгладится и мысли тоже. Наладится пульс, участятся вибрации. Душа устремится к абсолюту. Так проявляется реактивность сознания удачно опохмеляющегося человека. Через теменную чакру Кетер, не

покрытую шапочкой, полёётся из единого информационного пространства в небесах тайное знание. Речь его станет убыстрена и неподготовленному наблюдателю может показаться бесвязной. Однако текстологический анализ стенограмм показывает, что дело тут в трудности перевода образов ноосферы на наш язык, часть информации ускользает, поскольку принципиально невыразима.

Аркаша, например, утверждает, что уже нынешнее поколение будет жить среди ангелов. Ангелы выйдут из нашей же среды, и мы, к тому времени дедушки-бабушки, поймём, что внуки стали продвинутыми настолько, что их вполне политкорректно можно назвать ангелами. Затем наиболее продвинутые переженятся между собой и дадут уже полноценное, жизнестойкое поколение ангелов.

Расположившись в тенёчке, Аркаша принимает метафизическое мироощущение. Сдувая пену с кружечки, любитесь ею, как изысканным паникадилом, ласкает и взвешивает в ладонях, смотрит на свет. Наконец пригубляет, как если бы совершая языческий обряд. Сейчас должно снизойти просветление, некий винтик в голове и душе должен стать на место. О! Кажется, проявляется.

Теперь давайте начнём сначала. Древние полагали, как известно из устных преданий, что их многочисленные боги способны:

- управлять погодой и природными катаклизмами;
- распоряжаться судьбой отдельного человека и целых человеческих коллективов;
- общаться на расстоянии, при этом оставаясь невидимыми;
- более или менее мгновенно перемещаться в пространстве, особенно принимая во внимание несовершенство тогдашних механизмов определения и подсчёта времени.

Многими из этих навыков мы уже овладели и можем эффективно манипулировать.

Мы умеем более или менее удачно предсказывать погоду, вызывать бури, землетрясения, вызывать гром и молнию, рассеивать облака (например, к первомайской демонстрации). В том, что касается распоряжения жизнью и судьбой отдельно взятых людей и целых народов — в этом нам, русским, вообще нет равных. Впрочем, это отдельная тема.

Технический прогресс. Кажется, уже ничего невозможно измыслить, недаром в 1901 году глава британской Её Величества патентной палаты заявил, что всё возможное было к тому времени изобретено. Что-то в этом роде. Everything conceivable has already been attained.

Именно поэтому есть основания полагать, что в мире будет сделано множество открытий. Аркаша контролирует поток сознания, по ходу корректно уточняя дефиниции.

Существующие ныне системы, вроде мировой электронной паутины, претерпят количественные, а затем и качественные изменения. Электронные устройства уже сейчас распознают голосовые команды. Дисплей проецирует изображение на контактные линзы и непосредственно на радужку глаз. Проектируются квантовые компьютеры, возможности которых будут «непостижимы» для теперешнего уровня развития знаний. Всё это будут стремительно совершенствовать. Телепатия, чтение мыслей на расстоянии, телекинез — явления чисто технического порядка. Более ста лет мы пользуемся телеграфом, около двадцати — беспроводным телефоном, ноутбуками с выходом в Интернет, вайфаями и блютусами. Следующий шаг — научиться декодировать мысли, мозговые импульсы переводить в цифровые сигналы, понятные прибору. Затем пластмассовый чип станут прикреплять на ушную раковину, к лацкану пиджака, наподобие бутоньерки. Вживлять в мягкие ткани ягодицы после рождения. Далее трансммиттер будет необязательно носить с собой. Достаточно будет находиться от него в радиусе ста километров. Широко популярным станет виртуальный киберсекс. Трёхмерная голография, рецепторы на соответствующих частях тела, сигнал прямо в мозг воспроизводит записанные в цифровом формате эротические переживания. Ощущение счастья, влюблённости, вдохновения. Их можно будет купить на дискете, как сейчас банальную видеокассету. Скачать из единого информационного пространства и перекинуть на флэшку.

Технический прогресс следующего тысячелетия обеспечит прорыв и выведет человечество на качественно новый уровень сознания. И люди действительно станут наподобие ангелов. Так утверждает Аркаша, и я не нахожу аргумента, которым я мог бы его опровергнуть. Разве что самый общий, такой:

Да, будет прогресс человечества, который выведет его на новый уровень сознания. И, предположим, люди действительно станут наподобие ангелов.

Будут изобретены: самосъедаемые галушки, неупиваемая чаша, непадающий бутерброд, верные жёны и симпатичные тётчи, с которыми невозможно поссориться, недруги, с которыми невозможно подражаться, вечная молодость, востребованность в своём отечестве, нестареющие анекдоты и нестареющие родители, вечно молодые подруги, честные брокеры и маклеры, дружелюбные милиционеры, неломающиеся машины, прибор для передачи мыслей на расстоянии, телепортирование со скоростью света, любовь со скоростью нежности и медленная нежность со знаком любви, негаснущий свет в ночи и в конце туннеля, безвредный табак, безалкогольный виски, непорочное зачатие. Лучшие умы потрудятся на славу. Будут вручены Нобелевские премии. Всё это будет, допускаю. Только счастья всё равно не будет, вот увидите...

Я очнулся, будто от тяжёлого сна. Бродячий пёс обнюхивал мою обувь. Аркаша дремал в тени, как и подобает пророку, укрывшись веткой сирени. Пора было сходить помочиться и вновь становиться в очередь к божеству тёте Моте. Окликнув Аркашу, бреду к шалману, предварительно остановившись на минуту за мусорными бачками.

Матильда Ибрагимовна, иже еси на небеси, соблаговолите, будь ласка, ещё парочку.

Мы, скорее всего, не доживём до появления ангелов среди нас. Так к чему ожидать, пока народится и повзрослеет новое поколение, если тётя Мотя — вот она, большую часть суток постижимая и досягаемая, доступная уже на нашем временном отрезке? Достаточно встать, подойти и занять очередь. И кротко попросить благодати. Ибо здесь начинается и заканчивается русская метафизика.

По-русски очень трудно говорить о божественном.

Середина 90-х гг.

Фёдор А. Чернин родился в Петербурге в 1966 г. Окончил факультет журналистики ЛГУ, работал на ТВ, автор сценариев популярных телепередач «Кружатся диски», «Пятое колесо» и нескольких пьес. С 1989 г. живёт и работает в Нью-Йорке. Некоторое время сотрудничал в газете «Новое русское слово», на телевидении RTVI и на радио, издавал (с И. Барташовым) юмористическое обозрение «Рога и копыта». Продолжает сочинять ироническую прозу. Печатается в периодических изданиях в России и США. В 2008 г. авторский сборник Ф. Чернина «Перезагрузка. Манхэттан Трансфер» опубликован в издательстве «Астрель» (СПб).

«У учителя Тенина невыносимо болела голова. Ему было нехорошо. За последние четыре часа он прочёл и усвоил четыре книги по регенерации атмосфер, а проект “Венера” выучил наизусть. Для этого пришлось прибегнуть к гипноизлучателю, а после гипноизлучателя надо обязательно лечь и хорошенько выспаться. Но хорошенько выспаться не придётся. Может быть, и не следовало так перегружать мозг, но учитель не хотел рисковать. Он должен был знать о проекте и о Венере в десять раз больше, чем вся четвёрка, вместе взятая, иначе не стоило бы и возиться.

Он ждал момента, чтобы перейти к главному, и рассказывал об охоте за блуждающими огнями, и видел, как широко раскрываются ребячьи глаза и в них бьётся и клокочет пламя великой фантазии, и ему было, как всегда, удивительно хорошо и радостно видеть это, хотя голова раскалывалась на части...

“Пора. Только не заставлять их лгать и притворяться. Вперёд, Тенин!” И он начал:

– Кстати, капитан Комов, что это за уродливая схема? – Он ткнул пальцем в чертёж обогатителя. – Ты меня огорчаешь, мальчик. Замыслил хорошо, но выполнение на редкость неудачно!..

Капитан вспыхнул и кинулся в бой...»

*Аркадий и Борис Стругацкие.
Полдень, XXII век (Возвращение). 1967*

«...русская классическая литература более не выполняет роль культурного регулятора образовательного процесса. Это произошло не потому, что власть обнаружила свою некомпетентность, а потому, что она сознательно и целенаправленно конструировала это “качественное обновление образовательной ситуации”».

*Из Заявления Ученого совета
филологического факультета МГУ.
2012, ноябрь*

Продолжающееся издание
Литературный журнал «Человек на Земле»

Издатель и редактор-составитель
Т. В. Сурганова sor@mail@yandex.ru

Художественный редактор, фоторедактор
Вивиан дель Рио www.viviandelrio.ru

Автор цветной вкладки
Александр Кулемин sasha_kulemin@mail.ru

Корректоры **Т. С. Бычкова, С. Н. Липовицкая**

Подписано в печать 10.12.2012
Формат 60х84/8 Печать офсетная.
Усл.-изд. печ.л. Тираж 500 экз. Зак.
Отпечатано в ОАО ИПП «Правда Севера»
163004 г. Архангельск, Новгородский пр.,
32 zakaz@ippps.ru

При перепечатке ссылка на журнал
«Человек на Земле» обязательна
Цена свободная